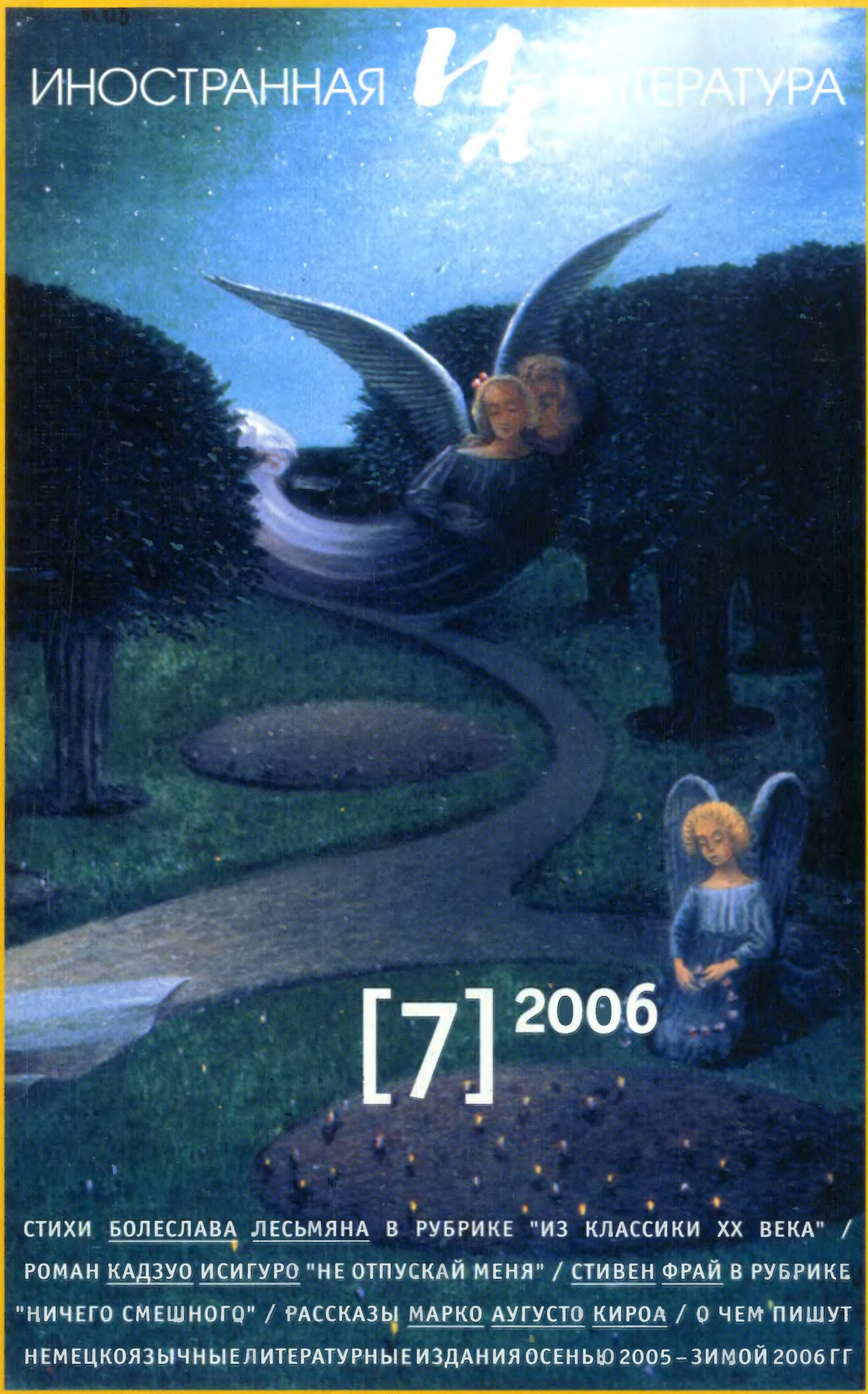
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[7] 2006

СТИХИ БОЛЕСЛАВА ЛЕСЬМЯНА В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / РОМАН КАДЗУО ИСИГУРО "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" / СТИВЕН ФРАЙ В РУБРИКЕ "НИЧЕГО СМЕШНОГО" / РАССКАЗЫ МАРКО АУГУСТО КИРОА / О ЧЕМ ПИШУТ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗДАНИЯ ОСЕНЬЮ 2005 – ЗИМОЙ 2006 ГГ

Основан в 1891 году

ДИПЛОМ

в номинации

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

НАГРАЖДАЕТСЯ

журнал "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА"

за создание и сохранение
собственной
школы переводчиков
и бережное отношение к языку

Председатель оргкомитета
Фестиваля "Русское слово" Л.А.Вербицкая

Санкт-Петербург
25 мая 2006 года

[7]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Кадзуо Исигуро *Не отпускай меня.* Роман. Перевод с английского Л. Мотылева

165 Марко Аугусто Кироа *Рассказы из сборника "Малая седмица".* Перевод с испанского и вступление Юрия Гирина

Из классики XX века

183 Болеслав Лесьмян *"Телом после я стал, а сперва была рана".* Стихи. Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула

Литературная пресса мира

195 Екатерина Иванова *Измерение мира: о чем писали немецкоязычные литературные издания осенью 2005 – зимой 2006 годов*

Ничего смешного

203 Стивен Фрай *Неполная, но окончательная история классической музыки.* Фрагменты книги. Перевод с английского С. Ильина

БиблиофИЛ

249 *Издательские планы. Взгляд из России: Мериме, Гофман, Петрарка...* С заведующим Научно-библиографическим центром ВГБИЛ Ю. Г. Фридштейном беседует Светлана Силакова

Авторы номера

254

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Н. Г. Усова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Кадзуо Исигуро

Не отпускай меня

Роман

Перевод с английского Л. Мотылева

Посвящается Лорне и Наоми

Англия, конец 1990-х

Часть первая

Глава первая

МЕНЯ зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам. Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я проработала еще восемь месяцев — до конца года. Получится почти двенадцать лет. Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому держат столько времени, что считают мои успехи фантастическими. Бывали отличные помощники, которым приходилось поставить точку всего через два-три года. С другой стороны, я знала одного, у которого это длилось полных четырнадцать лет, хотя он был настоящее пустое место. Так что я не ради хвастовства говорю. Но все-таки я точно знаю, что они довольны моей работой, и я сама в целом тоже довольна. Состояние моих доноров чаще всего бывало гораздо лучше ожидаемого. Реабилитация шла быстро, и почти нико-

© Kazuo Ishiguro, 2005
© Л. Мотылев. Перевод, 2006

му не писали "возбужден" – даже перед четвертой выемкой. Согласна, сейчас уже, наверно, хвастаюсь. Но это очень много для меня значит – ощущение, что я хорошо делаю свое дело, особенно ту его часть, что должна помочь донору оставаться в категории "спокойных". У меня развилось какое-то внутреннее чутье по отношению к ним. Я знаю, когда надо подбодрить, побыть рядом, когда лучше оставить одного; когда терпеливо выслушать, что он говорит, когда просто отмахнуться и сказать, чтобы переменил пластинку.

Так или иначе, я не считаю себя чем-то особенным. Я знаю помощников, они и сейчас работают, которые выполняют свои обязанности не хуже меня, но далеко не так ценятся. Можно понять, если кто-нибудь из них и завидует – моей однокомнатной квартире, моей машине, но в первую очередь тому, что мне позволяют самой решать, о ком я буду заботиться. Ко всему, я еще и воспитанница Хейлшема – одного этого иногда хватает, чтобы на меня посмотрели косо. Эта Кэти Ш., говорят они, может выбирать кого захочет и выбирает только своих – воспитанников Хейлшема или какого-нибудь другого привилегированного заведения. Само собой, она на хорошем счету. Я наслушалась такого достаточно, а вы наверняка еще куда больше, и, может быть, своя правда тут имеется. С другой стороны, я не первая, у кого есть право выбора, и, думаю, не последняя. Как бы то ни было, разве я не отработала свое с донорами из всевозможных других мест? Не забывайте, что к тому времени, как я кончу, за плечами у меня будет двенадцать лет, и только последние шесть из них мне разрешают помогать кому сама захочу.

И правильно делают, по-моему. Помощники ведь не автоматы. С каждым донором стараешься изо всех сил, и под конец это может вымотать. Запас терпения и энергии истощается. Поэтому, когда есть выбор, разумеется, выбираешь своих – это естественно. Разве я продержалась бы так долго без общности с донорами, без сочувствия к ним от начала до конца? И, безусловно, не могла бы выбирать – не сблизилась бы снова, спустя годы, с Томми и Рут.

Но чем дальше, тем, конечно, меньше и меньше остается доноров, которых я знаю по прошлым годам, так что на практике я пользуюсь своим правом не слишком уж часто. Как я уже сказала, дело идет куда тяжелее, когда с донором нет хорошей внутренней связи, поэтому, хотя мне будет не хватать обязанностей помощницы, поставить точку в конце года будет, пожалуй, в самый раз.

Рут, между прочим, была только третьим или четвертым донором, которого мне разрешили выбрать. К ней уже была до этого приставлена помощница, и мне, помню, пришлось добиваться, чтобы Рут передали мне. Но в конце концов я это устроила, и едва я ее вновь увидела – в центре реабилитации в Дувре, – все, что нас разделяло, не то чтобы исчезло, но стало куда менее важным, чем другое – например, то, что мы вместе выросли в Хейлшеме, то, что мы знали и помнили такое, чего не знал и не помнил больше никто. Думаю, именно с тех пор я, чтобы выбрать донора и стать его помощницей, начала искать людей из моего прошлого, и прежде всего из Хейлшема.

Бывало за эти годы и так, что я пыталась оставить Хейлшем позади, говорила себе, что не надо все время оглядываться. Но потом всякий раз наступал момент, когда я переставала сопротивляться. К этому имеет отношение один донор, который был у меня на третьем году работы в качестве помощницы. Точнее, его реакция, когда он узнал от меня,

что я из Хейлшема. Он только что перенес третью выемку — перенес тяжело и, должно быть, знал, что не вытянет. Он едва дышал, но посмотрел на меня и сказал: "Хейлшем. Там, наверно, было замечательно". На следующее утро, когда я разговаривала с ним, чтобы его отвлечь, и спросила, где вырос он сам, он назвал какое-то место в Дорсете, и его лицо, покрытое пятнами, сложилось в какую-то совсем новую гримасу. Я поняла, как ему не хочется таких напоминаний. Вместо этого он хотел слышать о Хейлшеме.

Так что я дней пять или шесть рассказывала ему все, о чем ему хотелось узнать, и у него на лице, хоть он и лежал весь скрюченный, проступала кроткая улыбка. Он расспрашивал обо всем — о большом и малом. Об опекунах, о личных сундучках для коллекций у каждого из нас под кроватью, о футболе, о раундерз[1], о тропинке, которая шла в обход главного корпуса и всех укромных мест, о пруде для домашних уток, о питании, о виде на поля туманным утром из окон комнаты творчества. Иногда он заставлял меня повторять снова и снова: об услышанном вчера спрашивал так, словно я ни разу еще про это не рассказывала. "А павильон[2] у вас был?.. А кто был твой любимый опекун?" Вначале я объясняла это медикаментами, но потом поняла, что голова у него достаточно ясная. Он хотел не просто слушать про Хейлшем, но *вспоминать* его, точно свое собственное детство. Он знал, что близок к завершению, вот и требовал от меня, чтобы я все ему описывала, — хотел днем усвоить как следует, чтобы бессонной ночью среди всех этих изнурительных мук, когда обезболивающие не помогают, у него стиралась граница между моими и его воспоминаниями. Тогда-то я и поняла, по-настоящему поняла, как нам повезло — Томми, Рут, мне и всем остальным, кто с нами был.

То, что я встречаю на пути в своих разъездах, и теперь иногда напоминает мне Хейлшем. Скажем, поле, над которым стоит туман. Или, съезжая с холма, вижу вдалеке угол большого здания. Или даже просто взгляд падает на тополиную рощицу на взгорье — и думаю: "Неужели здесь? Нашла! Ведь правда же — Хейлшем!" Потом соображаю — нет, ошибка, невозможно, и еду дальше, мысли переходят на другое. Павильоны — вот что чаще всего привлекает внимание, я повсюду их замечаю. У дальней стороны спортивного поля — маленькое белое типовое строение, окошки в ряд необычно высоко, почти под самой крышей. Я думаю, таких очень много настроили в пятидесятые и шестидесятые — тогда же, вероятно, появился и наш. Когда попадается такой павильон, я смотрю на него и смотрю, пока можно, и однажды, наверно, дело кончится автокатастрофой — но все равно смотрю. Недавно дорога шла по пустой местности в Вустершире, и у крикетного поля стоял павильон, который был так похож на наш, что я развернулась и проехала немного назад, чтобы посмотреть еще раз.

Мы любили наш павильон — может быть, потому, что он напоминал нам милые маленькие семейные коттеджи на картинках в детских книжках. Помню, в младших классах мы упрашивали опекунов провести очередной урок не там, где обычно, а в павильоне. А ко второму старшему —

1. Раундерз — британская игра в мяч, напоминающая бейсбол и лапту. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Павильон — зд.: небольшое строение у спортплощадки, крикетного или футбольного поля, которое служит, в частности, раздевалкой.

нам тогда было двенадцать, шел тринадцатый — павильон стал местом, где можно было уединиться с лучшими друзьями, когда хотелось побыть подальше от остальных.

В павильоне спокойно помещались две компании и не мешали друг другу, а летом на веранде могла расположиться и третья. Но в идеале тебе с друзьями или подружками хотелось занять весь павильон, и часто из-за этого начинались разные маневры и споры. Опекуны то и дело напоминали нам, что решать эти вопросы надо цивилизованно, но на практике, чтобы твоя компания получила павильон на перемену или на свободное время, в ее составе нужны были сильные личности. Я сама была не робкого десятка, но думаю, что мы так часто занимали павильон благодаря Рут.

Обычно мы рассаживались на стульях и скамейках — нас было пятеро, а если подключалась Дженни Б., то шестеро, — и давали волю языкам. Такие разговоры только там, в уединении, и могли происходить: мы делились всякими волнениями и заботами, задушевная беседа вполне могла кончиться взрывом хохота или яростной перепалкой. Прежде всего это был способ немного расслабиться, выпустить пар в дружеском обществе.

В тот день, который я сейчас вспоминаю, мы стояли на табуретках и скамейках и глядели в окошки под потолком. Оттуда хорошо было видно северное игровое поле, где собралось для игры в футбол десять-двенадцать мальчишек из второго старшего, как мы, и из третьего. Светило яркое солнце, но утром, наверно, прошел дождь: я помню, как на траве блестела грязь.

Кто-то из нас заметил, что не стоило бы таращиться так явно, но ни одна голова от окон не отодвинулась. Потом Рут сказала: "Он ничего не подозревает. Надо же — совсем ничего".

Услышав это, я бросила на нее взгляд — хотела увидеть, нет ли на ее лице следа неодобрения по поводу того, как ребята собираются поступить с Томми. Но секунду спустя Рут усмехнулась и сказала: "Идиот!"

И я поняла, что в глазах Рут и всей нашей компании замыслы мальчиков были чем-то довольно далеким от нас, одобрять или нет — такого вопроса не возникало. Мы не потому собрались у окон, что хотели порадоваться новому унижению Томми, а просто потому, что слыхали про сегодняшнюю затею и нам было немного любопытно, что из всего этого выйдет. Не думаю, что в то время мальчишеские дела занимали нас сильнее. Для Рут и девочек это были вещи, в общем, чужие, и для меня, скорее всего, тоже.

Или, может быть, я ошибаюсь. Может быть, уже тогда при виде Томми, который носился по полю, давая волю радости из-за того, что его опять берут в игру, что он опять покажет свой высокий класс, я почувствовала легкий укол боли. Точно помню, я заметила, что на Томми голубая тенниска, которую он приобрел в прошлом месяце на Распродаже и которой очень гордился. Помню, подумала: "Он и правда дурак, что пошел в ней играть. Бедная тенниска. И каково ему потом будет?" Вслух я сказала, не обращаясь ни к кому конкретно: "На Томми та самая тенниска. Его любимая".

Никто меня, похоже, не услышал: все смеялись, глядя на Лору, главную нашу клоунессу, которая знай себе изображала, как меняется лицо Томми, когда он бежит, машет, кричит, ведет мяч. Другие ребята кружили по полю в разминочном темпе, все их движения были нарочито рас-

слабленными, а вот Томми взыграл не на шутку и носился во весь дух. Я сказала — теперь погромче: "Горе у него будет, если тенниска придет в негодность". На этот раз Рут услышала, но, кажется, решила, что и мне захотелось над ним поиздеваться: она вяло усмехнулась и произнесла на его счет что-то свое, ядовитое.

Потом мальчики перестали катать друг другу мяч и, спокойно, мерно дыша, встали кучкой на грязной траве — ждали разбора игроков по командам. Капитаны вышли вперед — оба из третьего старшего, хотя всем было известно, что Томми играет лучше любого из них. Кинули монетку, кто будет выбирать первым, и капитан, которому повезло, поднял глаза на ребят.

— Гляньте-ка на него, — сказала одна из девчонок у меня за спиной. — Он совершенно уверен, что его возьмут в первую очередь. Только поглядите!

Что-то смешное в нем в тот момент действительно было, и думалось: да, если он и правда такой идиот, он заслужил то, что сейчас произойдет. Другие ребята делали вид, что им плевать на капитанский выбор, что им все равно, какими по счету они окажутся. Одни тихо переговаривались, другие перевязывали шнурки, третьи просто разглядывали свои бутсы, вязнущие в грязи. Но Томми смотрел на старшего мальчика с таким стремлением вперед, словно его уже выкликнули.

Лора, пока шло распределение игроков, все время гримасничала — повторяла сменяющие друг друга выражения лица Томми: вначале радостный пыл, потом, когда выбрали четверых, а его еще нет, тревога и озадаченность, и наконец, когда он начал понимать, к чему идет дело, боль и отчаяние. Я, впрочем, смотрела на Томми и на Лору не оборачивалась. О том, чем она занята, я догадывалась по общему смеху и подзадоривающим репликам девочек. Потом, когда Томми остался один и мальчишки начали ухмыляться, я услышала голос Рут:

— Начинается. Внимание. Семь секунд, шесть, пять...

Она не досчитала. Томми громко завопил, а игроки, теперь уже смеявшиеся открыто, побежали к южному игровому полю. Томми сделал несколько шагов за ними — не знаю почему: то ли инстинкт подстрекал его погнаться и поквитаться, то ли он впал в панику из-за того, что его бросили одного. Так или иначе, он сразу остановился. Стоит, лицо багровое, смотрит им вслед. Потом раздались его вопли — бессмысленная смесь похабной ругани и угроз.

Припадков Томми мы к тому времени уже повидали много, так что мы спустились на пол и разошлись по павильону. Начали было разговаривать о чем-то еще, но Томми все время было слышно, и хотя поначалу мы только пожимали плечами и старались не обращать на выкрики внимания, в конце концов — может быть, через целых десять минут после того как мы в первый раз отошли от окон — мы опять встали на табуретки.

Другие ребята уже совсем скрылись из виду, и вопли Томми теперь летели в разные стороны, а не в одну. Он бушевал, потрясал кулаками, посылал проклятия небу, ветру, ближайшему столбу забора. Лора сказала, что он, наверно, репетирует Шекспира. Какая-то другая девочка заметила, что при каждом выкрике он поднимает и отводит ногу, "как кобель, который делает по-маленькому". Я и сама обратила внимание на это движение ногой, но прежде всего мне бросилось в глаза то, что всякий раз, когда он с силой ставит ногу обратно, вокруг брызгами разле-

тается грязь. Мне опять пришла на ум его драгоценная тенниска, но он был слишком далеко, чтобы я могла увидеть, сильно ли она испачкана.

— Все-таки это немножко жестоко, — сказала Рут. — Так его заводить. Хотя, конечно, сам виноват. Научился бы собой владеть — оставили бы в покое.

— Нет, не оставили бы, — возразила Ханна. — Грэм К. такой же обидчивый, но они из-за этого только осторожнее с ним себя ведут. Над Томми издеваются потому, что он бездельник.

Тут все заговорили разом — о том, что Томми ни одной попытки даже не сделал проявить себя творчески, о том, что он ничего не выставил на весеннюю Ярмарку. Мне кажется, все в тот момент втайне желали, чтобы из корпуса вышел кто-нибудь из опекунов и забрал Томми. И хотя мы в этом очередном заговоре против Томми не участвовали вовсе, зрительские места мы, как ни крути, занимали и теперь нам было немножко совестно. Но никто из опекунов не появлялся, и мы продолжали объяснять друг другу, почему Томми сам во всем виноват. Когда наконец Рут посмотрела на часы и, хотя время еще оставалось, сказала, что пора возвращаться в главный корпус, спорить никто не стал.

Томми, когда мы выходили из павильона, еще буйствовал. Корпус был слева от нас, а Томми стоял на поле прямо перед нами, и приближаться к нему необходимости не было. К тому же он смотрел в другую сторону и нас, судя по всему, не замечал вовсе. Тем не менее я отделилась от подруг, которые двинулись краем поля, и пошла к нему. Я знала, что это их озадачит, но все равно отправилась, хотя Рут шепотом настойчиво звала меня обратно.

Томми, как видно, не привык, чтобы к нему кто-нибудь подходил в такие минуты. Когда я приблизилась, он уставился на меня, смотрел секунду-другую, потом снова стал бушевать. И правда, словно репетировал Шекспира, а я поднялась на сцену посреди монолога. Даже когда я сказала: "Томми, смотри, что с твоей замечательной тенниской. Всю заплескал", впечатление было, что он не слышит.

Поэтому я протянула руку и коснулась его локтя. О том, что он сделал в этот момент, другие подумали, что он нарочно, но я почти уверена, что нет. Он все еще размахивал руками, и откуда ему было знать, что я до него дотронусь? Как бы то ни было, он вскинул руку, отбил мою ладонь в сторону и ударил меня по щеке. Было совсем не больно, но я вскрикнула — и большинство девчонок позади меня тоже.

Тогда-то наконец Томми, кажется, осознал происходящее — увидел меня, других, себя со стороны, понял, как он выглядит посреди поля и как себя ведет, и взгляд, которым он на меня уставился, был довольно глупым.

— Томми, — сказала я очень сурово. — Вся твоя рубашка в грязи.

— Ну и что? — пробурчал он. Но одновременно опустил глаза, увидел коричневые пятна и едва удержался от вопля. Потом на его лице возникло удивление от того, что я знаю, как он дорожит тенниской.

— Ничего страшного, — сказала я, пока молчание еще не стало для него унизительным. — Отстирается. Если не можешь сам, отдай мисс Джоди.

Но он продолжал исследовать тенниску, потом ворчливо сказал:

— Тебе-то какое дело?

Об этих словах он, кажется, тут же пожалел, и его взгляд сделался робким, сконфуженным — можно подумать, он ждал от меня каких-то ус-

покоительных слов. Но я уже была сыта им по горло, тем более, что на нас смотрели девчонки — и еще неизвестно, сколько любопытных глаз из окон главного корпуса. Так что я пожала плечами, повернулась и пошла к подругам.

Рут, когда мы уходили, обняла меня за плечи.

— По крайней мере ты заставила его заткнуться, — сказала она. — Ну как ты, ничего? Зверюга бешеный.

Глава вторая

Это все давние дела, так что в чем-то я могу и напутать; но мне помнится, что эпизод с Томми в тот день был для меня частью фазы, которую я тогда проходила, — меня все время подмывало ставить себе трудные задачи, — и я успела более или менее забыть об этом случае, когда через несколько дней Томми ко мне обратился.

Не знаю, как было там, где росли вы, но в Хейлшеме мы почти каждую неделю проходили медосмотр — обычно в кабинете 18 на верхнем этаже, — и проводила его суровая медсестра Триша, или Клювастая, как мы ее называли. В то солнечное утро одна толпа мальчишек и девчонок поднималась в ее владения по центральной лестнице, другая, с которой она только что закончила, спускалась. Поэтому весь лестничный колодец был полон голосов, отдававшихся эхом, и я шла вверх, глядя под ноги, чтобы не наступать на пятки идущему впереди. Вдруг рядом прозвучало: "Кэт!"

Томми, который был в потоке спускающихся, намертво встал посреди лестницы с улыбкой до ушей, которая мгновенно рассердила меня. Так улыбаться мы могли несколькими годами раньше, встретившись с тем, кого приятно было увидеть. Но теперь-то нам уже тринадцать, и разве можно мальчику позволять себе такое с девочкой при всех? Мне захотелось пристыдить его: "Томми, сколько тебе лет?" Но я удержалась и сказала вместо этого: "Томми, ты задерживаешь людей. И я тоже".

Он оглянулся и увидел, что задние и правда начали останавливаться. Сперва он растерялся, но секунду спустя прижался к стене рядом со мной, чтобы толпа хоть с трудом, но могла протискиваться. Потом сказал:

— Знаешь, Кэт, я тут искал тебя везде. Хотел извиниться. Серьезно. Прошу у тебя прощения. Я честно не хотел тебя ударить. У меня и в мыслях такого не было, чтобы ударить девочку, а если бы и было, то тебя уж точно в жизни бы не тронул. Прости меня, очень прошу.

— Ладно, все хорошо. Случайно вышло. Пустяки.

Я кивнула ему и двинулась было дальше. Но Томми радостно произнес:

— Рубашка как новенькая! Все отстиралось.

— Рада за тебя.

— Слушай, тебе не было больно? Когда я тебя ударил.

— Как же не было. Череп треснул. Сотрясение и все такое. Даже Клювастая заметит. Если, конечно, доберусь до кабинета.

— Нет, серьезно, Кэт. Ты правда не обижаешься? Мне очень, очень жаль. Честно.

Я наконец улыбнулась ему и сказала уже серьезно:

— Томми, это была случайность, все позабыто на сто процентов. Зла на тебя у меня ни капельки нет.

Он все еще выглядел неуверенным, но какие-то старшие воспитанники уже толкали его в спину и требовали, чтобы он двигался. Он улыбнулся мне быстрой улыбкой, легонько хлопнул меня по плечу, как мог бы младшего мальчишку, и втиснулся в поток. Я стала подниматься, и снизу до меня донесся его крик: "Всего хорошего, Кэт!"

Томми, я считала, поставил меня в немножко неловкое положение, но дразнить меня или сплетничать никто не стал. Должна признать, что, если бы не эта встреча на лестнице, я в последующие несколько недель, наверно, не заинтересовалась бы так проблемами Томми.

Кое-что я увидела сама, но про большую часть эпизодов услышала. Когда кто-нибудь заговаривал на эту тему, я дотошно всех расспрашивала, пока не составляла более или менее полную картину. Были новые припадки — например, в классе 14, когда Томми будто бы опрокинул два стола, рассыпав по полу то, что на них лежало, и все бросились спасаться от него в коридор и забаррикадировали дверь. В другой раз мистеру Кристоферу пришлось во время футбольной тренировки схватить его за руки и держать, чтобы он не накинулся на Реджи Д. А еще, когда мальчишки из второго старшего соревновались в беге, Томми, я увидела, был единственным, кто бежал один, без напарника. Вообще-то он был хороший бегун и легко отрывался на десять-пятнадцать шагов — может быть, пытался этим затушевать тот факт, что никто не хотел с ним бежать. Кроме всего этого — почти ежедневные слухи об издевательствах и шутках над ним. Многое было обычным — подсунули что-то в постель, подкинули червяка в тарелку, — но кое-что выходило за рамки: однажды, например, его зубной щеткой почистили унитаз, и она дожидалась его с какашками по всей щетине. Из-за того, что он был крупный, сильный — и, думаю, из-за характера, — никто впрямую на него нападать не пытался, но издевательства вроде тех, что я описала, происходили, насколько помню, минимум месяца два. Я думала, рано или поздно кто-нибудь скажет, что хватит, слишком уж далеко зашло, но эти дела продолжались, и никто ничего не говорил.

Однажды я сама затронула эту тему — в спальне, когда выключили свет. В старших классах спальни у нас уже были маленькие, всего на шесть человек, как раз только наша компания и никого посторонних, и в темноте после отбоя у нас часто происходили самые задушевные разговоры. Иной раз о таком, о чем в другом месте, даже в павильоне, и в голову не пришло бы начать беседу. И вот однажды вечером я заговорила про Томми. Особенно долго не распространялась — просто напомнила в общих чертах, что с ним вытворяли, и сказала, что это не слишком справедливо. Когда кончила, в темноте повисло странное молчание, и я поняла, что все ждут, как ответит Рут. Так всегда бывало в трудных или неловких случаях. Я терпеливо ждала, потом с той стороны, где лежала Рут, раздался вздох, и она сказала:

— Ты отчасти права, Кэти. Это нехорошо. Но, если он хочет, чтобы они перестали, ему надо изменить свое собственное поведение. Он ни единой вещицы не дал на весеннюю Ярмарку. И на следующую Ярмарку через месяц у него, думаете, есть что-нибудь? Наверняка нет.

Тут я должна кое-что пояснить насчет наших хейлшемских Ярмарок. Четыре раза в год — весной, летом, осенью, зимой — у нас происходила большая выставка-продажа всего, что мы сотворили за три месяца.

Это и картины, и рисунки, и керамика, и всевозможные "скульптуры", сделанные из того, что считалось в то время модным, — скажем, из раздавленных консервных банок или из бутылочных крышек, наклеенных на картон. За каждую представленную вещь тебе платили жетонами (на сколько тянет твой шедевр, решали опекуны), и потом, в день Ярмарки, каждый приходил со своими жетонами и "покупал", что ему нравилось. По правилам, "покупать" можно было только у ровесников, но выбор все равно был очень большой, потому что многие успевали за три месяца потрудиться на славу.

Оглядываясь теперь назад, я понимаю, почему эти Ярмарки были для нас так важны. Во-первых, они давали единственную возможность, если не считать Распродаж (Распродажи — это другое, о них еще скажу), собрать коллекцию личных вещиц. Если, к примеру, тебе хотелось украсить стену возле кровати или носить что-то в сумке из класса в класс и выкладывать всюду на стол, этим можно было обзавестись во время Ярмарки. Но я вижу теперь и другое, более тонкое воздействие этих Ярмарок на нас. Ведь если, желая приобрести что-нибудь ценное для себя, ты зависишь от других, это влияет на твои отношения с ними. Томми — типичный пример. Как к тебе относились в Хейлшеме, насколько тебя любили и уважали — это во многом определялось твоими достижениями в "творчестве".

Рут и я часто потом обсуждали это в центре реабилитации в Дувре, где я ей помогала.

— Хейлшем в том числе и поэтому был единственным в своем роде, — заметила она однажды. — Нас приучали ценить работу друг друга.

— Да, — согласилась я. — Но сейчас я иногда думаю об этих Ярмарках, и многое кажется довольно странным. Взять, например, стихи. Их нам разрешали представлять на Ярмарку наряду с рисунками и живописью, и вот что меня удивляет: мы все считали, что это здорово, что это имеет смысл.

— А почему же не имеет? Поэзия — важная вещь.

— Но ведь кто эти стихи сочинял? Девятилетние, в тетрадках, глупые строчки с кучей ошибок. И мы вместо чего-то действительно красивого, что можно было повесить над кроватью, тратили драгоценные жетоны на тетрадки, исписанные такими вот виршами. Если уж кому-то так нравились чьи-то стихи, почему не взять на время и не переписать? Но нет, ты помнишь, как это было. Приходит Ярмарка — и мы стоим, разрываемся между стихами Сюзи К. и жирафами Джеки.

— Помню, помню, — отозвалась Рут со смехом. — Красивые были жирафы. Я брала одного обычно.

Мы вспоминали об этом погожим летним вечером, сидя на балкончике ее реабилитационной палаты. Прошло уже несколько месяцев после ее первой выемки, и теперь, когда самое тяжелое было позади, я всегда так планировала свои вечерние посещения, чтобы мы могли посидеть там хотя бы полчаса, глядя на солнце, садящееся за крыши. Видно было множество антенн и спутниковых тарелок, а иногда совсем далеко проблескивала полоска моря. Я приносила минеральную воду, печенье, и мы сидели и разговаривали обо всем, что приходило в голову. Центр, где тогда была Рут, — один из моих любимых, и я бы не прочь сама оказаться там напоследок. Реабилитационные палаты там небольшие, но хорошо оборудованные и комфортабельные. Все поверхности — стены, пол — облицованы блестящим белым кафелем, который со-

трудники центра содержат в такой чистоте, что входишь — и кажется, будто попала в зеркальную комнату. Конечно, нет такого, чтобы ты видела множество своих отражений, но можно настроить себя так, что почти видишь. Поднимешь руку или донор сядет в кровати — и ощущаешь это бледное, теневое движение в кафеле повсюду вокруг. К тому же в палате Рут в этом центре были еще и большие окна со скользящими рамами, так что ей легко было из кровати смотреть наружу. Даже не поднимая головы с подушки, она видела очень большой кусок неба, а в хорошую погоду могла вволю дышать на балкончике свежим воздухом. Мне нравилось бывать у нее там, нравились эти не слишком связные разговоры, которые мы вели, сидя на ее балкончике, — о Хейлшеме, о Коттеджах, обо всем, что приходило на ум.

— Я хочу сказать, — продолжала я, — что в том возрасте, скажем лет в одиннадцать, стихи друг друга нас как таковые не интересовали. Но помнишь, например, Кристи? Она славилась как поэтесса, все ее уважали. Даже ты, Рут, не решалась с ней говорить свысока. И все потому, что мы считали ее докой по этой части. При этом поэзию мы не ценили и не понимали в ней ровно ничего. Странно как-то.

Но Рут не поняла меня — или, может быть, нарочно не захотела понять. Возможно, она была настроена представлять себе нас более утонченными, чем мы были. Или же почувствовала, куда может завести разговор, и решила не идти в этом направлении. Как бы то ни было, она испустила глубокий вздох и сказала:

— Да, стихи Кристи нам всем очень нравились. Интересно, что бы мы сейчас о них сказали. Я бы охотно их с тобой почитала и сравнила впечатления.

Потом она засмеялась:

— У меня до сих пор хранятся стихи Питера Б. Правда, это уже было гораздо позже — в четвертом старшем. Наверно, он мне нравился — иначе зачем я стала бы их покупать? Сплошная истерика и глупость. Жутко серьезное отношение к самому себе. Но Кристи другое дело, она действительно хорошо сочиняла, я помню. Забавно: потом бросила поэзию и перешла на живопись, но там у нее получалось намного хуже.

Хочу, однако, вернуться к Томми. Мнение, которое Рут высказала тогда в спальне после отбоя, — о том, что Томми сам виноват в своих неприятностях, — думаю, совпадало с мнением большинства в Хейлшеме в то время. Но только когда она договорила, мне, лежащей в темноте, пришло на ум, что такое суждение о нем — как о мальчике, не дающем себе труда попытаться, — бытует уже давно, с младших классов. И я даже похолодела слегка, когда мне стало ясно, что эти испытания тянутся у Томми не какие-нибудь там недели или месяцы, а годы.

Сравнительно недавно мы говорили с ним об этом, и рассказ Томми о начале его неприятностей подтвердил мысли, возникшие у меня в тот вечер. Он сказал, что это пошло с одного из уроков изобразительного искусства у мисс Джеральдины. До того дня Томми, по его словам, очень любил живопись. Но тогда на изо у мисс Джеральдины Томми нарисовал одну акварель — на ней был слон, стоящий в высокой траве, — и с нее-то все и началось. С его стороны, он сказал, это была вроде как шутка. Я дотошно его расспросила насчет того эпизода и вижу здесь вполне обычную вещь для такого возраста: делаешь что-то без ясных причин, делаешь, и все. Делаешь, потому что хочешь насмешить, взбудоражить, привлечь к себе внимание. А когда потом просят объяснить твой посту-

пок, он кажется тебе бессмысленным. С нами со всеми такое случалось. Томми сказал об этом немножко по-другому, но я уверена, что именно так все и было.

В общем, он нарисовал этого слона — точно такого, какого мог бы изобразить малыш тремя годами младше. Заняла вся работа от силы минут двадцать, и насмешить эта акварель действительно насмешила, хотя не совсем так, как он ожидал. И все равно это вряд ли имело бы серьезные последствия, если бы урок не вела мисс Джеральдина.

Здесь есть какая-то злая ирония: ведь у нас у всех в том возрасте она была любимой опекуншей. Мягкая, спокойная, всегда готовая утешить, если ты в этом нуждаешься, даже если ты сделал что-то не так или тебя отругал другой опекун. Если ей самой приходилось отругать воспитанника, она потом не один день уделяла ему особое внимание, как будто что-то была ему должна. Томми не повезло, что изо в тот день проводила она, а не, скажем, мистер Роберт или старшая опекунша мисс Эмили, которые часто вели этот урок. Будь это кто-нибудь из них, Томми, безусловно, отчитали бы, он бы, наверно, ухмыльнулся, и самое худшее, что подумали бы о нем остальные, — что он неудачно пошутил. Иные, пожалуй, даже решили бы, что он большой юморист. Но мисс Джеральдина — это мисс Джеральдина. Она повела себя по-своему: глядя на акварель, своим видом постаралась выразить участие и понимание. И, вероятно, боясь, что Томми могут высмеять, она перегнула палку: нашла в акварели что-то достойное похвалы и указала на это всему классу. Чем и вызвала недоброжелательство.

— Мы вышли из класса, — вспоминал Томми, — и тогда-то я в первый раз услышал эти разговоры. Им без разницы было, что я их слышу.

Мне кажется, еще до злополучного слона у Томми возникло ощущение, что он не справляется — что рисунки у него, к примеру, получаются гораздо более детскими, чем у сверстников, — и он как мог маскировал свое неумение, нарочно рисуя по-детски. Но после слона это стало явным, и все теперь каждый раз с нетерпением ждали, что он изобразит. Судя по всему, он не сразу сдался окончательно, но, стоило ему за что-то взяться, тут же начинались насмешки и издевательства. Чем больше он старался, тем громче над ним смеялись. И довольно скоро Томми вернулся к прежней самозащите — стал рисовать нарочито детские вещи, которыми хотел показать, что он плевать на все это хотел. Проблема усугублялась.

Первое время ему доставалось только на изо — впрочем, хватало и этого, потому что в младших классах изо было очень много. Но потом стало хуже. Его не брали в игры, мальчишки отказывались садиться с ним за обедом, притворялись, что не слышат, когда он о чем-то заговаривал в спальне после отбоя. Поначалу это проявлялось от случая к случаю. Его могли на месяц оставить в покое, он уже решал, что все позади, но потом либо он, либо один из его врагов — например, Артур Х. — что-то такое делал, из-за чего все начиналось сызнова.

Не могу точно сказать, с каких пор у него пошли сильные припадки ярости. Мне помнится, что Томми всегда, даже в дошкольном возрасте, отличался буйным нравом, но он мне сказал, что припадки начались, только когда его всерьез стали доводить. Так или иначе, этими припадками он настраивал всех против себя, провоцировал, и примерно в то время, о котором я рассказываю, — летом после второго старшего, когда нам было тринадцать, — издевательства достигли высшей точки.

А потом они прекратились – не в одночасье, но довольно быстро. Я, как вы уже поняли, пристально наблюдала тогда за ситуацией, так что перемены увидела раньше, чем большинство. Вначале был период – он длился месяц или больше, – когда Томми по-прежнему регулярно дразнили, но он уже не впадал в бешенство. Иногда я видела, что он вот-вот сорвется, но все же ему удавалось сдержать себя; в других случаях он молча пожимал плечами или вел себя так, словно ничего не заметил. Первое время такая реакция обескураживала других мальчишек – они чуть ли не обижались даже, как будто он их подвел. Потом мало-помалу им стало надоедать, и издевательства сделались почти беззлобными. Наконец однажды я обратила внимание, что уже неделю с лишним ничего не происходит.

Само по себе это еще не так много значило, но я заметила и другие перемены. Небольшие вроде бы: например, Александр Дж. и Питер Н. идут с ним через двор к игровым полям, и все трое непринужденно беседуют. Несильно, но вполне различимо изменилась интонация, с какой произносилось его имя. Потом однажды в конце большой перемены наша компания сидела на траве около южного игрового поля, где мальчишки, как обычно, играли в футбол. Я участвовала в разговоре и одновременно наблюдала за Томми, который был в самой гуще игры. В какой-то момент его остановили подножкой, он встал, взял мяч и положил его, чтобы самому пробить штрафной. Игроки, готовясь к удару, стали рассредоточиваться по полю, и тут Артур Х., один из главных его мучителей, стоя в нескольких шагах за спиной у Томми, начал его передразнивать: изобразил, как он стоит над мячом, уперев руки в бока. Я смотрела внимательно, но, похоже, никто выходку Артура не поддержал. Видеть наверняка видел каждый, ведь все глаза были на Томми, который собирался пробить, а Артур стоял прямо за ним – но никто не проявил интереса. Томми нанес удар, игра пошла дальше, и Артур Х. новых попыток уже не делал.

Все это меня обрадовало – и вместе с тем заинтриговало: ведь в "творчестве" Томми по-прежнему, мягко говоря, не блистал. Я видела, что прекращение припадков ему очень помогло, но нащупать первопричину улучшения мне не удавалось. Что-то изменилось в самом Томми – он по-другому теперь себя держал, по-другому разговаривал, глядя собеседнику в глаза, в своей открытой, доброжелательной манере. И это, в свою очередь, изменило отношение к нему окружающих. Но как так получилось – я понять не могла.

Заинтригованная, я решила немножко его расспросить, когда удастся еще раз поговорить с ним без посторонних ушей. Случай вскоре представился: я стояла в очереди на ланч и увидела его на несколько человек впереди. Как ни странно, в Хейлшеме очередь на ланч была одним из лучших мест для разговора наедине. Отчасти дело тут в акустике Большого зала: среди общего гвалта, который эхом отдавался от высокого потолка, надо было стоять близко друг к другу и понизить голос, и тогда, если соседи были увлечены своими разговорами, появлялся неплохой шанс, что тебя не подслушают. Так или иначе, вариантов было не слишком много. "Тихие" уголки очень часто подводили: вечно оказывалось, что кто-то проходит мимо в пределах слышимости. И если твое поведение давало повод подумать, что ты ищешь местечко для секретного разговора, это за считаные минуты становилось известно всем и каждому, и на уединение можно было не рассчитывать.

Так что, увидев Томми впереди, я помахала ему. Перескакивать в очереди вперед правилами запрещалось, а назад — пожалуйста. Он подошел ко мне с довольной улыбкой, и некоторое время мы постояли, ничего особенного не говоря, — не из-за неловкости, а в ожидании, пока спадет интерес, вызванный его перемещением. Потом я сказала:

— Ты повеселел последнее время. Дела, похоже, налаживаются?

— Все-то ты примечаешь, Кэт. — Он произнес это без всякой иронии. — Да, дела идут нормально. Все хорошо.

— Что случилось? Уж не к Богу ли ты пришел?

— К Богу? — Томми на секунду опешил, потом усмехнулся. — А, понятно. Ты о том, что я... что я меньше злюсь.

— Об этом, но не только. Ты вообще сильно изменился. Я наблюдала за тобой. Потому и спрашиваю.

Томми пожал плечами:

— Повзрослел, наверно. И я, и остальные. Неохота стало повторять по кругу одно и то же. Надоедает.

Я молчала, только смотрела на него, пока он опять не усмехнулся и не сказал:

— Любопытная ты, Кэт. Да, если хочешь знать, кое-что случилось. Могу и рассказать, если тебе интересно.

— Говори, я слушаю.

— Хорошо, но пусть это останется между нами, ладно? Месяца два назад у меня был разговор с мисс Люси. И после него мне стало гораздо лучше. Это трудно объяснить. Она кое-что сказала, и стало лучше.

— Что она сказала?

— Ну... это может показаться странным. Мне по крайней мере сперва показалось. Она сказала, что если я не хочу заниматься творчеством, если меня к нему не тянет, то ничего плохого в этом нет. Все нормально, так она сказала.

— Прямо так?

Томми кивнул, но я уже начала отворачиваться.

— Не валяй дурака, Томми. Я не из тех, кому можно вешать лапшу на уши.

Я действительно рассердилась: я заслуживаю доверия, а он мне врет — так я решила. Увидев сзади в очереди знакомую девочку, я отправилась к ней и оставила Томми одного. Я понимала, что он обескуражен и удручен, но после месяцев переживаний ощущала себя преданной им, и мне было все равно, какие чувства он испытывает. Все время, пока двигалась очередь, я как могла непринужденно болтала с подругой (кажется, это была Матильда) и старалась не смотреть в его сторону.

Но, когда я несла тарелку на стол, Томми приблизился сзади и быстро сказал:

— Кэт, если ты думаешь, что я вру, ты ошибаешься. Именно так оно и было. Я все тебе расскажу, если ты мне позволишь.

— Не болтай чепуху, Томми.

— Кэт, я тебе все расскажу. После ланча я буду около пруда. Подойдешь — все услышишь.

Я укоризненно на него посмотрела и отошла, ничего не ответив, но, кажется, уже допускала возможность, что он сказал правду насчет мисс Люси. И к тому времени как мы с подругами сели за стол, я начала прикидывать, как бы мне ускользнуть потом на пруд, не привлекая внимания.

Глава третья

Пруд находился к югу от корпуса. Чтобы к нему попасть, надо было выйти через заднюю дверь и пройти по узкой извилистой тропинке, раздвигая сильно разросшийся папоротник, который загораживал дорогу даже ранней осенью. Или же, если поблизости не было опекунов, можно было срезать через заросли ревеня. Так или иначе, у пруда тебя ожидало сонное спокойствие: утки, камыш, ряска. Для секретного разговора это место, однако, не очень годилось — в сто раз лучше была очередь на ланч. Во-первых, пруд хорошо просматривался из корпуса. Кроме того, никогда не угадаешь, как пойдет по воде звук. Если кому-нибудь захотелось бы подслушивать, надо было только прошмыгнуть по дальней тропинке и спрятаться в кустах на той стороне пруда. Но ведь я сама оборвала Томми в очереди на ланч — так что теперь привередничать не приходилось. Хотя стоял октябрь, и уже не первые числа, день был солнечный, и я решила сделать вид, что гуляю там просто так и на Томми натыкаюсь случайно.

Может быть, потому, что я настроилась так себя вести — хотя понятия не имела, смотрит кто-нибудь или нет, — я не стала садиться, когда наконец увидела его сидящим на большом плоском камне поблизости от воды. Одежда на нас, помню, была своя — значит, была пятница или уик-энд. Во что именно был одет Томми, сказать теперь не могу — скорее всего, на нем была одна из потрепанных футболок, которые он носил даже в прохладную погоду. А я совершенно точно была в тренировочной куртке на молнии, которую приобрела на Распродаже в первом старшем. Я обогнула камень и стала спиной к пруду, лицом к корпусу, чтобы заметить, если в окнах начнут появляться лица. Потом мы несколько минут говорили о всяких пустяках, как будто в очереди на ланч ничего не случилось. Не знаю, кому — Томми или возможным зрителям — это предназначалось, но держалась я нарочито обыденно и один раз даже пошла было дальше, вроде как продолжать прогулку. Но тут на лице у Томми изобразилось чуть ли не отчаяние, и я мгновенно раскаялась: получалось, что я дразню его, хотя у меня этого и в мыслях не было. И я спросила, словно только что вспомнила:

— Кстати, о чем это ты начал тогда говорить? Насчет мисс Люси.

— А, да... — Томми уставился мимо меня на пруд, тоже делая вид, что совершенно об этом позабыл. — Мисс Люси. Было дело.

Мисс Люси по праву считалась в Хейлшеме самой спортивной опекуншей, хотя по ее виду не всякий мог бы такое предположить. Коренастая, она чем-то напоминала бульдога, и ее черные волосы странно росли вверх и никогда не закрывали ни ушей, ни короткой толстой шеи. При этом она была очень сильная и натренированная, и даже в старших классах мало кто из нас — включая мальчишек — мог тягаться с ней на беговой дорожке. Она великолепно играла в хоккей на траве и не уступала парням старшего возраста на футбольном поле. Помню, однажды Джеймс Б. попытался, когда она вела мяч, остановить ее подножкой, но не тут-то было — сам полетел на траву. Когда мы были в младших классах, она обращалась с нами совсем не так, как мисс Джеральдина, которая могла утешить в беде. В младших она вообще мало с нами разговаривала. Только повзрослев, мы начали ценить ее скупую, энергичную манеру речи.

— Ты стал рассказывать, — напомнила я Томми, — про разговор с мисс Люси. Будто она сказала, что если ты не хочешь заниматься творчеством, то ничего страшного.

— Да, что-то в этом роде. Сказала, чтобы я не беспокоился. Мало ли кто что про меня говорит. Это было месяца два назад. Или чуть побольше.

В корпусе несколько младшеклассников остановились у одного из верхних окон и начали смотреть на нас. Но я, забыв о притворстве, присела на корточки напротив сидящего Томми.

— Томми, ведь это очень странно звучит. Ты уверен, что правильно ее понял?

— Конечно, уверен. — Он вдруг понизил голос. — Она не один раз это повторила. Мы были в ее кабинете, и она закатила об этом целую речь.

Когда она попросила его зайти к ней в кабинет после урока восприятия искусства, Томми, объяснил он мне, подумал, что его ждет очередная лекция о необходимости прилагать старания. Опекуны, в том числе даже мисс Эмили, проводили с ним такие беседы уже не раз. Но когда Томми и мисс Люси шли от корпуса к оранжерее (там у нас жили опекуны), у него возникло ощущение, что сегодня будет по-другому. Потом, когда он сел в ее удобное кресло (сама мисс Люси осталась стоять у окна), она попросила его рассказать, что, по его мнению, с ним все это время происходило. Томми начал было, но даже до середины не дошел, как она вдруг перебила его и заговорила сама. Она, мол, знала множество воспитанников, которым долгое время очень трудно давалось творчество. Живопись, рисунок, поэзия — все это не один год шло у них со скрипом. Потом в один прекрасный день они вдруг раз — и расцветали. Вполне возможно, сказала она Томми, что и с ним так будет.

Томми слыхал подобное и раньше, но было в тоне мисс Люси что-то такое, что заставило его прислушаться.

— Мне ясно стало, — сказал он мне, — что она к чему-то клонит. К чему-то другому.

И действительно, вскоре она начала говорить необычные вещи, которые Томми не сразу воспринял. Но она твердила свое, и понемногу он стал понимать. Если, сказала она, Томми старается по-настоящему, но с творчеством все равно ничего не выходит, это не беда, беспокоиться не надо. Никто — ни опекуны, ни воспитанники — не должен наказывать его, давить на него, мучить его за это. Его вины здесь нет. А когда Томми возразил, что, если мисс Люси так думает — это, конечно, хорошо, но все-то остальные считают виноватым именно его, она вздохнула и посмотрела в окно. Потом сказала:

— Может быть, это и не сильно тебе поможет, но знай: в Хейлшеме есть по крайней мере один человек, который думает по-другому. Который считает тебя очень хорошим воспитанником, ничуть не хуже остальных, независимо от твоих творческих результатов.

— Может, она голову тебе морочила? — спросила я Томми. — Может, она таким хитрым способом решила сделать тебе втык?

— Точно нет. Дело в том... — Вдруг, в первый раз за весь разговор, он обеспокоился, что нас могут подслушивать, и оглянулся на корпус. Младшеклассники уже потеряли интерес и отошли от окна; к павильону направлялись несколько девчонок нашего возраста, но они пока что

были далеко. Томми опять повернулся ко мне и сказал чуть ли не шепотом:

– Дело в том, что, когда она это говорила, ее *трясло.*

– Как это – трясло?

– Натурально. От злости. Я прекрасно видел. Она, глубоко внутри, была в бешенстве.

– Из-за кого?

– Не знаю. Но не из-за меня, вот что самое главное! – Он усмехнулся, потом опять стал серьезным. – Понятия не имею, на кого она злилась. Но злилась здорово.

У меня затекли ноги, и я встала.

– Странно все это, Томми.

– И самое интересное, что этот разговор мне помог. Очень даже помог. Ты сегодня сказала, что дела у меня как будто налаживаются. Ну, так это из-за мисс Люси. Я стал потом думать о ее словах и понял: она права, я не виноват. Да, я вел себя не так, как надо. Но все равно где-то там, в самой глубине, я не виноват. Вот это-то все и меняет. А если я чувствую, что могу сорваться, хорошо бывает встретить ее где-нибудь или просто посмотреть на нее, когда сижу на уроке. Она ничего, конечно, не скажет про наш разговор, только слегка кивнет. Но мне этого хватает. Ну вот – ты спрашивала, что со мной случилось. Теперь ты знаешь. Но слушай, Кэт, обещай мне: ни слова никому, хорошо?

Я кивнула, но спросила:

– Это она потребовала?

– Нет-нет, она ничего от меня не требовала. Но все равно молчи как рыба. Ты должна дать мне слово.

– Ладно, даю слово.

Девочки, которые шли к павильону, увидели меня и стали махать руками и кричать. Я помахала в ответ и сказала Томми:

– Я теперь пойду. Давай потом это обсудим.

Но Томми будто не слышал.

– Было еще кое-что, – продолжал он. – Она и про другое мне говорила, но я толком не понял. Хотел тебя об этом спросить. Она сказала, нас недостаточно учат, что-то в этом роде.

– Недостаточно учат? То есть она думает, что мы должны еще больше заниматься?

– Нет, кажется, она не к этому вела. Она говорила... ну... про нас вообще. Про то, что с нами будет. Про донорство и все такое.

– Но ведь нам это объясняли, – удивилась я. – Не понимаю, что она хотела сказать. Что есть такие вещи, которые от нас пока держат в секрете?

Томми ненадолго задумался, потом помотал головой.

– Нет, по-моему. Просто она думает, что нас надо больше этому учить, вот и все. Она сказала, ей бы очень хотелось самой с нами потолковать на эти темы.

– На какие именно?

– Не знаю, Кэт. Может быть, я вообще не так ее понял. Может быть, она совсем даже не это имела в виду, а еще что-нибудь насчет моих нулевых творческих результатов. Я как в тумане, если честно.

Томми смотрел на меня так, словно ждал, что я добуду откуда-нибудь ответ. Я поразмыслила еще несколько секунд, потом сказала:

– Томми, постарайся вспомнить. Ты говоришь, она злилась...

– Да, вид был такой. Тихая, но ее трясло.

— Хорошо, допустим — она злилась. И что, злость напала на нее как раз, когда она затеяла этот новый разговор? Про то, что нам мало объясняют насчет донорства и прочего?

— Кажется, так...

— Теперь, Томми, подумай. С какой стати она сюда вырулила? Говорила про тебя, про твои трудности с творчеством. Потом вдруг начинает про эти вещи. Где связь? При чем тут вообще донорство? Какое оно имеет отношение к твоим делам?

— Не знаю — какое-то, наверно, имеет. Может быть, одно почему-то навело ее на другое. Кэт, ты что-то слишком во все это погрузилась.

Я засмеялась, потому что он был прав: я хмурила брови, полностью уйдя в свои мысли. Они двигались в разных направлениях одновременно. Рассказ Томми о разговоре с мисс Люси заставил меня кое о чем вспомнить — пожалуй, сразу о нескольких вещах, о мелких эпизодах с участием мисс Люси, которые озадачили меня в свое время.

— Просто... — Я замолчала, вздохнула. — Не могу понятно объяснить, даже сама себе. Просто то, что ты говоришь, напоминает о всяком-разном — о довольно-таки загадочном. Я часто про это думаю. Например, зачем Мадам приезжает и забирает наши лучшие картины? Для чего они ей нужны?

— Для Галереи.

— Но что это за Галерея? Приезжает раз за разом и увозит лучшее, что мы делаем. У нее уже горы должны были накопиться. Я однажды спросила мисс Джеральдину, с каких пор Мадам стала сюда приезжать, и она ответила, что с самого основания Хейлшема. Что это за Галерея? Почему она вдруг решила сделать галерею из наших работ?

— Может быть, продает. Там, снаружи, они всем торгуют.

Я покачала головой.

— Нет, не то. Здесь должна быть какая-то ниточка к тому, что сказала тебе мисс Люси. Про нас, про то, что нам предстоит, про донорство. Не знаю, но мне кажется, что все тут связано одно с другим, хотя не могу сообразить как. Ладно, я пойду, Томми. Давай пока будем молчать обо всем.

— Конечно. И никому про мисс Люси.

— Но ты мне скажешь, если она еще о чем-нибудь таком с тобой заговорит?

Томми кивнул, потом опять оглянулся.

— Ты правда иди, Кэт. А то кто-нибудь нас услышит.

С Галереей, о которой вспомнили мы с Томми, мы, можно сказать, выросли. Все говорили о ней как о чем-то реальном, хотя никто из нас не был по-настоящему уверен в ее существовании. Не помню, когда и от кого я в первый раз про нее услышала, и наверняка я в этом отношении случай довольно типичный. Точно могу сказать, что не от опекунов: они о Галерее никогда не упоминали, и действовало негласное правило, что в их присутствии мы даже и заговаривать не должны на эту тему.

Мне думается теперь, что представление о Галерее передавалось в Хейлшеме от поколения к поколению воспитанников. Помню, мне было всего пять или шесть, и я сидела за низким столиком рядом с Амандой С. Руки у нас были липкие от пластилина. Не могу сейчас сказать, были ли в комнате другие дети и кто из опекунов вел занятие. Точно знаю одно: Аманда С., которая была на год старше, посмотрела на то, что я леплю, и воскликнула: "Ой, Кэти, какая красота! Вот здорово! Точно тебе говорю — это возьмут в Галерею!"

Наверняка я уже знала про Галерею. Помню свое волнение и гордость, когда я это услышала, и помню, что мгновение спустя я подумала: "Ну нет, глупости, никто из нас еще не годится для Галереи".

Мы становились старше, и Галерея то и дело возникала в наших разговорах. Если кому-нибудь хотелось похвалить чужую работу, он говорил: "Класс! Прямо для Галереи". Когда мы доросли до иронии, мы, увидев какое-нибудь смехотворно неудачное произведение, потешались: "Вот это шедевр! В Галерею немедленно!"

Но действительно ли мы верили в существование Галереи? Сегодня я в этом не убеждена. Как я уже сказала, мы никогда не упоминали о ней в разговорах с опекунами, и мне сейчас кажется, что это правило мы настолько же установили для себя сами, насколько оно исходило от опекунов. Помню один случай, когда нам было лет одиннадцать. Класс 7, солнечное зимнее утро. Только что кончился урок мистера Роджера, и некоторые из нас остались поболтать с ним. Мы сидим на столах, о чем именно идет беседа – не помню, но мистер Роджер, как всегда, заставляет нас покатываться со смеху. И тут Кэрол Х. возьми и скажи сквозь хохот: "Ну просто перл! Хоть в Галерее выставляй!" Она мигом прихлопнула рот ладонью, и настроение в классе осталось веселым, но все, в том числе мистер Роджер, понимали, что она совершила ошибку. Не катастрофическую – такую, как если бы с языка сорвалось грубое словцо или прозвучало прозвище опекуна в его присутствии. Мистер Роджер снисходительно улыбнулся, словно говоря: "Ничего, сделаем вид, что это не было сказано", и мы продолжили в прежнем духе.

Если Галерея оставалась для нас чем-то туманным, то вполне ощутимыми были визиты Мадам, отбиравшей наши лучшие работы, – она приезжала два, а иногда три или четыре раза в год. Мы называли ее между собой Мадам, потому что она была француженка или бельгийка (кто именно, возникали споры) и так к ней всегда обращались опекуны. Это была высокая худая женщина с короткой стрижкой, видимо, еще довольно молодая, хотя тогда мы считали по-другому. На ней каждый раз был элегантный серый костюм, и, в отличие от садовников, от шоферов, привозивших нам продукты и прочее, практически ото всех, кто приезжал извне, она с нами не разговаривала и своей прохладной манерой держала нас на расстоянии. Не один год мы считали ее "задавакой", но однажды вечером, когда нам было лет восемь, Рут выдвинула другое предположение.

– Она нас боится, – заявила она.

Мы лежали в кроватях в темноте. В младших классах нас приходилось по пятнадцати на спальню, поэтому у нас еще не могло быть таких долгих задушевных бесед, какие мы начали вести в старшем возрасте. Тем не менее у большей части нашей "компании" кровати стояли близко друг к другу, и поздние разговоры уже тогда начали входить у нас в привычку.

– Как это – боится? – спросила одна из девчонок. – С какой стати она будет нас бояться? Что мы ей можем сделать?

– Не знаю, – сказала Рут. – Не знаю, но точно вам говорю, что это так. Я думала, она просто задавака, но нет, Мадам нас боится, я теперь в этом уверена.

Мы спорили об этом несколько дней. Большинство не согласилось с мнением Рут, но это только придало ей решимости доказать свою правоту. И в конце концов, чтобы проверить ее теорию, мы придумали

план, который должны были привести в действие, когда Мадам опять приедет в Хейлшем.

Хотя о приездах Мадам никогда не объявляли, всякий раз было вполне очевидно, что ее ждут. Подготовка к визиту начиналась загодя. Опекуны просматривали все наши работы — картины, рисунки, керамику, прозу, стихи. Продолжалось это недели две, и в итоге по четыре-пять вещей от каждого года обучения, от старших и младших, отбирались и помещались в биллиардную. Биллиардная на это время запиралась, но если забраться снаружи на низенькую ограду, можно было заглянуть в окно и увидеть, как растет улов. Когда опекуны начинали аккуратно все располагать на столах и стендах, устраивая своего рода Ярмарку в миниатюре, мы знали, что Мадам появится через день-два.

Но осенью, про которую я рассказываю, нам нужно было знать не только день, но и точный момент, потому что нередко Мадам гостила всего час-другой. Так что когда мы увидели, что в биллиардной идет раскладка вещей, мы решили дежурить и высматривать ее по очереди.

Задачу сильно облегчало наше местоположение. Хейлшем находился в низине, откуда во все стороны плавно поднимались поля. Это означало, что почти из каждого классного окна в главном корпусе — и даже из павильона — хорошо видно было длинное узкое шоссе, которое шло через поля вниз к главным воротам. Да и от этих ворот расстояние до корпуса еще было приличное, и любой машине, чтобы попасть на площадку перед ним, надо было проехать по гравийной дорожке мимо кустов и клумб. Нередко за день мы не видели на шоссе ни одной машины, а те, что изредка появлялись, обычно были фургончиками или грузовиками, которые везли садовников, рабочих и снабжали Хейлшем всем необходимым. Легковой автомобиль был редкостью, и, возникнув на отдалении, он иной раз вызывал в классе настоящий переполох.

День, когда мы заметили на шоссе машину Мадам, был солнечным, но ветреным, с грозовыми тучами на небосклоне. Мы сидели на втором этаже в классе 9 — окна со стороны фасада, — как вдруг по рядам побежал шепот, и бедный мистер Фрэнк, пытавшийся учить нас правописанию, не мог понять, какая муха нас укусила.

План, который мы разработали для проверки теории Рут, был очень простым. Мы, шесть девчонок, должны были устроить где-нибудь засаду и в подходящий момент, все разом, оказаться около Мадам. Вести себя при этом вполне прилично, приблизиться и сразу же двигаться дальше, но если сделать все вовремя, можно застать ее врасплох и, как уверяла Рут, увидеть, что она нас боится.

Нашей главной заботой было подловить Мадам за то короткое время, что она пробудет в Хейлшеме. Когда урок мистера Фрэнка кончился, мы увидели в окно, как она останавливает свою машину на площадке прямо под нами. Мы торопливо посовещались в коридоре, спустились вслед за остальными по лестнице и стали околачиваться в вестибюле у главного входа. Глядя в дверь на освещенную солнцем площадку, мы видели Мадам, которая все еще сидела за рулем и копалась в своем портфеле. Наконец она вышла из машины и двинулась в нашу сторону. На ней был обычный серый костюм, портфель она крепко прижимала к себе обеими руками. Рут подала знак, и мы, словно желая прогуляться, высыпали за дверь и направились прямо к ней — но были точно в забытьи. И только когда она остановилась как вкопанная, каждая из нас пробормотала: "Прошу прощения, мисс" и обошла ее справа или слева.

Никогда не забуду странную перемену, которая случилась с нами в следующий миг. До тех пор вся затея была для нас если и не просто шуткой, то во многом нашим частным делом, больше никого не касающимся. Мы не особенно думали о том, как в нем может участвовать сама Мадам или кто-либо еще. То есть до последнего момента это было довольно легкомысленное предприятие с небольшой примесью дерзости. И не сказать, чтобы Мадам повела себя каким-нибудь совсем неожиданным образом: она просто замерла и подождала, пока мы пройдем. Не вскрикнула, даже вздоха не испустила. Но мы все очень напряженно ждали, что будет, и, вероятно, поэтому ее реакция так на нас подействовала. Когда Мадам остановилась, я быстро посмотрела на ее лицо, и такой же взгляд, я уверена, бросили другие. И я до сих пор вижу еле заметное содрогание, которое она подавила, — признак реальной боязни случайно дотронуться до кого-нибудь из нас. И хотя мы все просто прошли мимо, каждая это почувствовала: словно из-под солнца мы на секунду переместились в холодную тень. Рут была права: Мадам действительно нас боялась. Но боялась так, как другие боятся пауков. К этому мы не были готовы. Обдумывая план, мы не задавались вопросом, как мы сами себя почувствуем в такой роли — в роли пауков.

К тому времени как мы пересекли площадку и вышли на траву, мы уже были совсем другой компанией, чем та, что стояла и азартно ждала, когда Мадам выйдет из машины. Ханна, казалось, вот-вот расплачется. Даже Рут выглядела потрясенной. Потом одна из нас — по-моему, Лора — сказала:

— Если она нас не любит, зачем ей наши работы? Почему бы просто не оставить нас в покое? Кто вообще ее просит сюда приезжать?

Никто не ответил, и мы пошли в павильон — больше о случившемся не было сказано ни слова.

Теперь мне ясно, что мы были как раз в таком возрасте, когда уже знали кое-что о себе — кто мы такие, чем отличаемся от опекунов, от людей вне Хейлшема, — но еще не понимали, что это означает. Я уверена, что и у вас когда-нибудь в детстве было переживание, сходное с нашим в тот день. Сходное не внешне, не в деталях, а внутренне, чувствами. Потому что как бы ни готовили тебя опекуны, сколько бы ни было бесед, видеофильмов, обсуждений, предостережений, до сознания все это по-настоящему не доходит — по крайней мере когда тебе только восемь лет, когда вы все вместе в таком заведении, как Хейлшем, когда у вас такие опекуны, как были у нас, когда садовники и шоферы шутят с вами, смеются и называют вас "золотко".

И где-то тем не менее это копится. Копится, потому что, когда наступает такой момент, как у нас, оказывается, что часть тебя этого ждала. Лет, может быть, с пяти или шести что-то в твоей голове тихо шепчет: "Когда-нибудь — может, даже и скоро — ты поймешь, каково это". И ты ждешь, пусть даже и не вполне это понимаешь, ждешь момента, когда тебе станет ясно, что ты действительно отличаешься от них, что там, снаружи, есть люди, которые, как Мадам, не питают к тебе ненависти и не желают тебе зла, но тем не менее содрогаются при самой мысли о тебе — о том, как ты появился в этом мире и зачем, — и боятся случайно дотронуться до твоей руки. Миг, когда ты впервые глядишь на себя глазами такого человека, — это отрезвляющий миг. Это как пройти мимо зеркала, мимо которого ты ходил каждый день, и вдруг увидеть в нем что-то иное, что-то странное и тревожное.

Глава четвертая

К концу года я уже перестану работать помощницей, и, хотя я очень много от этой работы получила, должна признаться, что буду рада возможности отдохнуть — остановиться, поразмыслить, кое-что вспомнить. Наверняка две вещи в какой-то мере связаны — предстоящая перемена в моей жизни и эта потребность разложить по полочкам воспоминания давних лет. В первую очередь, думаю, мне хотелось разобраться в том, что произошло между мной, Томми и Рут, после того как мы выросли и уехали из Хейлшема. Но теперь мне стало понятно, что из случившегося позже очень многое берет начало в наших хейлшемских временах, и поэтому я хочу вначале аккуратно пройтись по ранним воспоминаниям. Взять, например, наше любопытство в отношении Мадам. На первый взгляд, детская забава, и только. Но если посмотреть глубже, — начало процесса, который с годами развивался и развивался, пока не стал главенствовать в нашей жизни.

С того дня упоминание о Мадам сделалось у нас если не табу, то довольно редким событием. И вскоре это распространилось с нашей маленькой компании почти на всех наших ровесников. Не то чтобы мы стали менее любопытны на ее счет, но в большинстве своем мы почувствовали, что попытки копнуть глубже — задаться, например, вопросами, что она делает с нашими работами, существует ли Галерея, — могут завести нас на территорию, куда нам ступать еще рано.

Впрочем, тема Галереи все же изредка возникала, так что несколько лет спустя, когда Томми принялся рассказывать мне у пруда о странном разговоре с мисс Люси, в моей памяти что-то забрезжило. Но только потом, когда я оставила его сидеть на камне, а сама поспешила к игровому полю догонять подруг, я вспомнила, что это было.

Это были слова, которые мисс Люси как-то раз сказала на уроке. Я их запомнила, потому что они меня заинтриговали, и еще потому, что это был один из редких случаев, когда о Галерее был задан прямой вопрос опекуну.

В самом разгаре у нас было то, что позднее мы назвали "жетонными дебатами". Уже став взрослыми, мы с Томми вспоминали однажды эти дела и поначалу не могли прийти к согласию о том, сколько нам тогда было лет. Я утверждала, что десять, он доказывал, что больше, но в конце концов признал мою правоту. Я, в общем, уверена, что не ошиблась: мы учились тогда в четвертом младшем — эпизод с Мадам был уже позади, но до разговора у пруда оставалось три года.

"Жетонные дебаты" были, я думаю, следствием того, что с возрастом в нас усиливался элемент собственничества. Долгое время, как я уже, кажется, говорила, мы считали, что если твою работу берут в биллиардную — и тем более если ее берет Мадам, — то это большое счастье, триумф. Но к десяти годам мы начали испытывать двойственные чувства на этот счет. Ярмарки с их системой жетонов, заменявших деньги, развили в нас привычку назначать цену всему, что мы создавали. Нас стали интересовать футболки с рисунками и надписями, мы принялись украшать стены над кроватями, индивидуализировать письменные столы. И, конечно, нас заботили наши "коллекции".

Не знаю, собирали ли вы "коллекции" там, где росли. Когда встречаешь воспитанников Хейлшема, они всегда, раньше или позже, начинают предаваться ностальгическим воспоминаниям о своих "коллек-

циях". В то время, конечно, мы воспринимали это как само собой разумеющееся. У каждого под кроватью стоял именной деревянный сундучок, где хранилось личное достояние, приобретенное на Распродажах и Ярмарках. Могу припомнить лишь одного-двух воспитанников, которых коллекции мало интересовали, между тем как подавляющее большинство заботилось о них чрезвычайно: одно выставляли напоказ, другое бережно прятали.

И к десяти годам представление о том, что Мадам, когда забирает вещь, оказывает автору великую честь, вступило в противоречие с ощущением, что мы теряем самый ходовой товар. Критической точки все это достигло в "жетонных дебатах".

Началось с того, что некоторые воспитанники, главным образом мальчишки, принялись ворчать: почему за работы, которые Мадам берет в Галерею, не дают жетонов? Многие с этим согласились, но другие были возмущены. Некоторое время мы спорили об этом между собой, и наконец Рой Дж. (он был на год старше нас, и Мадам взяла несколько его вещей) решил поговорить с мисс Эмили.

Мисс Эмили, наша главная опекунша, была старше остальных. При среднем росте она казалась высокой из-за осанки: мисс Эмили всегда ходила с прямой спиной и высоко поднятой головой. Седоватые волосы она стягивала к затылку, но пряди постоянно выбивались и реяли вокруг ее головы. Я у себя такого не вынесла бы, но мисс Эмили не удостаивала пряди внимания. К вечеру она выглядела довольно странно: кругом эти волосы, которые она, говоря с тобой как всегда негромко, неторопливо, не считала нужным отводить с лица. Мы все здорово ее боялись и относились к ней иначе, чем к другим опекунам. При этом считали мисс Эмили справедливой и уважали ее решения; даже в младших классах мы, кажется, чувствовали, что именно ее присутствие, пусть и внушающее некоторый страх, дает нам в Хейлшеме ощущение общей безопасности.

Чтобы отправиться к ней по своей инициативе, нужна была изрядная храбрость, а пойти с таким требованием, какое собирался выдвинуть Рой, казалось самоубийством. Но Рой не получил жестокого нагоняя, которого мы все ожидали, и в последующие дни пошли слухи о разговорах и даже спорах между опекунами по поводу жетонов. В конце концов было объявлено, что жетоны выдавать *будут*, но не очень много, потому что Мадам, выбирая чьи-либо работы, оказывает автору "чрезвычайную честь". Решение не удовлетворило полностью ни тот ни другой лагерь, и ворчание не утихло.

В этой атмосфере Полли Т. задала мисс Люси свой вопрос. Мы сидели в библиотеке вокруг большого дубового стола. Помню, в камине горело полено, и у нас была читка пьесы. Какая-то строчка в пьесе дала Лоре повод отпустить шутку насчет этой жетонной истории, и мы все, в том числе мисс Люси, засмеялись. Потом мисс Люси сказала, что поскольку в Хейлшеме сейчас только об этом и говорят, она предлагает прекратить читку и провести остальную часть урока за обменом мнениями по поводу жетонов. Чем мы и занимались до тех пор, как Полли совершенно неожиданно спросила: "Мисс, а почему все-таки Мадам забирает наши работы?"

Все замолчали. Мисс Люси редко сердилась, но если уж сердилась, то всерьез, и на мгновение мы подумали, что Полли влипла. Но потом увидели, что мисс Люси совсем даже не злится, а глубоко задумалась. Я,

с одной стороны, внутренне взъярилась на Полли за глупое нарушение неписаного правила, с другой – страшно взволновалась: как ответит ей мисс Люси? Смешанные чувства, разумеется, испытывала не я одна: почти все с нетерпением уставились на мисс Люси, испепелив вначале взглядами бедную Полли, что, наверно, было по отношению к ней довольно жестоко. После паузы, которая показалась очень долгой, мисс Люси сказала:

– Сегодня могу дать только один ответ: по серьезной причине. По очень веской причине. Но если бы я попыталась вам сейчас объяснить, вы вряд ли поняли бы. Когда-нибудь, надеюсь, вам объяснят.

Мы не стали допытываться. Вокруг стола воцарилось глубокое смятение, и, хотя нам очень хотелось услышать больше, нам еще сильней хотелось, чтобы разговор перешел с этой скользкой темы на что-нибудь другое. Поэтому несколько секунд спустя мы с облегчением возобновили спор о жетонах, в котором теперь была, наверно, доля искусственности. Так или иначе, слова мисс Люси меня заинтриговали, и несколько дней я то и дело принималась о них думать. Вот почему потом у пруда, когда Томми стал рассказывать о разговоре с мисс Люси, о том, как она сказала, что нас "недостаточно учат" каким-то вещам, эпизод в библиотеке и один-два других подобных ему замаячили у меня в памяти.

Раз уж я заговорила о жетонах, скажу и о Распродажах, о которых уже вскользь упоминала. Распродажи были важны для нас потому, что давали возможность получать вещи извне. Тенниску свою, к примеру, Томми приобрел на Распродаже. Одежда, игрушки, всевозможные вещицы, изготовленные не нами самими, – все это приходило к нам именно оттуда.

Раз в месяц на длинной дороге, которую видно было из окон, появлялся белый фургончик, и чувствовалось, как по всему корпусу и территории стремительно распространяется волнение. К тому моменту, как он останавливался у корпуса, его уже ждала толпа – главным образом малышня, потому что после двенадцати-тринадцати нехорошо было так явно показывать свое нетерпение. Но равнодушным, если честно, не оставался никто.

Теперь, годы спустя, эта взбудораженность кажется нелепой: Распродажи чаще всего приносили разочарование. Ничего особенного фургончик обычно не привозил, и мы тратили жетоны на то, чтобы взамен изношенного и сломанного приобретать новое, похожее. Все дело, по-моему, в том, что каждый из нас в прошлом находил на Распродаже такое, что становилось милой, любимой вещью, – жакетку, часики, какие-нибудь особые ножницы, которые никогда не использовались, но хранились у кровати и были предметом гордости. Такие приобретения когда-то случались у всех, поэтому, как мы ни изображали безразличие, нас помимо воли охватывали былые надежды и волнение.

В том, чтобы присутствовать при разгрузке машины, свой толк все же был. Если ты принадлежал к числу этих младшеклассников, ты хвостом ходил в кладовку и обратно за двумя мужчинами в комбинезонах, носившими туда большие картонные коробки, и спрашивал их, что там внутри. "Масса всякого добра, золотко", – отвечали они обычно. Если ты не унимался: "Что, невиданное чудо какое-нибудь?", они рано или поздно улыбались: "Да, золотко, пожалуй, так. Невиданное чудо" – за чем следовал восторженный вопль.

Сверху многие коробки были открыты, так что можно было бросить взгляд на их содержимое, и иногда, хотя это не полагалось, мужчины разрешали запустить туда руку и что-то подвинуть, чтобы лучше было видно. Вот почему к моменту Распродажи, которая происходила примерно неделю спустя, успевали распространиться всевозможные слухи — например, о каком-нибудь особенном тренировочном костюме или о музыкальной кассете, — и порой оттого, что несколько воспитанников нацеливались на одну и ту же вещь, между ними возникало некоторое напряжение.

Распродажи были полной противоположностью Ярмаркам с их чинной атмосферой. В столовой, где проводились Распродажи, всегда было тесно и шумно. Но толкотня и шум тоже были своего рода развлечением, и в целом обстановка на Распродажах была довольно-таки дружественная. Разве что изредка, как я уже сказала, вспыхивал конфликт из-за какой-нибудь вещи, которую хватало и тянуло несколько рук, и дело иной раз кончалось дракой. Тогда дежурные старшие воспитанники грозились прекратить все мероприятие, и на следующее утро на общем собрании нас ждал разнос от мисс Эмили.

Наш день в Хейлшеме всегда начинался с общего собрания, которое обычно было довольно коротким — несколько объявлений, потом, может быть, кто-то из воспитанников читал стихотворение. Мисс Эмили, как правило, говорила мало. Держа спину очень прямо, она сидела на сцене нашего зала, кивала на все, что слышала от выступающих, и время от времени бросала суровый взгляд на шепчущихся. Но наутро после неважно прошедшей Распродажи все было по-другому. Она отдавала нам распоряжение сесть на пол (обычно на общих собраниях мы стояли), и не было никаких объявлений и стихов, просто мисс Эмили распекала нас не умолкая двадцать, тридцать минут, а то и дольше. Голос она повышала редко, но в ней в подобных случаях ощущалась какая-то сталь, и никто из нас, даже самые старшие, не осмеливался издать ни звука.

Мы и правда чувствовали себя тогда коллективно виноватыми перед ней, чувствовали, что подвели ее, однако толком воспринимать эти нотации, как ни старались, не могли. Отчасти — из-за ее способа изъясняться. "Недостойны привилегии", "злоупотребление возможностью" — вот два частых выражения, которые вспомнили я и Рут, когда говорили о прошлом в палате дуврского центра. Общий смысл был, пожалуй, еще понятен: мы в Хейлшеме находимся на особом положении и, следовательно, ведя себя плохо, не оправдываем надежд. Но в остальном — полный туман. То она несется вперед на всех парах, то вдруг — резкая остановка со словами типа: "Что это? Что это? Что нас подкашивает?" После чего она стояла с закрытыми глазами и нахмуренным лицом, точно пыталась разгадать загадку. И мы изо всех сил, хоть и сидели смущенные и озадаченные, желали, чтобы она разрешила внутри себя вопрос, который не давал ей покоя. Потом она могла продолжить с мягким вздохом, означавшим, что мы прощены, но с таким же успехом мог последовать и взрыв: "Но я не сдамся! Никогда! Ни я, ни Хейлшем!"

Рут, когда мы с ней вспоминали эти длинные речи, удивлялась: в классе все, что говорила мисс Эмили, было понятно, а тут — ничего не разберешь. Когда я сказала, что иногда видела, как главная опекунша ходит по Хейлшему точно во сне и разговаривает сама с собой, Рут возмутилась:

— Да брось ты, быть такого не могло! Разве стал бы Хейлшем тем, чем он стал, если бы его начальница была чокнутая? Нет, нет! Интеллект у мисс Эмили был как бритва.

Я не стала возражать. Да, мисс Эмили могла быть жутко проницательной. Если, скажем, ты находилась там, где не положено, будь то в главном корпусе или на территории, то при появлении опекуна часто можно было где-нибудь спрятаться. В Хейлшеме имелось очень много подходящих местечек — и в помещении, и снаружи: стенные шкафы, ниши, кусты, живые изгороди. Но если оказывалось, что приближается мисс Эмили, сердце у тебя падало, потому что она всегда знала, где ты прячешься. Какое-то шестое чувство ей подсказывало. К примеру, ты залезла в стенной шкаф, плотно закрыла дверь, ни один мускул у тебя не дрогнет — и все равно шаги мисс Эмили остановятся у шкафа и ее голос скажет: "Так. Выходи".

Именно это однажды произошло с Сильвией С. на площадке третьего этажа, и тогда у мисс Эмили случился один из ее приступов гнева. Хотя она, в отличие, скажем, от мисс Люси, никогда не принималась на тебя кричать, гнев мисс Эмили был, пожалуй, страшнее. Глаза сужались, и она начинала что-то яростно шептать сама себе, словно обсуждала с невидимым коллегой, какое жестокое наказание подойдет для тебя лучше всего. С одной стороны, тебе при этом очень хотелось услышать, что она шепчет, с другой стороны, совершенно этого не хотелось. Впрочем, обычно мисс Эмили никаким ужасным образом воспитанников не наказывала. Она почти никогда не оставляла их после уроков, не давала штрафных поручений, не лишала привилегий. И все равно само сознание, что ты упала в ее глазах, было невыносимо, и ты хотела немедленно что-то сделать в искупление вины.

Но предсказать что-либо, если дело касалось мисс Эмили, было невозможно. Сильвия, по-моему, получила от нее в тот раз сполна, но, остановив однажды Лору, которая бежала через заросли ревеня, мисс Эмили всего-навсего бросила: "Здесь нельзя, девочка. Мигом домой". И пошла дальше.

Был случай, когда я испугалась, что мне от нее здорово достанется. Я очень любила узкую тропу, которая огибала главный корпус сзади. Она повторяла все выступы и углубления стены; идешь — раздвигаешь кусты, проныриваешь под двумя оплетенными плющом арками и через ржавую калитку. И всю дорогу можно было заглядывать в окна, в одно за другим. Тропа, я думаю, так мне нравилась, помимо прочего, потому, что я никогда не знала, разрешается по ней гулять или нет. В учебное время, разумеется, нет, но в выходной или вечером — неизвестно. Так или иначе, на ней редко кто появлялся, и, наверно, дополнительное удовольствие давало мне ощущение, что я здесь сама по себе.

И вот однажды я шла по этой тропе солнечным вечером. Кажется, я была тогда в третьем старшем. По пути, как обычно, заглядывала в пустые классы и вдруг в одном из них увидела мисс Эмили. Она была там одна, медленно расхаживала взад-вперед, вполголоса что-то говорила, показывала на что-то рукой, и адресовала высказывания невидимым слушателям. Я решила, что она репетирует урок или, может быть, речь на общем собрании, и хотела прошмыгнуть, пока она не видит, но в эту самую секунду она повернулась и посмотрела прямо на меня. Я замерла и подумала, что влипла, но потом увидела, что она продолжает говорить, только теперь обращается ко мне. Потом, как ни в чем не бывало,

она повернулась в другую сторону и устремила взгляд на какого-то воображаемого воспитанника. Я пробралась по тропе и весь следующий день боялась встречи с мисс Эмили. Но она ничего мне не сказала.

Однако я, собственно, хочу сейчас о другом. Хочу записать кое-что насчет Рут — о том, как мы встретились и подружились, о наших детских отношениях. Потому что все чаще последнее время, проезжая днем через бесконечные поля или сидя за чашкой кофе у широкого окна на станции обслуживания, я ловлю себя на том, что вновь о ней думаю.

Мы не с самого раннего детства водили дружбу. Как в пять-шесть лет мы играли с Ханной и Лорой, я помню, как с ней — нет. Я сохранила с тех времен только одно расплывчатое воспоминание о Рут.

Я играю на песке. Рядом другие дети, нам тесновато, и мы начинаем злиться друг на дружку. Мы под открытым небом, нас греет солнце, так что, скорее всего, это песочница на нашей площадке для малышей или, может быть, яма с песком для прыжков в длину на северном игровом поле. Так или иначе, мне жарко, хочется пить, и неприятно, что нас тут собралось так мно́го. Потом вижу Рут — она стоит не на песке вместе со всеми, а чуть поодаль. Она очень сердита на двух девочек у меня за спиной из-за чего-то, что, видимо, случилось раньше, стоит и смотрит на них с негодованием. Думаю, что я и Рут были тогда очень мало знакомы, но она, видимо, успела когда-то раньше произвести на меня впечатление: помню, я с двойным усердием стала опять копаться в песке, очень боясь, что она обратит свой гнев и на меня. Я ни слова ей не сказала, но отчаянно хотела дать ей понять, что к тем двум девочкам не имею никакого отношения и совершенно не участвовала в том, что ее рассердило.

Вот и все, что я могу о ней вспомнить из тех ранних времен. Мы были одного возраста и наверняка виделись довольно часто, но, если не считать эпизода в песке, между нами ничего не происходило, кажется, лет до семи, когда мы уже были одноклассницами.

Из двух игровых полей мы, младшие, кучковались в основном на южном, и там, в углу около тополей, Рут подошла ко мне однажды в большую перемену, смерила взглядом и спросила:

— Хочешь покататься на моем жеребце?

В этот момент я увлеченно играла с двумя-тремя другими детьми, но было совершенно ясно, что Рут обращается ко мне одной. Это привело меня в полный восторг, но, прежде чем согласиться, я сделала вид, что взвешиваю предложение.

— А как его зовут?

Рут подошла на шаг ближе.

— Моего *лучшего* жеребца, — сказала она, — зовут Гром. Но его я тебе не дам, потому что слетишь — он горячий. Но можешь, если хочешь, взять Воронка, только без хлыста, пожалуйста. Или бери кого угодно из остальных. — Она произнесла несколько кличек, которые я уже не помню, потом спросила: — А свои лошади у тебя есть?

Прежде чем ответить, я посмотрела на нее и усиленно помозговала.

— Нет. Своих нету.

— Ни одной?

— Ни одной.

— Ладно, так и быть, бери Воронка, и если он тебе понравится, можешь взять насовсем. Только без хлыста. И если идти, то *немедленно*.

Мои подружки, так или иначе, уже отвернулись от меня и опять погрузились в игру. Поэтому я пожала плечами и последовала за Рут.

На поле было множество играющих детей, иные гораздо старше нас, но Рут шла сквозь них очень целеустремленно и все время на шаг-другой меня опережала. Когда мы приблизились к проволочной сетке, огораживающей сад, она обернулась и сказала:

— Вот тут и покатаемся. Садись давай на Воронка.

Я взяла у нее из рук невидимые поводья, и мы начали "кататься" взад и вперед вдоль забора, переходя с рыси на галоп и обратно. Я правильно решила сказать Рут, что у меня нет собственных лошадей, потому что после Воронка она дала мне попробовать на всех своих по очереди, выкрикивая всевозможные указания о том, как с ними обращаться — ведь у каждого животного свои причуды:

— Я же тебе говорила! На Маргаритке сиди прямо! Еще распрямись, еще! Не гнись крючком, она этого не любит!

Видимо, я неплохо все исполняла, потому что под конец она даже позволила мне прокатиться на Громе, своем любимце. Не могу сказать, сколько времени мы провели с ее лошадьми, — по-моему, много, и обе погрузились в игру с головой. Но вдруг без всякой явной причины Рут ее прекратила, заявив, что я нарочно утомляю лошадей и мне пора поставить их всех в конюшню. Она показала на одну из секций забора, и я начала заводить лошадей в стойла одну за другой. Рут чем дальше, тем больше на меня сердилась, говорила, что я все делаю неправильно. Потом спросила:

— Тебе нравится мисс Джеральдина?

Наверно, это был первый раз, когда я по-настоящему задумалась, нравится ли мне опекунша. Наконец я ответила:

— Конечно, нравится.

— Нет, я хочу знать — *действительно* нравится? Очень-очень? Больше всех?

— Да, больше всех.

Рут долго не сводила с меня взгляда. В конце концов сказала:

— Хорошо. Тогда я принимаю тебя в ее тайную охрану.

Мы пошли к главному корпусу, и я ждала, что она объяснит, о чем идет речь, но она молчала. Впрочем, через несколько дней я все уже знала.

Глава пятая

Не могу точно сказать, как долго продолжалась эта затея с "тайной охраной". Рут, когда мы говорили об этом в центре реабилитации в Дувре, заявила, что всего две-три недели, — но она почти наверняка ошиблась. Видимо, вся эта история смущала ее и потому сократилась в ее памяти. Я думаю, она длилась месяцев девять, а может, и год, нам тогда было семь-восемь лет.

Сама ли Рут придумала "тайную охрану", не знаю, но в том, что она была вожаком, сомнений быть не может. Число участников колебалось между шестью и девятью: Рут то и дело кого-то исключала и кого-то принимала. Мы считали мисс Джеральдину лучшей опекуншей Хейлшема и готовили ей в подарок всякие поделки: вспоминается большой лист с

наклеенными на него засушенными цветами. Но главным, ради чего мы объединились, была, конечно, ее защита.

К тому времени, как я вступила в "охрану", Рут и другие уже сто лет знали о заговоре с целью похитить мисс Джеральдину. Кто за ним стоит, с уверенностью сказать мы не могли. То подозревали кое-кого из старших мальчишек, то мальчишек нашего возраста. Мисс Эйлин, опекуншу, которую мы не очень жаловали, мы одно время считали мозгом заговора. Когда должна произойти попытка похищения, мы не знали, но в одном были убеждены: к ней будет иметь отношение лес.

Я говорю о лесе, которым порос холм, поднимавшийся за главным корпусом. Реально мы видели только темную зубчатую полосу деревьев, но, безусловно, не я одна из сверстников день и ночь ощущала их присутствие. В худшие минуты казалось, что лес отбрасывает тень на весь Хейлшем; стоило только повернуть голову или подойти к окну — и вот он, маячит на отдалении. Спокойнее всего было в передней части корпуса: из окон фасада увидеть лес было нельзя. Но даже там невозможно было совсем от него избавиться.

О лесе ходили всевозможные страшные легенды. Однажды, незадолго до того как нас привезли в Хейлшем, какой-то мальчик поссорился с друзьями и убежал с территории. Два дня спустя в том самом лесу нашли его привязанный к дереву труп с отрубленными ступнями и кистями рук. Другой слух был о том, что в лесу бродит призрак девочки. Она воспитывалась в Хейлшеме и однажды перелезла через забор посмотреть, что там снаружи. Это якобы случилось давно, задолго до нас, опекуны были тогда гораздо более строгими, даже жестокими, и когда она попросилась обратно, ее не пустили. Так она и ходила вокруг забора, умоляя, чтобы ей разрешили вернуться, но ей не разрешили. В конце концов она отправилась куда-то еще, там с ней что-то произошло, и она умерла. Но ее призрак все время бродит по лесу, смотрит на Хейлшем и тоскует о нем.

Опекуны твердили нам, что эти истории — полная чушь. Но старшие воспитанники говорили, что в нашем возрасте они слышали от опекунов то же самое и что со временем нам будет, как им, сообщена ужасная правда.

Сильней всего лес действовал на наше воображение в темной спальне, когда мы пытались уснуть. Нам чуть ли не слышался шум ветвей при порывах ветра, и от разговоров обо всем этом делалось еще хуже. Помню один вечер, когда мы, разозлившись на Мардж К. из-за одного дневного проступка, решили ее наказать: вытащили из постели, притиснули лицом к оконному стеклу и велели смотреть на лес. Вначале она держала глаза зажмуренными, но мы скрутили ей руки и силой подняли веки. Она увидела дальний лесной силуэт на фоне лунного неба, и этого хватило, чтобы обеспечить ей ночь сплошного ужаса и рыданий.

Я не говорю, что мы в том возрасте каждую минуту мучились мыслями о лесе. Бывало, я почти не вспоминала о нем неделями, и случалось, что с приливом храбрости приходила мысль: "Как можно было верить такой чепухе?" Но потом какая-нибудь мелочь — скажем, опять услышишь одну из этих историй, прочтешь что-нибудь страшное в книге, или просто чьи-нибудь слова напомнят тебе о лесе, — и снова на тебя надолго упадет эта тень. Нечего поэтому удивляться, что лес, как мы воображали, играл центральную роль в заговоре с целью выкрасть мисс Джеральдину.

Впрочем, если всерьез, я не помню, чтобы мы предприняли много практических шагов для защиты мисс Джеральдины. По большей части мы ограничивались сбором улик против заговорщиков. Почему-то нам казалось, что этим мы отводим прямую опасность.

Источником большинства "улик" было наблюдение за предполагаемыми злоумышленниками. Например, однажды утром мы увидели из классного окна на третьем этаже, как внизу во дворе мисс Эйлин и мистер Роджер разговаривают с мисс Джеральдиной. Через некоторое время мисс Джеральдина попрощалась с ними и пошла к оранжерее, но мы продолжали наблюдать и увидели, как мисс Эйлин и мистер Роджер, глядя на удаляющуюся мисс Джеральдину и склонив друг к другу головы, украдкой совещаются.

— Мистер Роджер, надо же, — сказала тогда Рут со вздохом, качая головой. — Кто бы мог подумать.

Так составился список тех, кто, по нашим сведениям, участвовал в заговоре, — опекунов и воспитанников, которых мы считали нашими заклятыми врагами. Тем не менее мне кажется, что мы все время ощущали шаткость наших построений, и не случайно на столкновение мы никогда не шли. После горячих дискуссий могли решить, что тот или иной воспитанник — один из заговорщиков, но затем всякий раз находилась причина, чтобы до поры, "пока не соберем всех улик", не выступать против него открыто. И мы всегда были согласны в том, что сама мисс Джеральдина ни слова не должна слышать о наших умозаключениях: не следует беспокоить ее понапрасну.

Легче всего было бы сказать, что затея с "тайной охраной" так долго держалась после того, как мы по существу ее переросли, усилиями одной Рут. Да, "охрана" очень много для нее значила. Она "узнала о заговоре" гораздо раньше остальных, и это обеспечивало ей огромный авторитет; намекая, что *главные* улики появились до того, как в охрану вступили такие, как я, что есть сведения, которых она даже нам пока не может доверить, она могла оправдать чуть ли не всякое свое решение от имени или по поводу нашего кружка. Если, например, у нее возникало желание кого-то исключить и она чувствовала сопротивление, она просто-напросто смутно намекала на кое-что известное ей "уже давно". Безусловно, Рут очень хотелось, чтобы охрана действовала как можно дольше. Но, по правде говоря, каждый, кого она приблизила к себе, по-своему старался поддержать эту фантазию и продлить ей жизнь. В порядке иллюстрации расскажу о том, что случилось после ссоры из-за шахмат.

Я считала Рут докой по шахматной части и надеялась, что она научит меня играть. Свой резон в этой надежде был: когда мы проходили мимо воспитанников, сидевших над доской у окна или на травянистом склоне, Рут нередко останавливалась посмотреть, а потом, идя со мной дальше, говорила мне про какой-нибудь тонкий ход, который она, в отличие от обоих игроков, увидела. "Потрясающая тупость", — бормотала она, качая головой. Это действовало на меня, интриговало, и вскоре я уже мечтала, что сама смогу погрузиться в мир этих затейливых фигур. Так что, когда я увидела шахматы на Распродаже и решила купить, хотя они стоили уйму жетонов, я рассчитывала на помощь Рут.

Несколько дней потом, однако, когда я заговаривала о шахматах, она вздыхала или делала вид, что у нее какое-то неотложное дело. Нако-

нец дождливым днем я приперла ее к стенке, мы разложили доску в биллиардной, но игра, которую она мне продемонстрировала, была некой сомнительной разновидностью шашек. Отличие шахмат, заявила она, состоит в том, что каждая фигура скачет не прямо, а буквой Г (судя по всему, она помнила, как ходит конь). Я ей не поверила и была горько разочарована, но виду не подала и несколько минут плясала под ее дудку: мы снимали с доски фигуры друг друга, перемещая свои буквой Г. Это продолжалось, пока она не заявила, что я неправильно, по слишком прямой линии двинула фигуру, которой хотела что-то у нее побить.

После этого я встала, собрала шахматы, повернулась и ушла. Что она не знает, как играть, я ни тогда, ни позже ей не сказала: при всем своем разочаровании я чувствовала, что так далеко лучше не заходить. Впрочем, я и так, думаю, дала ей понять все, что нужно было.

День-два спустя я вошла в класс 20 на верхнем этаже, где мистер Джордж всегда вел уроки поэзии. До урока это было или после, много ли в классе было народу — не помню. Мне запомнилось, что в руках у меня были книги и что Рут и еще несколько человек, к которым я направлялась, сидели на столах в ярком пятне солнечного света и о чем-то разговаривали.

По тому, как они склонились друг к другу, я догадалась, что они обсуждают "тайную охрану", и хотя, как я уже сказала, всего день или два назад я и Рут поссорились, почему-то я без колебаний двинулась прямо к ним. И только когда я уже почти подошла, что-то — может быть, взгляды, которыми они обменялись, — вдруг подсказало мне, чем это кончится. Похоже на долю секунды перед тем как ступишь в лужу: видишь ее, но ничего уже сделать не можешь. Мне стало больно еще до того как они замолчали и посмотрели на меня, до того как Рут сказала: "А, это ты, Кэти? Здравствуй. Извини, нам тут кое о чем надо побеседовать. Мы кончим через минутку, подожди, хорошо?"

Она еще не договорила, но я уже повернулась и двинулась прочь, сердитая больше даже на себя, чем на них. Не помню, плакала или нет, но огорчена была страшно. Несколько дней после этого при виде "тайной охраны", которая совещалась в углу или шла через поле, я чувствовала, как у меня горят щеки.

Дня через два после унижения в классе 20, когда я спускалась по лестнице главного корпуса, меня нагнала Мойра Б. Мы вышли из корпуса вместе, беседуя о том о сем. Была, наверно, большая перемена: во дворе маленькими группками прогуливались и разговаривали человек двадцать. Мой взгляд сразу же метнулся к дальнему концу двора, где спиной к нам стояли и пристально смотрели в сторону южного игрового поля Рут и еще трое из "тайной охраны". Я пыталась увидеть, что их так заинтересовало, и вдруг почувствовала, что Мойра глядит туда же, куда и я. И тогда я вспомнила, что раньше она тоже была в охране и ее исключили всего месяц назад. Несколько секунд я испытывала острое замешательство: вот мы стоим бок о бок, связанные общим недавним унижением, и, можно сказать, уставились этому унижению в лицо. Нечто подобное, может быть, ощущала и Мойра; так или иначе, молчание нарушила именно она:

— Глупость несусветная — вся эта затея с тайной охраной. Как они могут до сих пор в это верить? Детский сад.

Меня даже сегодня изумляет сила эмоции, овладевшей мной, когда я услышала эти слова. В полнейшей ярости я повернулась к Мойре:

— Да что ты об этом знаешь? Ровно ничего, тебя давным-давно исключили! Ты понятия не имеешь о том, что́ мы выяснили, иначе не смела бы нести такую чушь!

Но Мойру не так-то легко было сбить.

— Это ты несешь чушь. Очередная выдумка Рут, только и всего.

— К твоему сведению, я *своими ушами* слышала, как они это обсуждали! Как собираются увезти мисс Джеральдину в лес в молочном фургоне! Своими ушами — и никакая Рут тут ни при чем!

Мойра посмотрела на меня — мои слова ее поколебали.

— Ты сама слышала? Где? Когда?

— Слышала их разговор, очень отчетливо, каждое слово, они и заподозрить ничего не могли. Там, у пруда — они думали, что одни-одинешеньки. Говорю, только чтоб показать тебе, как мало ты знаешь!

Задев ее плечом, я резко двинулась дальше и, проходя через двор, где гуляло много народу, опять посмотрела на Рут и ее компанию, попрежнему не сводивших взгляда с южного игрового поля и не подозревавших о том, что сейчас произошло между мной и Мойрой. Я почувствовала, что обида на них у меня прошла — осталась только громадная досада на Мойру.

Даже сейчас, если я еду по длинной серой дороге и мыслям обратиться особенно не на что, я иногда ловлю себя на том, что прокручиваю все это снова. Почему я так разозлилась на Мойру Б., которая, по идее, должна была стать в тот день моей союзницей? Я думаю, что Мойра предложила мне тогда пересечь с ней вместе какую-то черту, а я еще не была к этому готова. Мне кажется, я чувствовала, что за этой чертой меня ждет что-то суровое и темное, такое, чего я бы не хотела ни для себя, ни для остальных.

Но временами я думаю иначе — думаю, что это объясняется только моим отношением к Рут, преданностью, которую я к ней тогда питала. Может быть, именно поэтому, помогая потом Рут в дуврском центре, я так и не рассказала ей про случай с Мойрой, хотя у меня несколько раз возникало такое желание.

Все эти дела, связанные с мисс Джеральдиной, напоминают мне о том, что́ произошло примерно три года спустя, когда идея тайной охраны давно уже канула в прошлое.

Мы ждали начала урока в классе 5 на первом этаже с задней стороны корпуса. Класс 5 был самый маленький из всех, и там часто бывало душно, особенно такими, как в тот раз, зимними утрами, когда из-за больших жарких радиаторов запотевали окна. Может быть, я преувеличиваю, но мне помнится, что, если в помещение набивался класс целиком, нам буквально приходилось сидеть друг у друга на голове.

В то утро Рут достался стул за столом, на котором примостилась я, и здесь же сидя или стоя теснились еще двое или трое наших. Кажется, именно после того как я подвинулась, чтобы дать кому-то место, я и увидела пенал.

Я и сейчас будто глазами его вижу. Он был блестящий, как лакированная туфелька, темно-коричневый, его усеивали красные точки, обведенные кружками. По краю шла застежка-молния с пушистым шариком. Когда я подвинулась, я едва не села на этот пенал, и Рут торопливо убрала его из-под меня. Но я увидела его, как Рут и хотела. Я сказала:

— Ух ты! Где ты такой отхватила? На Распродаже?

В классе было шумно, но ближние услышали, и моментально еще три или четыре девчонки стали восхищенно рассматривать вещь. Рут молчала несколько секунд — внимательно изучала лица вокруг. Потом очень обдуманно произнесла:

— Будем считать, что так. *Будем считать*, что на Распродаже.

И многозначительно улыбнулась.

Ответ может показаться довольно безобидным, но я восприняла его так, словно Рут внезапно размахнулась и ударила меня. На несколько секунд меня бросило в жар и холод одновременно. Я отлично поняла, что означали ее слова и улыбка: что пенал ей подарила мисс Джеральдина.

Ошибки быть не могло — ведь это готовилось уже не одну неделю. Желая намекнуть на тот или иной небольшой знак внимания к себе со стороны мисс Джеральдины, Рут пускала в ход особую улыбочку, особый голос, иногда добавляя к ним и жест — палец у губ или ладонь у театрально шепчущего рта. Мисс Джеральдина разрешила ей в будний день поставить в биллиардной музыкальную кассету, хотя еще не было четырех часов; мисс Джеральдина на прогулке велела всем молчать, но, когда к ней подошла Рут, сама затеяла с ней беседу, а потом и всем позволила разговаривать. Вечно что-нибудь вроде этого, причем Рут никогда не высказывалась прямо, а лишь обиняками, дополняя слова улыбкой и интригующим выражением лица.

Считалось, разумеется, что опекуны не должны заводить любимчиков, но мелкие, лежащие в определенных рамках знаки предпочтения оказывались всегда, и большая часть того, на что намекала Рут, из этих рамок не выходила. Тем не менее я каждый раз молча бесилась. Конечно, никогда нельзя было знать, правду ли она говорит, но, поскольку она ничего, собственно, не говорила, а только давала понять, вывести ее на чистую воду было невозможно. Поэтому мне ничего не оставалось как смириться, закусить губу и рассчитывать, что обида скоро пройдет.

Иногда наступление одного из таких моментов предвещал ход разговора, и я успевала внутренне собраться. Но и в этом случае удар был ощутимым, и несколько минут потом я не могла сосредоточиться на происходящем вокруг. А в то зимнее утро в классе 5 все случилось совершенно неожиданно. Даже после того как я увидела пенал, мне и в голову не могла прийти дикая мысль, что это подарок опекуна. Поэтому, услышав слова Рут, я не смогла, как обычно, справиться с наплывом переживаний. Я смотрела на нее, даже не пытаясь скрыть злость. Возможно, она почувствовала опасность — громко шепнула мне: "Ни слова!" — и опять улыбнулась. Но я не в силах была ответить ей улыбкой и продолжала смотреть все тем же взглядом. Тут, к счастью, вошел опекун и начался урок.

В том возрасте у меня еще не было привычки раздумывать о чем-то часы напролет. Сейчас это в какой-то мере появилось, но здесь причиной моя работа и долгая одинокая езда через пустые поля. Я не была похожа, скажем, на Лору, которая при всех своих клоунских замашках могла целые дни, даже недели переживать из-за какой-то мелочи, из-за слов, которые кто-то бросил мимоходом. Но после того утра в классе 5 я ходила в каком-то трансе. Могла отключиться посреди разговора, целый урок мог пройти мимо меня. Я была твердо настроена не позволить на этот раз Рут остаться безнаказанной, но долго не предпринимала ничего существенного — только разыгрывала в уме сцены разоблачения, когда припирала Рут к стенке и заставляла признать, что она все выду-

мала. Однажды я даже нафантазировала, что о ее лжи узнаёт мисс Джеральдина и при всех устраивает Рут хорошую головомойку.

Шли дни, и в конце концов я начала размышлять об этом более основательно. Если пенал не от мисс Джеральдины, то откуда он взялся? Рут могла, конечно, получить его от кого-то из воспитанников, но это было маловероятно. Если бы он раньше кому-то принадлежал, пусть даже хозяин был бы на несколько лет старше нас, такая потрясающая вещь не осталась бы незамеченной. Зная, что пенал в Хейлшеме уже видели, Рут не затеяла бы эту игру — не посмела бы. Почти наверняка она купила его на Распродаже. Свой риск в этом, конечно, тоже был. Но если — как иногда происходило, хотя вообще-то не разрешалось, — она прослышала о пенале до Распродажи и заранее договорилась о покупке с кем-нибудь из дежурных старших воспитанников, она имела основания рассчитывать, что все будет шито-крыто.

Впрочем, все, да не все. На каждой Распродаже покупки и имена покупателей записывались в журнал. Хотя эти журналы не были легкодоступны (после Распродажи дежурные относили их в кабинет мисс Эмили), сверхсекретными они тоже не были. Если на следующей Распродаже я буду околачиваться рядом с дежурным, заглянуть в журнал особого труда не составит.

Так в голове у меня начал вырисовываться план, и, поразмышляв несколько дней о его деталях, я вдруг сообразила, что реально осуществлять все шаги не обязательно. Если моя догадка, что пенал куплен на Распродаже, верна, я добьюсь своего и с помощью блефа.

Результатом был разговор между мной и Рут под карнизом. В тот день стоял туман и моросил дождь. Вдвоем мы куда-то шли от спальных домиков — может быть, к павильону, не помню. Так или иначе, мы шли через двор, и тут дождь внезапно усилился, и поскольку торопиться было некуда, мы укрылись под карнизом главного корпуса сбоку от входа.

Там мы немного постояли, из тумана время от времени возникали воспитанники и вбегали в корпус, дождь все не утихал. И чем дольше мы там стояли, тем сильней я напрягалась, потому что понимала: вот она — возможность, которой я ждала. Рут тоже, я уверена, чувствовала, что назревает какой-то разговор. Наконец я решила — все, хватит ждать, вперед.

— Во вторник на Распродаже я листала журнал, — сказала я. — Ну, знаешь, — журнал покупок.

— Чего ради ты его листала? — быстро спросила Рут. — Зачем тебе вдруг понадобилось?

— Да так просто. Дежурил Кристофер К., я с ним разговорилась. Он больше всех мне нравится из старших мальчишек. Мы говорили, и я листала журнал — просто так, от нечего делать.

Рут — мне ясно было — моментально смекнула, к чему я об этом начала. Но она отозвалась безразличным тоном:

— Скучное, наверно, чтение.

— Да нет, довольно интересно было. Ведь там все указано — кто что купил.

Произнося эти слова, я смотрела на дождь. Потом перевела взгляд на Рут — и меня как током ударило. Не знаю уж, чего я ожидала; целый месяц до этого я размышляла и фантазировала, но даже не попыталась вообразить себе, как все может произойти в действительности. Я увиде-

ла, что Рут потрясена, уничтожена; в один миг она полностью лишилась дара речи и, казалось, вот-вот разрыдается. И вдруг мое поведение представилось мне совершенно диким. Все эти замыслы, планы — только для того, чтобы расстроить мою лучшую подругу? Ну, приврала она маленько насчет пенала — что из этого? Разве не посещали нас всех иногда мечты: а вдруг кто-нибудь из опекунов немножко нарушит ради меня правила и сделает мне что-то хорошее? Неожиданно обнимет, напишет тайное письмо, подарит что-нибудь? Рут всего-навсего продвинула одно из этих безобидных мечтаний на шаг дальше; она даже не упомянула имени мисс Джеральдины.

Теперь и я почувствовала себя ужасно, и я пришла в смятение. Но, пока мы стояли там и смотрели на туман и дождь, я не могла придумать способа уменьшить вред, который нанесла. Кажется, я промямлила что-то жалкое: "А впрочем, ты права, ничего особенного я там не увидела" — или вроде того; мои слова по-идиотски повисли в воздухе. Потом, после ещё́ нескольких секунд молчания, Рут ушла под дождь.

Глава шестая

Я думаю, мне было бы легче, если бы Рут каким-нибудь явным образом рассердилась на меня. Но похоже, она просто сдалась, сникла. Словно ей было слишком стыдно, она была слишком *раздавлена*, чтобы злиться или хотеть дать мне сдачи. После разговора под карнизом поначалу, встречаясь с ней, я ожидала по крайней мере некоторого раздражения с ее стороны — но нет, она держалась вполне вежливо, хоть и суховато. Я подумала — наверно, она боится меня, боится, что я всем расскажу (пенал, конечно, больше не появлялся), — и захотела сказать ей, что она может быть спокойна на мой счет. Но, поскольку эта тема открыто между нами не обсуждалась, я не знала, как подступиться, как начать разговор.

Между тем я при любой возможности давала всем понять, что, по моему мнению, Рут занимает особое место в сердце мисс Джеральдины. Однажды, например, наша компания очень захотела поиграть на перемене в раундерз для тренировки: нас вызвала на матч команда воспитанников годом старше. Но шел дождь, и шансов, что нас выпустят, было мало. Я, однако, обратила внимание, что среди дежурных опекунов есть мисс Джеральдина. Я сказала:

— Если *Рут* пойдет попросит мисс Джеральдину, может, нам и разрешат.

Поддержки, насколько помню, предложение не получило; скорее всего, его вообще мало кто слышал, потому что многие говорили разом. Но важно было другое — я сказала это, стоя возле Рут, и мне видно было, что ей приятно.

В другой раз несколько человек выходили из класса с мисс Джеральдиной, и случилось так, что следом за ней к двери первая приблизилась я. В этот момент я замедлила шаг, чтобы вместо меня около мисс Джеральдины оказалась Рут, которая шла за мной. Все было сделано очень спокойно, без всякой театральности, как если бы это был вполне естественный, обычный поступок, который должен прийтись по душе мисс Джеральдине, — поступок человека, скажем, случайно затесавшегося между двух лучших друзей. Рут, насколько помню, долю секунды выглядела озадаченной, потом быстро кивнула мне и прошла.

Подобные мелочи, видимо, нравились Рут, но все это пока еще было очень далеко от случившегося между нами под карнизом в тот туманный день, и ощущение, что я никогда не смогу поправить дело, нарастало и нарастало. Помню, однажды вечером я сидела на скамейке у павильона, снова и снова пыталась найти какой-то выход, и смесь раскаяния и бессилия была такой густой и тяжелой, что я не могла сдержать слез. Не знаю, что было бы, если бы все между нами так и осталось. Может быть, в конце концов мы забыли бы о произошедшем; может быть — отдалились бы друг от друга. В реальной жизни, однако, мне ни с того ни с сего вдруг представился случай загладить свой промах.

Шел урок изобразительного искусства, и мистер Роджер, который его вел, почему-то вышел. Поэтому мы просто слонялись вокруг мольбертов, болтали и разглядывали работы друг друга. В какой-то момент девочка по имени Мидж А. подошла к нам и вполне доброжелательным тоном спросила Рут:

— Слушай, а где твой пенал? Вещица — прелесть!

Рут вся напряглась и стрельнула глазами туда-сюда, чтобы знать, кто рядом. Кроме нашей обычной компании, еще, может быть, двое или трое — остальные были далеко. Я ни одной живой душе не сказала про журнал покупок, но Рут-то этого не знала. Ее голос, когда она отвечала Мидж, был мягче обычного:

— Я не взяла его с собой. Я держу его у себя в сундучке.

— Прелесть он все-таки. Откуда он у тебя?

Мидж расспрашивала без всякой задней мысли — это было уже очевидно. Но почти все, кто находился в классе 5, когда Рут впервые вынула пенал, были теперь рядом, слушали, и я видела, что Рут колеблется. Только потом, проигрывая все заново в уме, я оценила, какой мне выпал великолепный шанс. Но тогда я не думала. Просто взяла и вмешалась, прежде чем Мидж или еще кто-нибудь успел заметить странное смятение Рут:

— Мы не можем тебе сказать, откуда этот пенал.

Рут, Мидж и все остальные посмотрели на меня с удивлением. Но я знай себе продолжала, обращаясь к одной Мидж:

— Есть очень серьезные причины, по которым мы не можем тебе этого сказать.

Мидж пожала плечами:

— Тайны какие-то...

— Одна *большая* тайна, — сказала я и улыбнулась ей, давая понять, что вовсе не хочу ее обидеть.

Другие кивнули, поддерживая меня, а вот у Рут выражение лица стало отсутствующим, как будто она внезапно озаботилась чем-то совершенно посторонним. Мидж еще раз пожала плечами, и, насколько помню, на этом все и кончилось. То ли она отошла, то ли заговорила о чем-то другом.

Во многом по тем же причинам, по каким я не могла открыто извиниться перед Рут за разговор о журнале покупок, она теперь, конечно, не могла поблагодарить меня за помощь после вопроса Мидж. Но по ее поведению в течение даже не дней, а недель мне хорошо было видно, насколько она расположена ко мне. Из-за того, что недавно я сама была в похожем положении, мне очень даже заметны были признаки желания сделать для меня что-то хорошее, чем-нибудь меня порадовать. Ощущение было очень приятное, и раз или два, помню, я даже подума-

ла, что хорошо бы она долго-долго не находила для этого возможности, — тогда теплому чувству между нами не было бы конца. Возможность ей все же представилась — примерно через месяц после случая с Мидж, когда я потеряла любимую кассету.

Точно такую же кассету, которая появилась у меня много позже, я храню, и до недавнего времени я, бывало, ставила ее, когда ехала в дождь по открытой местности. Но теперь магнитофон в машине стал барахлить, и я опасаюсь, что он испортит кассету. А в квартире слушать ее у меня обычно нет времени. И все равно это одна из самых дорогих мне вещей, какие у меня есть. Может быть, к концу года, когда я больше не буду помощницей, я смогу слушать ее чаще.

Подборка песен называется "После захода солнца", исполнительницу зовут Джуди Бриджуотер. У меня уже не та кассета, что была в Хейлшеме, ту я потеряла, а другая такая же, которую мы с Томми нашли в Норфолке годы спустя. Но об этом я расскажу потом. Сейчас — о первой кассете, об исчезнувшей.

Прежде чем двигаться дальше, следует объяснить, какое представление у нас тогда возникло насчет Норфолка. Оно держалось годы и годы — в какой-то момент стало, думаю, расхожей шуткой, — а началось все с одного урока, когда мы еще были довольно маленькие.

О графствах Англии нам рассказывала сама мисс Эмили. Она прикалывала к доске большую карту, а рядом устанавливала стенд и, если говорила, к примеру, про Оксфордшир, на стенд помещала большой календарь с фотографиями разных уголков графства. У нее была изрядная коллекция этих цветных календарей, и большинство графств мы изучили именно таким образом. Она показывала какое-нибудь место на карте, потом поворачивалась к стенду и открывала соответствующую картинку. Мы видели то деревушку с протекающей через нее речкой, то белый монумент на холме, то старую церковь среди полей; если речь шла о морском побережье, были пляжи, полные отдыхающих, утесы с чайками. Я думаю, она хотела дать нам представление о большом мире вокруг нас, и очень странно, что даже сейчас, когда я столько миль намотала в качестве помощницы, понятие о тех или иных графствах во многом задано у меня этими картинками на стенде у мисс Эмили. Еду, скажем, по Дербиширу и ловлю себя на том, что высматриваю площадь в центре городка с пабом в тюдоровском стиле и военный мемориал — в общем, те самые виды, что показала нам мисс Эмили, когда я впервые услышала от нее о Дербишире.

Но важно для меня сейчас другое: в коллекции календарей у мисс Эмили был пробел. Ни единой картинки, посвященной Норфолку. Таких уроков она провела с нами несколько, и я все думала: может быть, сегодня она наконец покажет нам норфолкские виды? Но нет, каждый раз одно и то же. Она перемещала указку по карте и говорила словно бы в добавление к сказанному: "А здесь находится графство Норфолк. Очень милое место".

Но вот однажды она в этот момент задумалась — может быть, не определила заранее, что пойдет дальше вместо картинки. Потом опомнилась и снова отыскала указкой точку на карте.

— Вы видите — это самый восток, выступ суши, омываемый морем, через который никаких путей никуда не проходит. Когда люди направляются на север или на юг, — указка пошла вверх, потом вниз, — они

проезжают мимо. Поэтому Норфолк — тихий край, довольно мирный, приятный. Но в каком-то смысле потерянный.

Потерянный край. Край потерь. Так она назвала Норфолк, и с этого-то все и началось. Потому что в Хейлшеме на четвертом этаже был свой "край потерь" — место, где складывали забытые или потерянные вещи. Если ты что-нибудь потерял или нашел, надо было идти на четвертый этаж. Кто-то — не помню, кто именно, — сказал после того урока, что мисс Эмили потому назвала Норфолк потерянным, что там в конце концов оказывается потерянное имущество со всей страны. Почему-то эта идея прижилась и вскоре в глазах почти всех моих сверстников превратилась в непреложный факт.

Не так давно, когда мы с Томми обсуждали прошлые дела, он сказал, что по-настоящему мы никогда в это не верили, что с самого начала это была шутка, и только. Но я практически уверена, что здесь он ошибся. Да, к двенадцати-тринадцати годам Норфолк *стал* для нас постоянной шуткой. Но, насколько я помню (Рут, кстати, со мной согласилась), вначале мы верили в Норфолк в совершенно буквальном смысле: мы считали, что подобно тому, как в Хейлшем едут машины с продовольствием и товарами для Распродаж, так и по всей Англии, то есть в масштабе куда большем, движутся грузовики в этот самый Норфолк, доставляя туда все, что забыто или потеряно в полях и поездах. То, что мы никогда не видели изображений Норфолка, лишь добавляло этому графству загадочности.

Это может показаться неимоверной глупостью, но вы не должны забывать, что для нас в то время любое место за пределами Хейлшема было какой-то сказочной страной; о внешнем мире, о том, что там возможно и что невозможно, мы имели чрезвычайно смутное представление. Кроме того, мы совершенно не стремились как-либо проверить нашу норфолкскую теорию. Важно для нас, как сказала однажды вечером Рут, когда мы сидели в этой облицованной кафелем дуврской палате и смотрели на закат, было то, что "если ты потеряла что-нибудь ценное, искала-искала и не нашла, ты не должна была отчаиваться. У тебя оставалось последнее утешение — мысль, что когда-нибудь, когда ты вырастешь и тебе позволят свободно ездить по стране, ты, если захочешь, сможешь отправиться в Норфолк и найти потерянное".

Думаю, Рут была права. Норфолк стал для нас настоящим, большим утешением, которое, пожалуй, значило гораздо больше, чем мы представляли себе тогда, — потому-то мы и став постарше говорили на эту тему, пусть и в шутливом тоне. И не случайно годы спустя, когда мы с Томми нашли в Норфолке в приморском городе другой экземпляр потерянной мной кассеты, мы не подумали, что это забавно и только. Мы оба почувствовали глубоко внутри какой-то толчок, какое-то ожившее желание опять поверить в то, что раньше было дорого нашему сердцу.

Но я собиралась рассказать про кассету — про "После захода солнца" Джуди Бриджуотер. Первоначально это была долгоиграющая пластинка (запись 1956 года), но мне, естественно, досталась кассета, и картинка на вкладыше, вероятно, представляла собой уменьшенную копию пластиночного конверта. На Джуди Бриджуотер пурпурное атласное платье, по тогдашней моде не закрывающее плеч, и видна только верхняя часть ее фигуры, потому что она сидит за стойкой бара. Задний план приводит на ум Южную Америку: пальмы, смуглые официанты в

белых смокингах. Джуди сфотографирована с той точки, в какой мог бы находиться бармен, подающий ей напиток. Она смотрит на тебя дружелюбным, в меру завлекательным взглядом — если флиртует, то лишь чуть-чуть, как с человеком, знакомым ей давным-давно. Еще одна деталь: Джуди положила локти на стойку и держит дымящуюся сигарету. Именно из-за сигареты я с первой же минуты, когда обнаружила кассету на Распродаже, развела вокруг нее такую секретность.

Не знаю, как там, где были вы, но в Хейлшеме опекуны ужасно строго относились ко всему, что связано с курением. Они, я уверена, были бы очень рады, если бы от нас можно было скрыть, что такая вещь, как курение, существует; но такой возможности не было, и поэтому они при любом возникновении этой темы читали нам своего рода лекцию. Если, скажем, нам показывали портрет знаменитого писателя или политического деятеля, а у него в руке была сигарета, течение урока немедленно прерывалось. Ходил даже слух, что некоторых классических книг — например, о Шерлоке Холмсе — потому нет в нашей библиотеке, что главные герои там слишком много курят, и если в иллюстрированной книжке или журнале попадалась вырванная страница, иные говорили, что там наверняка был изображен кто-то с сигаретой или трубкой. На уроках нам не раз демонстрировали жуткие картинки, показывающие, что происходит с внутренностями у курильщика. Вот почему вопрос, с которым Мардж К. обратилась однажды к мисс Люси, вызвал такое потрясение.

Мы сидели на траве после игры в раундерз, и мисс Люси вела с нами обычный предостерегающий разговор о курении, как вдруг Мардж спросила, не пробовала ли когда-нибудь курить сама мисс Люси. Несколько секунд мисс Люси молчала, потом сказала:

— Я была бы рада ответить тебе "нет". Но, если честно, я курила некоторое время. Примерно два года, когда была моложе.

Можете себе представить, какой это был шок. Пока мисс Люси медлила с ответом, мы все негодующе смотрели на Мардж, посмевшую задать такой грубый вопрос, — все равно что спросить, не набрасывалась ли мисс Люси на людей с топором. Не на один день потом мы превратили жизнь Мардж в сплошное страдание; о вечерней пытке, когда мы прижали Мардж лицом к окну спальни и заставили смотреть на лес, я уже упоминала. Но в первый момент после того, как мисс Люси сделала свое признание, мы были так ошеломлены, что напрочь забыли про Мардж. Помню, мы в ужасе уставились на мисс Люси, ожидая, что она скажет дальше.

Когда она наконец заговорила, она взвешивала каждое слово очень тщательно.

— Я плохо поступила, когда стала курить. Курение приносило мне вред, и я с ним покончила. Но я хочу, чтобы вы поняли: вам, всем без исключения, курение намного, намного вреднее, чем даже мне.

Она остановилась и замолчала. Кто-то потом сказал, что она замечталась, но мне, как и Рут, было ясно: она усиленно думает, что говорить дальше. Наконец она произнесла:

— Вам об этом уже известно. Вы воспитанники. Вы... *особый случай.* Поэтому заботиться о своем здоровье, держать в порядке свое тело для каждого из вас гораздо важнее, чем для меня.

Она опять умолкла и странно на нас посмотрела. Потом, когда мы это обсуждали, некоторые говорили, что наверняка она ужасно хотела

услышать вопрос: "Почему? Почему для нас это важнее?" Но никто его не задал. Я часто вспоминала тот день и уверена теперь, в свете случившегося позднее, что, если бы вопрос прозвучал, мисс Люси сказала бы нам все как есть. Всего-навсего надо было задать еще один вопрос о курении.

Так почему же мы промолчали? Мне кажется, потому, что уже в том возрасте (нам было девять или десять лет) мы знали достаточно, чтобы опасаться ступать на эту территорию. Мне трудно припомнить в точности, что нам тогда было известно, а что нет. Безусловно, мы знали, пусть это знание и было очень поверхностным, что отличаемся от наших опекунов и от всех нормальных людей снаружи; может быть, мы даже знали, что в далеком будущем нас ждет донорство. Но смысла всего этого мы по-настоящему не понимали, и если избегали разговоров на какие-то темы, то скорее потому, что они *смущали* нас. Вдобавок ко всему тяжело было видеть неловкость, которую испытывали опекуны, когда мы приближались к этой территории. Перемена, которая с ними происходила, расстраивала нас. Потому-то, думаю, мы и не стали ни о чем больше спрашивать мисс Люси, потому-то и наказали так жестоко Мардж К. за то, что она вылезла со своим вопросом после игры в раундерз.

Теперь вам понятно, почему я окружила кассету такой тайной. Я даже повернула бумажку картинкой внутрь, так что Джуди и ее сигарету теперь можно было увидеть только открыв пластмассовый футляр. Но кассета так много значила для меня вовсе не из-за сигареты и даже не из-за того, как Джуди Бриджуотер пела, — это типичная эстрада того времени, песни коктейль-баров, такие никому из нас в Хейлшеме не нравились. Кассета стала мне так дорога из-за одной определенной песни, которая идет под номером третьим: "Не отпускай меня".

Вещь медленная, ночная, американская, и одно место там Джуди повторяет несколько раз: "Не отпускай меня... О, детка, детка... Не отпускай меня..." Мне было одиннадцать лет, и до тех пор я не часто слушала музыку, но эта песня меня проняла. Я всегда старалась держать кассету перемотанной на начало, чтобы можно было послушать при первом же удобном случае.

А случаев представлялось не так уж много: до того времени, как на Распродажах начали появляться плееры, оставалось еще несколько лет. Большой магнитофон стоял в биллиардной, но там всегда было полно народу, и свою кассету я там почти никогда не ставила. В комнате творчества тоже был магнитофон, но шумели там обычно не меньше, чем в биллиардной. Так что единственным местом, где я могла нормально послушать, оставалась наша спальня.

К тому времени мы перебрались в маленькие спальни на шесть кроватей в отдельных домиках, и на полке над радиатором у нас стоял портативный кассетник. Вот туда-то я и уходила — обычно днем, когда в спальню редко кто заглядывал, — слушать свою песню еще и еще раз.

Что, собственно, в этой песне было такого? К словам, надо сказать, я толком не прислушивалась — просто дожидалась этого места: "Детка, детка, не отпускай меня..." И мне представлялась женщина, которой сказали, что у нее не может быть детей, — а она всю жизнь очень-очень хотела их иметь. Потом случается какое-то чудо, у нее рождается ребенок, и она прижимает этого ребенка к себе, ходит с ним и поет: "Детка,

детка, не отпускай меня...” Поет отчасти потому, что очень счастлива, но еще и потому, что очень боится чего-то, что может произойти, — что дитя заболеет или его отнимут у нее. Я и тогда понимала, что это неверное толкование, что оно противоречит другим словам песни. Но для меня это было не важно. Песня была о том, о чем я сказала, и я слушала ее одна снова и снова при первой возможности.

Здесь я должна рассказать об одном странном событии, которое произошло в то время. Оно очень сильно на меня подействовало, и хотя я только годы спустя узнала его настоящий смысл, мне кажется, я уже тогда почувствовала, что смысл есть, и глубокий.

Был солнечный день, и я зашла в спальню что-то взять. Хорошо помню, какой яркий был свет: занавески не были отдернуты как следует, и в широких солнечных полосах плавали пылинки. Я не собиралась ставить кассету, но, оказавшись в комнате одна, вдруг захотела послушать песню, вынула кассету из сундучка и вставила в магнитофон.

Как видно, девочка, которая включала его последней, увеличила громкость, и из-за этой громкости я не услышала шагов и не сразу почувствовала, что на меня смотрят. Или, может быть, я просто чересчур увлеклась. Я медленно покачивалась в такт пению, прижимая к груди воображаемого младенца. В довершение картины это был один из тех случаев, когда в роли младенца у меня выступала подушка: я двигалась с ней в медленном танце, закрыв глаза и тихо подпевая всякий раз, когда звучали эти слова:

— О, детка, *детка,* не отпускай меня...

Песня почти уже кончилась, когда у меня возникло ощущение, что я не одна. Я открыла глаза и увидела за дверью Мадам.

Пораженная, я замерла. Потом, секунду-другую спустя, мне стало по-новому тревожно: я увидела еще кое-что странное. Дверь была полуоткрыта — совсем закрывать двери спален нам не разрешалось, за исключением времени сна, — и Мадам стояла даже не на пороге, а в коридоре. Она стояла очень тихо, склонив голову набок, чтобы лучше меня видеть. И вот что удивительно: она плакала. Возможно, один из ее всхлипов, долетев сквозь пение, и вывел меня из забытья.

Хоть она и не была опекуншей, она была взрослой, и, как мне сейчас кажется, я ждала от нее каких-то слов или действий — может быть, нагоняя. Тогда я знала бы, как себя вести. Но она просто стояла там и стояла, всхлипывала и всхлипывала, и во взгляде, которым она смотрела на меня сквозь дверной проем, было то же, что и всегда, когда она глядела на нас, — какая-то брезгливость, чуть ли не отвращение. Но на этот раз было в ее взгляде и другое, чего я не могла понять.

Я не знала, что сделать, что сказать или чего теперь ждать. Может быть, она войдет в комнату, раскричится, даже ударит — я понятия не имела. Но она повернулась, и в следующую секунду я услышала ее удаляющиеся шаги. До меня вдруг дошло, что звучит уже следующая песня, я выключила магнитофон и села на ближайшую кровать. В этот момент я увидела в окно, как Мадам торопливо идет от нашего домика к главному корпусу. Она не оглядывалась, но по сгорбленной спине я поняла, что она все еще плачет.

Через несколько минут я вернулась к подругам, но о произошедшем ничего им не сказала. Одна из них увидела, что я слегка не в себе, и что-то об этом спросила, но я только пожала плечами. Я не то чтобы стыдилась признаться, но было немножко похоже на наше состояние после

того, как мы подстерегли Мадам, приехавшую в машине, у входа в корпус. Больше всего на свете я хотела превратить случившееся в неслучившееся, и мне казалось, что, умалчивая обо всем, я делаю для себя и других доброе дело.

Через пару лет, однако, я призналась Томми. Это было вскоре после разговора у пруда, когда он рассказал мне о беседе с мисс Люси, — в те дни, когда мы, как я вижу теперь, начали задумываться о самих себе, задаваться вопросами и делиться мыслями друг с другом (это потом длилось у нас не один год). Услышав от меня про Мадам в дверях спальни, Томми дал этому довольно простое объяснение. Тогда, конечно, мы все уже знали то, чего не знали раньше: что никто из нас не может иметь детей. Допускаю, что я каким-то образом, когда была младше, смутно это уловила и потому так истолковала песню. Но узнать по-настоящему мне в том возрасте было неоткуда. А вот к тому времени, когда мы с Томми начали обсуждать эти дела, нам, как я сказала, уже все вполне понятно объяснили. Никто из нас, между прочим, не был этим особенно огорчен; помню, кое-кто даже радовался, что можно будет заниматься сексом без оглядки на последствия, — хотя, конечно, для большинства секс в полном смысле слова был тогда еще делом будущего. Так или иначе, Томми, узнав от меня обо всем, сказал:

— Мадам, похоже, не такая уж плохая женщина, хоть и брезгует нами. Когда она увидела, как ты танцуешь с ребенком в руках, она подумала: вот ведь беда какая, у этой девочки никогда не будет детей. И заплакала.

— Да нет, Томми, — не согласилась я. — Откуда она могла знать, что я именно так воспринимаю песню? Откуда она могла знать, что подушка заменяет ребенка? Ведь это было только у меня в голове.

Томми поразмыслил и сказал хоть отчасти и шутливо, но наполовину серьезно:

— Может быть, Мадам читает мысли. Она же не такая, как все. Может быть, в голову заглядывает. Я бы не удивился.

Нам обоим, хоть мы и захихикали, стало от его слов чуточку не по себе, и больше мы об этом не говорили.

Кассета исчезла месяца через два после инцидента с Мадам. Я не связывала эти два события тогда, и у меня нет причин связывать их теперь. Однажды вечером в спальне незадолго до отбоя я рылась в своем сундучке, чтобы скоротать время, пока другие вернутся из ванной. Что странно, главной мыслью у меня, когда я заподозрила, что кассеты нет, была такая: я не должна показывать своей паники. Помню, продолжая искать, я нарочно стала якобы рассеянно что-то напевать себе под нос. Сколько я потом ни думала, так и не могу себе до конца этого объяснить: со мной были лучшие подруги, а я не хотела, чтобы они знали, как я огорчена пропажей.

Мне кажется, моя скрытность имеет отношение к тому, как много значила для меня кассета. Возможно, у всех у нас в Хейлшеме были такие маленькие секреты — маленькие личные убежища, сотворенные из ничего, из пустяка, убежища, где ты уединяешься со своими смутными страхами и желаниями. Но сама эта потребность, может быть, казалась нам тогда в какой-то мере постыдной, казалась чем-то вроде предательства.

Как бы то ни было, уверившись, что кассеты нет, я вскользь, как о чем-то маловажном, спросила каждую из соседок по спальне, не видела

ли она ее. Полностью, впрочем, я надежду еще не потеряла: оставался маленький шанс, что я оставила кассету в биллиардной или что кто-то взял ее на время и утром вернет.

Однако кассета не нашлась и назавтра, и я по сей день понятия не имею, что с ней случилось. Мне думается, в Хейлшеме было гораздо больше мелкого воровства, чем мы — или опекуны — готовы были признать. Но я стала рассказывать обо всем этом сейчас для того, чтобы подвести к Рут и ее реакции. Должна вам напомнить, что я потеряла кассету меньше чем через месяц после того, как Мидж в комнате творчества поинтересовалась пеналом Рут и я пришла подруге на помощь. С тех пор все время, как я уже сказала, Рут искала случая сделать для меня что-нибудь хорошее в ответ, и пропажа кассеты дала ей такую возможность. Пожалуй, только после этой пропажи наши отношения опять стали нормальными — может быть, впервые после того дождливого утра, когда я сказала ей про журнал покупок под карнизом главного корпуса.

Вечером, когда я хватилась кассеты, я спросила о ней всех — в том числе, конечно, и Рут. Оглядываясь теперь назад, я вижу, что она моментально поняла, как сильно эта пропажа по мне ударила и как важно для меня, несмотря на это, чтобы не поднималось шума. Поэтому она в ответ только небрежно помотала головой, продолжая заниматься, чем занималась. Но наутро, выходя из ванной, я услышала, как она, словно бы между прочим, спрашивает у Ханны, точно ли она не видела моей кассеты.

Прошло, может быть, недели две, я давно уже смирилась с мыслью, что кассета пропала, и тут неожиданно Рут подошла ко мне во время большой перемены. Был один из первых по-настоящему хороших весенних дней, я сидела на траве и болтала с двумя старшими девочками. Когда Рут приблизилась и предложила мне немножко с ней прогуляться, я сразу поняла, что это неспроста. Я оставила старших девочек, и мы пошли к концу северного игрового поля, потом вверх по холму до деревянного забора, откуда открывался хороший вид на наши зеленые лужайки, усеянные гуляющими воспитанниками. Наверху дул свежий ветер — помню, это меня удивило, внизу на траве ветра не чувствовалось. Мы немного постояли, глядя на территорию, потом она протянула мне пакетик. Взяв его, я почувствовала, что внутри лежит кассета, и сердце у меня забилось. Но Рут тут же сказала:

— Нет, Кэти, это не та, что ты потеряла. Ту я пыталась найти, но не получилось.

— Та сделала ручкой, — отозвалась я. — Отправилась в Норфолк.

Мы обе засмеялись. Потом я с разочарованным видом вынула кассету из пакетика, и не уверена, что разочарование не было написано у меня на лице, когда я ее рассматривала.

Называлась она "Двадцать классических танцевальных мелодий". Когда я ее потом поставила, оказалось, что это оркестровые вещи для бальных танцев. Получив подарок, я, конечно, не могла знать, что это за музыка, но ясно было, что ничего общего с Джуди Бриджуотер. Но затем, почти сразу, до меня дошло, что Рут этого понимать не может, что по мнению Рут, которая в музыке не смыслит ровно ничего, эта кассета будет для меня ничуть не хуже потерянной. И вдруг я почувствовала, как разочарование уходит под натиском подлинного счастья. У нас в Хейлшеме не очень-то в ходу были нежности, объятия. Но я в благодарность сжала ее руку своими. Она сказала:

— Я ее увидела на последней Распродаже. Я подумала, тебе, наверно, понравится.

Я ответила, что уж точно понравится, и еще как.

Кассета сохранилась у меня до сих пор. Я не часто ее слушаю, потому что сама музыка тут ни при чем. Эта кассета — такая же вещица, как брошь или кольцо, и особенно сейчас, когда Рут уже нет, вещица из самых для меня ценных.

Глава седьмая

Хочу теперь перейти к нашим последним годам в Хейлшеме. Я имею в виду возраст с тринадцати лет до шестнадцати — в шестнадцать мы переехали в другое место. У меня в памяти жизнь в Хейлшеме четко разделяется надвое: эта последняя часть и все, что было до нее. Ранние годы, о которых я только что рассказывала, норовят слиться в какое-то одно золотое время, и когда я что-нибудь тогдашнее вспоминаю — не важно даже что, хоть бы и мелочь, — во мне невольно будто загорается свет. Но в последний период было иначе. Не то чтобы совсем уж несчастливые годы — у меня от них сохранилась масса дорогих воспоминаний, — но годы более серьезные и в каком-то смысле более мрачные. Может быть, память что-то сегодня искажает, преувеличивает, но у меня осталось впечатление быстрых перемен, как если бы день уступал место ночи.

Этот разговор с Томми у пруда: сейчас он мне кажется разделяющей вехой между ранним временем и поздним. Нельзя сказать, чтобы сразу потом стало происходить что-нибудь значительное — и все же, для меня по крайней мере, это был переломный момент. Несомненно, я начала смотреть на все иначе. Если раньше сторонилась всего смутного и тревожного, то теперь принялась все чаще и чаще задавать вопросы — если не вслух, то по крайней мере про себя.

Важно, например, что этот разговор заставил меня по-новому взглянуть на мисс Люси. Всюду, где могла, я теперь пристально за ней наблюдала — не только из любопытства, но и потому, что видела в ней вероятный источник путеводных нитей. Вот как вышло, что в последующие год-два я взяла на заметку кое-какие ее необычные слова и поступки, на которые мои сверстники не обратили внимания.

Вспоминаю, к примеру, один урок английского через несколько недель после того разговора с Томми. Началось с каких-то стихов, но потом разговор перешел на военнопленных Второй мировой, которых держали в лагерях. Один из мальчишек спросил, пускали ли по ограждениям лагерей электрический ток, и еще кто-то тогда сказал: сумасшедшая это, наверно, была жизнь, когда в любую минуту можно было покончить с собой, просто коснувшись проволоки. Ничего смешного он, скорее всего, в виду не имел, но другим это показалось чрезвычайно забавным. Все разом засмеялись и заговорили, и тогда Лора — очень на нее похоже! — вскочила на стул и в истерической манере изобразила, как человек протягивает руку и его убивает током. На минуту-другую класс пошел вразнос: все кричали наперебой и делали вид, что хватаются за оголенные провода.

А я все время наблюдала за мисс Люси и поэтому увидела, как буквально на секунду ее лицо, обращенное к классу, стало очень странным.

Потом (я смотрела внимательно) она взяла себя в руки, улыбнулась и сказала:

— У нас в Хейлшеме электрических ограждений нет, и это очень хорошо. Ужасные случаи иногда бывают.

Она произнесла эти слова довольно тихо, и поскольку в классе еще стоял крик, они, можно считать, в нем утонули. Но я их услышала вполне ясно. "Ужасные случаи иногда бывают". Какие случаи? Где? Но никто на сказанное не отреагировал, и мы вернулись к разговору о стихах.

Были и другие похожие мелкие эпизоды, и вскоре я стала считать мисс Люси не совсем такой, как остальные опекуны. Возможно даже, что уже тогда я начала разбираться в причинах ее смятения и огорчений. Хотя тут я, пожалуй, хватила через край: в то время, скорее всего, я просто примечала эти странности и понятия не имела, что из них можно вывести. И если сейчас эти эпизоды кажутся полными смысла и выстраиваются во что-то единое, дело, наверно, в том, что я смотрю на них в свете более поздних событий, и в первую очередь того, что произошло на веранде павильона, когда мы пережидали дождь.

Нам тогда было уже пятнадцать, пошел наш последний год в Хейлшеме. Мы готовились в павильоне к игре в раундерз. У мальчишек начался период "увлечения" раундерз ради возможности пофлиртовать с нами, поэтому в павильон набилось в тот день человек тридцать, если не больше. Пока мы переодевались, полил сильный дождь, и в ожидании мы столпились на веранде под навесом. Но ливень не переставал, и когда на веранду вывалили все, на ней стало довольно тесно, люди толклись и вели себя беспокойно. Помню, Лора показала мне один фирменный способ презрительно высморкаться, когда хочешь отшить парня.

Из опекунов была одна мисс Люси. Стоя у перил веранды, она подалась вперед и уставилась сквозь дождь куда-то вдаль, за игровое поле. Я, как всегда в то время, внимательно за ней наблюдала и, даже смеясь вместе с Лорой, то и дело поглядывала на спину опекунши. Помню, ее поза показалась мне немножко странной: голова выдвинута вперед, как у припавшего к земле и готового броситься хищника. Она довольно сильно перегнулась через перила, так что капли с карниза пролетали совсем близко от ее лба, но ей, казалось, было все равно. Мне помнится, я сказала себе, что ничего такого в этом нет — ей просто хочется, чтобы дождь поскорее кончился, — и я опять стала слушать Лору. Но через несколько минут, когда я напрочь позабыла про мисс Люси и вовсю над чем-то хохотала, я вдруг почувствовала, что кругом стало тихо и мисс Люси начала говорить.

Она стояла на том же месте, но теперь лицом к нам, отвернувшись от дождевого неба и прислонясь спиной к перилам.

— Так, прошу прощения, но мне приходится вмешаться, — сказала мисс Люси, и я увидела, что она обращается к двум мальчикам, сидевшим прямо перед ней. Ее голос был не то чтобы странным, но очень уж громким, словно она хотела объявить что-то всем присутствующим, потому-то мы и замолчали. — Мне приходится перебить тебя, Питер. Молча слушать тебя я больше не могу.

Она подняла глаза на остальных и набрала в грудь воздуху.

— Послушайте и вы, это имеет отношение к каждому из вас. Пора, чтобы кто-нибудь вам это сказал.

Она смотрела на нас — а мы ждали. Потом некоторые говорили, что им показалось, будто она собирается устроить нам хорошую головомойку; другие подумали, что она хочет объявить о каком-то новом правиле для раундерз. Но я еще до того, как она опять заговорила, знала, что ждать надо чего-то большего.

— Простите меня, ребята, что я услышала ваш разговор. Но вы так близко за мной сидели, что я ничего не могла поделать. Питер, может быть, ты повторишь для всех то, что говорил сейчас Гордону?

Питер Дж. явно растерялся и попытался изобразить на лице оскорбленную невинность. Но мисс Люси обратилась к нему еще раз, теперь уже гораздо более мягким тоном:

— Питер, пожалуйста, повтори для всех то, что ты сейчас сказал.

Питер пожал плечами:

— Мы просто говорили о том, как бы это было, если бы мы стали артистами. Что это была бы за жизнь.

— Да, — подтвердила мисс Люси, — и ты сказал Гордону, что поехал бы в Америку, потому что там больше шансов.

Питер Дж. опять пожал плечами и тихо сказал:

— Да, мисс Люси.

Но мисс Люси уже начала обводить взглядом всех, кто был на веранде.

— Я знаю, что ты не имел в виду ничего плохого. Но таких разговоров слишком много, я слышу их все время и считаю, что вам напрасно разрешают их вести. — С карниза ей на плечо падали капли, но она, кажется, не замечала. — Раз никто другой с вами объясниться не хочет, — продолжала она, — придется мне. Проблема, как я ее вижу, вот в чем: вам говорят и не говорят. Вам говорят кое-что, но никто из вас толком не понимает, и осмелюсь утверждать, что есть люди, которые вполне довольны таким положением вещей. Но только не я. Если мы хотим, чтобы вы прожили достойную жизнь, надо, чтобы вы запомнили, и запомнили как следует: никто из вас не поедет в Америку, никому из вас не стать кинозвездой. И никто из вас не будет работать в супермаркете — я слышала на днях, как некоторые делились друг с другом такими планами. Как пройдет ваша жизнь, известно наперед. Вы повзрослеете, но до того, как состаритесь, даже до того, как достигнете среднего возраста, у вас начнут брать внутренние органы для пересадки. Ради этих донорских выемок вы и появились на свет. Вы по-другому сотворены, чем актеры, играющие в фильмах на ваших видеокассетах, вы даже по-другому сотворены, чем я. Вас растят для определенной цели, и ваша судьба известна заранее. Поэтому не нужно больше таких разговоров. Пройдет совсем немного времени, и вы покинете Хейлшем, да и день первой выемки для каждого из вас не так уж далек. Помните об этом. Если вы хотите прожить достойную жизнь, вы должны знать, кто вы такие и что вас ожидает — всех без исключения.

Она умолкла, но мне показалось, что про себя она продолжает вести этот разговор: некоторое время ее взгляд блуждал, переходя с одного лица на другое, как будто она все еще объясняла нам что-то мысленно. Когда она опять повернулась лицом к игровому полю, мы все вздохнули с облегчением.

— Теперь, пожалуй, можно, — сказала она, хотя дождь лил так же сильно. — Пошли. А там, может быть, и солнце выглянет.

По-моему, это все, что мы от нее тогда услышали. Несколько лет назад, когда я и Рут вспоминали это в дуврском центре, она стала меня убеждать, что мисс Люси рассказала нам еще много чего — про необходимость для каждого из нас побыть до выемок помощником доноров, про обычную последовательность выемок, про центры реабилитации и так далее, — но я более или менее уверена, что Рут ошиблась. Начиная говорить, мисс Люси, вполне возможно, и собиралась нам все это выложить, но думаю, что, увидев наши озадаченные, тревожные лица, она просто-напросто не смогла на это решиться.

Как подействовало на нас то, что выплеснулось у мисс Люси в павильоне, точно объяснить не могу. Слух распространился довольно быстро, но разговоры шли больше о самой мисс Люси, чем о том, что она пыталась нам втолковать. Некоторые решили, что она на минуточку спятила, другие — что она говорила по поручению мисс Эмили и прочих опекунов; кое-кто из тех, кто был тогда в павильоне, даже считал потом, что мисс Люси всего-навсего отругала нас за шум и беспорядок на веранде. Сами же ее слова, повторяю, обсуждались на удивление мало. Если про них и вспоминал кто-нибудь, обычная реакция была такая: "Ну и что? А то мы не знали".

Но ведь об этом-то и вела речь мисс Люси: нам "говорят и не говорят". Несколько лет назад, когда мы с Томми перебирали прошлые дела, я напомнила ему про это ее "говорят и не говорят", и он выдвинул своего рода теорию.

Томми предположил, что с первого нашего года в Хейлшеме до последнего опекуны очень четко выбирали момент для всего, что они нам сообщали, и каждый раз получалось, что мы чуточку не доросли до правильного понимания новых сведений. Но на каком-то уровне эти сведения, конечно, откладывались, и через короткое время они сами собой оказывались на нужных полочках у нас в голове.

Я лично не думаю, что наши опекуны были способны на такой хитроумный заговор, — и все же что-то в рассуждениях Томми, может, и есть. Меня не оставляет ощущение, что смутно я *всегда* знала о донорстве и выемках, даже в какие-нибудь шесть-семь лет. Ведь вот что интересно: когда мы подросли и опекуны начали нам про это рассказывать, полной неожиданностью ничто из услышанного не стало. Словно мы и вправду откуда-то все уже знали.

Помимо прочего, мне сейчас приходит на ум, что, когда опекуны начали просвещать нас насчет половой жизни, они всякий раз старались соединить это с разговором о донорстве. В том возрасте — опять-таки лет тринадцать — каждый из нас был изрядно взбудоражен и обеспокоен из-за секса, и все остальное, разумеется, оттеснялось на второй план. Иными словами, можно думать, что опекунам удалось таким образом незаметно протащить нам в сознание массу важных сведений о нашем будущем.

Скажу справедливости ради, что в совмещении этих двух тем есть и свой резон. Если, скажем, опекун ведет речь об инфекциях, которых нам надо будет избегать во время половых сношений, он, естественно, сразу же упоминает о том, что для нас это еще намного важнее, чем для нормальных людей снаружи. И отсюда, конечно, прямая дорога к разговору о донорстве.

Потом — вся эта история насчет того, что у нас не может быть детей. Многие лекции про секс нам читала сама мисс Эмили, и помню, од-

нажды она принесла из кабинета биологии скелет в полный человеческий рост, чтобы показать, как это происходит. В полном изумлении мы смотрели, как она извивает скелет, придает ему позы, тычет повсюду указкой без малейшего смущения. Она продемонстрировала нам всю механику этого дела, что куда вводится, все варианты, как если бы шел обычный предмет вроде географии. Потом вдруг, отвернувшись от скелета, который непристойно раскинулся на столе, завела разговор о том, как нам важно правильно выбирать, *с кем* вступать в половую связь. Не только из-за инфекций, но и потому, что секс, она сказала, "непредсказуемо действует на эмоции". Надо быть очень осторожными насчет половых сношений вне Хейлшема и особенно насчет сношений не с воспитанниками, потому что во внешнем мире секс может означать самое разное: там люди даже дерутся и убивают друг друга из-за того, кому с кем этим заниматься. И хотя, как мы знаем, детей никто из нас не может иметь в принципе, в мире обычных людей нам надо будет вести себя как они, соблюдать общие правила и относиться к сексу как к чему-то особенному.

Эта лекция мисс Эмили — типичный пример того, о чем я сказала. Начинается с секса, он овладевает нашим вниманием, и тогда можно подпустить что-то другое. Вот и получалось — "говорят и не говорят".

Постепенно мы, я думаю, усвоили таким способом немало чего, и не случайно примерно в том возрасте мы заметно иначе стали относиться ко всему, что связано с донорством и выемками. До тех пор мы, как я говорила, всячески старались обходить эту тему. Мы пятились, стоило нам ступить на зыбкую почву, и жестоко наказывали любого идиота, не проявлявшего осторожности, — например, Мардж с ее вопросом о курении. Но лет с тринадцати, повторяю, положение стало меняться. Правда, о донорстве и о том, что его окружало, мы по-прежнему прямо не говорили: мешали все те же смутные опасения. Однако шутить на эту тему мы начали — шутить примерно так же, как насчет секса. Вспоминая все это сейчас, я вижу, что запрет на открытое обсуждение донорства был тогда не менее строгим, чем раньше, но теперь не только дозволялись, но даже и поощрялись всевозможные шутливые намеки на то, что нас ожидало.

Хороший пример — события после того, как Томми поранил локоть. Кажется, это было незадолго до нашего с ним разговора у пруда; у Томми, судя по всему, еще не кончился период, когда его дразнили и подкалывали.

Рана была не такая уж серьезная, и хотя его послали к Клювастой, он очень скоро вернулся всего-навсего с пластырем на локте. Особого внимания никто на это не обращал, пока пару дней спустя Томми не отклеил пластырь и под ним не обнаружилось нечто среднее между затянувшейся и открытой раной. Местами кожа уже срослась, но виднелись и участки чего-то мягкого, красного. Дело было посреди ланча, и все столпились вокруг с возгласами: "Ух ты! Бр-р!" Потом Кристофер Х., годом старше, сказал с совершенно серьезным лицом:

— Плохо, что на этом самом месте. Чуть повыше или пониже — и ничего страшного бы не было.

Томми обеспокоился — Кристофер тогда пользовался у него авторитетом — и спросил, что это значит. Кристофер некоторое время продолжал жевать, потом небрежно произнес:

— Ты разве не слыхал? Если вот так прямо на локте, может *вывалиться*. Согнешь быстро руку — и готово. Не только это место, весь локоть вжик — и расстегнется, как молния у сумки. Думал, ты знаешь.

Томми стал было говорить, что Клювастая его ни о чем таком не предупреждала, но Кристофер пожал плечами:

— Она была уверена, что ты знаешь. Это всем известно.

Несколько человек поблизости, подыгрывая ему, закивали. Кто-то сказал:

— Тебе совсем прямо надо держать руку. Сгибать очень опасно.

На следующий день я увидела, что Томми ходит с неестественно выпрямленной рукой и обеспокоенным лицом. Все смеялись над ним, я злилась, но, должна признать, забавная сторона здесь тоже была. Потом, в конце учебного дня, когда мы выходили из комнаты творчества, он остановил меня в коридоре.

— Кэт, можно тебя на два слова?

С того дня, когда я подошла к нему на игровом поле напомнить про тенниску, миновало, наверно, недели две, и о том, что у нас своего рода дружба, уже было широко известно. Тем не менее попросить меня при всех о разговоре наедине значило поставить меня в неловкое положение. Он смутил меня, и, может быть, этим отчасти объясняется моя недостаточная готовность помочь ему.

— Я не то что психую из-за чего-то, не думай, — начал он, отведя меня в сторонку. — Хочу обойтись без лишнего риска, вот и все. Здоровьем мы не имеем права бросаться. Поэтому, Кэт, мне нужна помощь.

Его, объяснил он, беспокоит то, что может случиться во сне. Согнуть руку в локте ночью можно запросто:

— Мне все время снится, что я отбиваюсь от толпы римских легионеров.

После недолгих расспросов я поняла, что к нему за это время подходили многие — те, кого не было тогда во время ланча, — и повторяли предостережение Кристофера Х. Кто-то из них творчески развил шутку: Томми рассказали о воспитаннике, который уснул однажды с таким порезом, а когда проснулся, вся рука от кисти до плеча была у него оголена, как у скелета, — кожа снялась, точно "длинная перчатка в 'Моей прекрасной леди'".

Просьба Томми ко мне состояла в том, чтобы помочь наложить лубок, который не даст руке согнуться ночью.

— Другим я никому не доверяю, — сообщил он мне, показывая толстую линейку, которую собирался использовать. — Могут нарочно сделать так, что во сне развяжется.

Он смотрел на меня совершенно невинным взором, и я не знала, что сказать. Какая-то часть меня очень хотела объяснить ему происходящее, и мне кажется, я понимала, что поступить по-другому — значит обмануть доверие, возникшее между нами после тенниски. Привязав ему линейку, я стала бы одним из главных авторов розыгрыша. Мне до сих пор стыдно, что я не сказала ему правды. Но вы должны учесть, сколько мне тогда было лет и что я должна была принять решение за считанные секунды. Когда тебя о чем-то просят таким умоляющим тоном, очень трудно ответить "нет".

Я не хотела его огорчать — вот что, наверно, сыграло главную роль. Потому что я видела: Томми при всем его беспокойстве из-за локтя был растроган участием, которое, он считал, все к нему проявляли. Конеч-

но, я понимала, что рано или поздно он узнает, но в тот момент сказать ему правду я не могла. Меня хватило только на то, чтобы спросить:

— Это тебе Клювастая велела сделать?

— Нет. Но представь, как она разозлится, если у меня вывалится локоть.

Мне и сейчас из-за этого совестно. Я пообещала помочь ему с линейкой (в комнате 14 за полчаса до отбоя) и смотрела, как он уходил, благодарный и успокоенный.

Исполнить обещание мне не пришлось: Томми все узнал раньше. Около восьми вечера, когда я спускалась по главной лестнице, с первого этажа донесся взрыв хохота, и сердце у меня упало. Я мгновенно поняла, что смеются над Томми. Я задержалась на площадке второго этажа, перегнулась через перила — и как раз в этот момент Томми оглушительными шагами вышел из биллиардной. Помню, я подумала: "Хорошо хоть не кричит". Да, он молча вошел в гардероб, молча оделся и вышел из корпуса. Все это время из открытой двери биллиардной вырывался смех, летели возгласы: "Смотри не разозлись — а то локоть *уж точно* выскочит!"

Я хотела было кинуться за ним в темноту и догнать, пока он не скрылся в спальном домике, — но вспомнила, что обещала наложить ему на ночь лубок, и осталась на месте. Только и знала, что повторяла про себя: "Хорошо хоть сдержался. Хорошо хоть не бесится".

Но я немного отклонилась от темы. Я потому решила об этом рассказать, что представление о "расстегивающейся молнии" и о чем-то, что "вываливается", стало после истории с локтем постоянным источником шуток по поводу донорства. Картинка такая: в нужный момент ты просто расстегиваешь у себя какое-то место, почка или что-нибудь еще вываливается тебе в ладонь, и ты это отдаешь. Собственно, смешного мы в этом видели не так уж много — скорее это был способ портить друг другу аппетит. Ты, к примеру, расстегиваешься и вываливаешь в чью-то тарелку свою печень — такого рода вещи. Помню, однажды Гэри Б., который слыл невероятным обжорой, вернулся со второй добавкой пудинга, и практически все за столом принялись что-то в этот пудинг из себя "вываливать" — а Гэри знай себе наворачивал.

Томми эпизоды с "расстегиванием" удовольствия не доставляли, но время, когда его интересно было дразнить, уже прошло, и никто эту шутку с ним больше не связывал. Просто повод посмеяться, способ отбить у кого-то охоту обедать — и еще, думаю, косвенное признание готовности к предстоящему. В этом-то и состоит мысль, к которой я хочу вернуться. В тот период мы уже не уклонялись, как годом-двумя раньше, от всего, что имело отношение к донорству, но думать об этом всерьез и обсуждать это мы тогда не хотели. Всяческие "расстегивания" — образец того, как мы управлялись с проблемой в тринадцать лет.

Так что два года спустя мисс Люси, по-моему, была близка к истине, когда сказала, что нам "говорят и не говорят". И еще: теперь я вижу, что после тех ее слов наше отношение к теме донорства заметно изменилось. Шуток по этому поводу стало меньше, и мы принялись думать обо всем по-настоящему. Тема опять ушла внутрь, но по-другому, чем раньше. Нас сдерживало теперь не смущение, не неловкость, а начатки сумрачного, трезвого понимания.

— Вот что любопытно, — сказал мне Томми, когда мы вспоминали это несколько лет назад. — Никто из нас не задумался, чего это все сто-

ит ей — самой мисс Люси. Нас не беспокоило, что у нее могут быть неприятности из-за того, что она нам сообщила. Эгоисты мы были.

— Нас нельзя винить, — возразила я. — Нас учили думать друг о друге, а не об опекунах. Нам и в голову не приходило, что у них могут быть разногласия.

— Но лет-то нам было сколько, — сказал Томми. — В том возрасте это должно было приходить нам в голову. Но не пришло. Даже после того — помнишь? — как ты обнаружила ее в классе.

Я мгновенно поняла, о чем он говорит, — об утре в начале нашего последнего лета в Хейлшеме, когда я нечаянно увидела ее в классе 22. Сейчас я склонна согласиться с Томми: после того утра даже нам должно было стать ясно, как неспокойно на душе у мисс Люси. Но мы, действительно тогда ни разу не попробовали поставить себя на ее место, и нам не приходило на ум сказать или сделать что-нибудь ей в поддержку.

Глава восьмая

Многим из нас уже исполнилось тогда шестнадцать. Солнце в то утро было ослепительное, мы спустились во двор после урока в главном корпусе, но тут я вспомнила, что оставила в классе какую-то вещь. Я вернулась на четвертый этаж, и там-то моя встреча с мисс Люси и произошла.

В те дни у меня была тайная игра. Оказавшись одна, я останавливалась и искала вид — скажем, из окна или на часть комнаты за открытой дверью, — любой вид, лишь бы без людей. Хоть на несколько мгновений представить себе, что это место не кишит воспитанниками, что Хейлшем — тихий, спокойный дом, где живет, кроме меня, еще человек пять-шесть. Чтобы игра удалась, надо было немножко забыться, отключиться от всех звуков и голосов. И терпением обычно тоже надо было запастись: если, скажем, смотришь в окно на лужайку, можно чуть не целый век дожидаться той пары секунд, когда в поле зрения никого не останется. В общем, именно этим я занималась тем утром, взяв в классе забытое и выйдя обратно на площадку четвертого этажа.

Я неподвижно стояла у окна и смотрела на то место двора, где только что сама находилась. Мои подруги уже оттуда ушли, двор постепенно пустел, я ждала, когда моя затея сработает, — и тут у меня за спиной послышались шипящие звуки, как от резко вырывающегося газа или пара.

Секунд десять шипения, тишина, потом опять. Особой тревоги я не ощутила, но поскольку рядом, похоже, никого не было, решила пойти проверить.

Я пересекла лестничную площадку в направлении звуков и двинулась по коридору мимо класса, куда только что заходила, к классу 22 — второму от конца. Дверь была полуоткрыта, и, как раз когда я приблизилась, зашипело с новой силой. Уж не знаю, что я ожидала увидеть, когда опасливо толкнула дверь; к полному моему изумлению, в классе оказалась мисс Люси.

Класс 22 редко использовался для занятий, потому что был совсем маленький и, даже в такой солнечный день, очень темный. Опекуны иногда проверяли там наши работы или сидели за книгами. В то утро класс был еще темней обычного из-за штор, опущенных почти до конца. Два стола были сдвинуты вместе, чтобы вокруг могли рассесться воспитанники, но, кроме мисс Люси, сидевшей в глубине, в классе никого

не было. На столе перед ней в беспорядке лежало несколько листов темной блестящей бумаги. Очень сосредоточенно, низко наклонив над столом голову и положив на него обе руки, она с силой черкала по бумаге карандашом. Под жирными черными линиями виднелись голубые строчки, аккуратно написанные от руки. Я стояла и смотрела, как она орудует карандашом, — примерно так мы на изо делали штриховку, но ее движения были злые, яростные, словно она и порвать бумагу была не прочь. Потом, в одно и то же мгновение, я поняла две вещи: что странный звук шел из-под ее карандаша и что "темная блестящая бумага" совсем недавно была белыми страницами, исписанными аккуратным почерком.

Она была так поглощена своим занятием, что мое присутствие почувствовала не сразу. Наконец она подняла голову, вздрогнула, и я увидела, что лицо у нее покрасневшее, но следов слез заметно не было. Она смотрела на меня какое-то время, потом положила карандаш.

— Доброе утро, юная леди, — сказала она и глубоко вздохнула. — Чем могу быть полезна?

По-моему, я отвела взгляд, чтобы не видеть ее лица и бумаг на столе. Не помню, много ли я говорила — объяснила ли про звук и про свое беспокойство насчет утечки газа. Как бы то ни было, разговора у нас не получилось: ее наша встреча не обрадовала, и меня тоже. Кажется, я пробормотала какое-то извинение и вышла, желая и не желая, чтобы она меня окликнула. Но она этого не сделала, и мне помнится сейчас, что, спускаясь по лестнице, я сгорала от стыда и возмущения. Больше всего на свете мне хотелось сделать так, чтобы я ничего этого не видела, хотя спроси меня, из-за чего я так расстроилась, — я не смогла бы ответить. Почему-то мне, повторяю, было очень стыдно, и в то же время я негодовала — но не столько на мисс Люси, сколько на кого-то еще. Я была в полном смятении и, наверно, поэтому очень долго никому ничего не говорила.

После того утра я была убеждена: близится что-то другое, связанное с мисс Люси, может быть, что-то ужасное, и я постоянно была начеку. Но день за днем — никаких новостей. Я не знала тогда, что всего через несколько дней после встречи в классе 22 кое-что довольно важное действительно случилось — кое-что между мисс Люси и Томми, чем он был сильно огорчен и сбит с толку. Было время — оно кончилось немногим раньше, — когда любой такой новостью Томми немедленно поделился бы со мной или я с ним; но как раз тем летом вокруг шло немало событий, из-за которых мы разговаривали уже не так свободно.

Вот почему я очень долго понятия ни о чем не имела. Потом я локти готова была себе кусать из-за того, что не догадалась — не разыскала Томми, не выпытала у него. Но тогда, как я уже сказала, происходило много всякого разного, между Томми и Рут и не только, и все перемены, которые я в нем увидела, я объясняла этим.

Я не хочу сказать, что Томми в то лето совсем расклеился, но в иные минуты я всерьез тревожилась, что он опять станет таким же обидчивым и уязвимым, как несколько лет назад. Однажды, например, я в компании девочек направлялась из павильона к спальным домикам, а впереди шли Томми и еще двое парней. Нас разделяло всего несколько шагов, и мальчишки, включая Томми, были, судя по всему, в отличном настроении — хохотали, толкались. Лора, шедшая рядом со мной, видимо, взяла с них пример и решила пошутить. Томми, похоже, сидел до

этого на земле, и к его спортивной рубашке около поясницы прилип солидный комок глины. Он явно об этом не знал, его дружки, думаю, тоже ничего не заметили, а то не упустили бы случая развлечься. Ну, а Лора — это была Лора всегда и везде. Она крикнула что-то типа: "Томми! У тебя на спине какашки! Чем это ты занимался?"

Тон у нее при этом был вполне дружелюбный, и если даже кто-то еще что-нибудь подпустил вдогонку, все это не выходило из границ обычного нашего зубоскальства. Поэтому когда Томми встал как вкопанный, круто обернулся и пригвоздил Лору к месту страшным взглядом, это было полной неожиданностью. Мы все тоже остановились, мальчики были в таком же недоумении, как и мы, и несколько секунд мне казалось, что в первый раз за годы Томми сейчас сорвется. Но, постояв, он резко зашагал прочь, нам же оставалось только переглядываться и пожимать плечами.

Почти такая же неприятность получилась, когда я показала ему календарь Патриции С. Патриция была на два года младше нас, но ее художественными способностями восхищались все, и на Ярмарках Искусства ее вещи всегда шли нарасхват. О календаре, который мне удалось заполучить на последней Ярмарке, за несколько недель до ее начала стали ходить толки, и поэтому я была им очень горда. Он не имел ничего общего, к примеру, с большими перекидными календарями мисс Эмили, по которым она рассказывала нам о графствах Англии. Календарь Патриции был гораздо меньшего формата, ладненький, толстенький, и на каждый месяц она нарисовала в нем карандашом великолепную сценку из хейлшемской жизни. Я жалею, что не сохранила его, — жалею прежде всего потому, что на некоторых картинках, например, июньской и сентябрьской, можно было узнать лица вполне определенных опекунов и воспитанников. Календарь, и не только он, пропал при моем отъезде из Коттеджей, когда голова у меня была занята другим и я мало думала о том, что брать с собой, а что нет, — но до этого я еще дойду. Пока самое главное — что заиметь календарь Патриции было очень большой удачей, я страшно гордилась и меня подмывало показать календарь Томми.

Я засекла его под вечер, когда он стоял в лучах низкого солнца под большим кленом у южного игрового поля. Календарь был у меня в сумке — я доставала его на уроке музыки, чтобы похвастаться, — и я подошла к Томми.

Он был поглощен футбольным матчем между младшеклассниками на соседнем поле, и на лице у него в этот момент было написано довольство и даже умиротворение. Увидев меня, он улыбнулся, и минуту-другую мы поболтали о всяких пустяках. Потом я не выдержала:

— Смотри, что я раздобыла!

Я не попыталась сделать тон менее торжествующим и, вынимая календарь, кажется, даже изобразила голосом фанфару: "Пам-парарам!" Когда Томми его брал, он еще улыбался, но начал листать — и я почувствовала, что внутри у него что-то замкнулось.

— Патриция — такая... — начала я, но услышала, как мой голос меняется. — Такая молодец...

Но Томми уже протягивал мне календарь обратно. Потом, не говоря ни слова, зашагал мимо меня к главному корпусу.

Уж этот-то случай должен был заставить меня задуматься. Если бы я хоть чуть-чуть пошевелила мозгами, я догадалась бы, что последние на-

строения Томми связаны с мисс Люси и с его давними неудачами по части "творчества". Но в то время, повторяю, вокруг много всего происходило, и я не думала в этой плоскости. Насколько помню, я считала, что все старые проблемы остались у нас позади вместе с отрочеством и занимать нас сейчас может только то большое и мрачное, что отбрасывало тень из будущего.

Теперь — о том многом, что происходило. Во-первых, Рут и Томми всерьез поссорились. Они уже были вместе примерно полгода — во всяком случае, эти полгода они ничего не скрывали, ходили в обнимку и все такое. Но спектакля они из этого не устраивали, и потому их уважали как пару. Некоторые другие — например, Сильвия Б. и Роджер Д. — иногда вели себя тошнотворно, и чтобы их унять, приходилось хором издавать рвотные звуки. Но Рут и Томми ничего неприятного для посторонних себе не позволяли и если порой ласкались, то видно было, что это взаправду друг для друга, а не на публику.

По поводу всех этих сексуальных дел мы, надо сказать, пребывали тогда в изрядном замешательстве. Иначе, конечно, и быть не могло — ведь нам едва исполнилось шестнадцать. Но вдобавок, как я вижу сейчас, нам передавалось замешательство самих опекунов. С одной стороны — скажем, беседы мисс Эмили о том, что не надо стыдиться своего тела, что следует "серьезно относиться к своим плотским потребностям", что секс — "драгоценный дар", если оба участника действительно хотят близости. Но как только доходило до дела, оказывалось, что правила, установленные опекунами, дают нам очень мало возможностей. Девочкам после девяти вечера не разрешалось заходить в спальни к мальчикам, и наоборот. Классы формально были для нас по вечерам запретной территорией, как и участки за складами и за павильоном. А заниматься этим на траве даже в теплую погоду желающих было немного: потом почти всегда выяснялось, что из корпуса за вами наблюдала компания любопытных с биноклем, переходившим из рук в руки. В общем, несмотря на все разговоры о драгоценном даре, было полное впечатление, что парочке, которую опекуны застанут, не поздоровится.

Впечатление впечатлением, но единственный реальный случай, о котором я знала доподлинно, произошел, когда Дженни С. и Робу Д. помешали в классе 14. После ланча они устроились там прямо на одном из столов, и вдруг вошел мистер Джек что-то взять. По словам Дженни, опекун густо покраснел и пулей вылетел обратно; так или иначе, их это сбило, они перестали, что-то надели на себя — и тут мистер Джек вошел снова, как бы в первый раз, и прикинулся, что изумлен и шокирован.

— Мне совершенно ясно, чем вы сейчас занимались, и я этого не одобряю, — отчеканил он и велел обоим явиться к мисс Эмили. Но когда они пришли в ее кабинет, оказалось, что она торопится на важное совещание и говорить с ними ей некогда.

— Я думаю, вы понимаете, что вам не следовало этого делать, и надеюсь, что это не повторится, — сказала она, торопливо уходя со своими папками.

Что до однополого секса, он смущал нас еще больше. Почему-то он назывался у нас "универсальным сексом"; если тебе нравился кто-то одного с тобой пола, говорили, что ты "универсал". Не знаю, как было там, где росли вы, но у нас в Хейлшеме на все гомосексуальное воспи-

танники смотрели косо — особенно мальчики. Они иногда вели себя очень жестоко. Причина, сказала мне Рут, вот какая: многие из них пробовали это друг с другом в младшем возрасте, а потом, поняв, что они делали, нервничали и становились нетерпимыми до идиотизма. Права она или нет, не знаю, но хорошо помню: если кто-то слышал о себе, что он "универсал", дело запросто могло кончиться дракой.

Когда мы говорили про это между собой — а таким разговорам в то время конца не было, — мы часто спорили, хотят ли опекуны, чтобы мы занимались сексом. Некоторые считали, что хотят, — просто мы плохо выбираем момент. Ханна развивала мысль, что их задача — настроить нас на половую жизнь, потому что иначе мы не сможем стать хорошими донорами. Она говорила, что если нет секса, то почки, поджелудочная железа и тому подобное не будут правильно действовать. Кто-то другой сказал, что нам надо помнить: опекуны — люди "нормальные". Потому-то они и относятся к этому так чудно; для них секс — это когда хочется иметь детей, и пусть даже умом они понимают, что мы детей иметь не можем, им все равно не по себе, потому что в самой глубине у них остается опасение, что и у нас дело кончится детьми.

У Аннетты Б. была другая теория — что опекунам из-за того трудно смириться с сексом среди воспитанников, что они сами хотят заниматься с нами сексом. Особенно мистер Крис, заявила она: не замечали, как он смотрит на девочек? Лора тут же сказала, что это Аннетта хочет заниматься сексом с мистером Крисом. Все чуть не лопнули со смеху: ничего более нелепого и тошнотворного, чем секс с мистером Крисом, вообразить было невозможно.

Ближе всего к истине подошла, по-моему, Рут.

— Они говорят нам про секс на будущее, чтобы мы занимались им после Хейлшема, — сказала она. — Им надо, чтобы мы делали это как полагается — по склонности и так, чтобы ничем не заразиться. Но не сейчас, а после отъезда. Сейчас это им ни к чему — лишние проблемы.

Мне кажется, впрочем, что секса у нас было гораздо меньше, чем пытались представить. Ласкались, обнимались — этого сколько угодно, и были пары, которые *намекали*, что у них секс в полном объеме. Но сейчас я думаю, что все это сильно преувеличивалось. Если бы все, кто изображал себя опытными любовниками, действительно ими были, в Хейлшеме проходу бы не было от пыхтящих парочек.

О чем я помню — что у нас действовало благоразумное соглашение: не слишком допрашивать друг друга по поводу наших претензий на опытность. Если, к примеру, Ханна, когда обсуждали какую-нибудь девочку, закатывала глаза и говорила: "Девственница", подразумевая: "Что с нее возьмешь, с бедняжки. Мы-то нет", — неуместно было спросить ее: "А с кем, интересно, *ты* потеряла невинность? Когда? Где?" Нет, кивнешь понимающе — и все. Можно подумать, был какой-то параллельный мир, куда мы все переносились и где происходил весь этот секс.

Я и тогда, по-моему, видела, что все эти притязания не стыкуются между собой. И все-таки с приближением того лета я все больше чувствовала себя белой вороной. В каком-то смысле секс занял место "творчества" наших прежних лет. Было ощущение, что если ты еще этого не испытала, должна испытать, и немедленно. А у меня вдобавок ко всему обе лучшие подруги это *точно* уже испытали. Лора — с Робом Д., хотя настоящей парой они не стали. А Рут — с Томми.

И все-таки я тянула с этим и тянула, повторяя про себя совет мисс Эмили: "Если нет человека, с которым действительно хочется разделить это переживание, то *не надо*!" Но весной того года, о котором я рассказываю, я тем не менее начала подумывать, что пора бы и мне с кем-нибудь попробовать. Не только из любопытства, но и потому, что считала необходимым хоть немного освоиться с сексом, а для этого лучше было на первый раз выбрать парня, к которому у меня нет особых чувств. Тогда потом, если кто-нибудь станет мне по-настоящему дорог, будет больше шансов, что я сделаю все как надо. Если, рассуждала я, мисс Эмили права и секс значит между людьми так много, неправильно будет без опыта пускаться на это в ситуации, когда очень важно, чтобы все прошло хорошо.

Я выбрала Гарри С., и причин тому было несколько. Во-первых, я наверняка знала, что он делал это раньше — с Шарон Д. Во-вторых, хоть я и не так уж по нему сохла, отвращения он у меня точно не вызывал. К тому же он был из тихих и скромных, поэтому, думала я, вряд ли станет болтать направо и налево, если из-за меня ничего толком не получится. И наконец, он несколько раз намекал, что не прочь заняться со мной сексом. Конечно, мальчишки в то время почти поголовно были настроены на игривый лад, но я уже умела отличить настоящее предложение от обычного трепа.

Так что я остановилась на Гарри и только решила пару месяцев еще выждать, чтобы наверняка быть готовой физически. Мисс Эмили говорила нам, что если смазки окажется недостаточно, будет больно и все кончится большой неудачей, и это было единственным, о чем я всерьез беспокоилась. Не о том, что меня там внизу разорвут, распорют, о чем мы часто шутили между собой и чего очень многие девочки втайне боялись. Если смазка пойдет хорошо, проблем, я считала, не будет, и я много раз занималась этим сама, просто ради уверенности.

Кому-то, наверно, покажется, что это стало у меня навязчивой идеей: я, помимо прочего, все время возвращалась к тем местам в книгах, где говорится про секс, — пыталась вычитать что-нибудь полезное. Но от книг, которые имелись в Хейлшеме, проку, к сожалению, было мало. Девятнадцатый век был очень широко представлен писателями вроде Томаса Харди, совсем бесполезными в этом смысле. В некоторых современных вещах — например, у Эдны О'Брайен и Маргарет Дрэббл — секс иногда встречался, но о том, как это происходит, ясно ни разу не говорилось: авторы, похоже, считали, что читатель знает секс вдоль и поперек и подробности ему не нужны. Поэтому книги обычно приносили разочарование, и с видеофильмами было ненамного лучше. В биллиардной пару лет назад поставили видеомагнитофон, и к той весне у нас собралась приличная коллекция фильмов. Секс во многих из них был, но чаще всего сцена именно в этот момент прерывалась — или видно было только лицо, затылок, спину. А если вдруг даже и попадался полезный эпизод, хорошенько посмотреть не получалось, потому что, как правило, вместе с тобой в комнате сидело еще человек двадцать. У нас выработалась такая система, что по требованию кассету сплошь и рядом перематывали назад, к началу сцены — например, когда американец в "Большом побеге" прыгает на мотоцикле через колючую проволоку. Тогда начинали кричать: "Повтор! Повтор!", пока кто-нибудь не брал пульт и не нажимал на перемотку, — иногда один кусок крутили три-че-

тыре раза. Но сама потребовать повтора сексуальной сцены я не отваживалась.

В общем, я откладывала с недели на неделю, готовилась, и вот наконец наступило лето и я решила, что пора. Я даже уверенность какую-то почувствовала и начала подбрасывать Гарри намеки. Все двигалось гладко и по плану — и тут Рут с Томми разругались и пошла полная путаница.

Глава девятая

Дело было вот как: через несколько дней после их ссоры я и еще кто-то из девочек сидели в комнате творчества и рисовали натюрморт. Духота, помню, была страшная, не помогал даже вентилятор, который стрекотал сзади. Работали углем, пристроив доски на коленях, потому что мольберты кто-то унес. Рядом со мной сидела Синтия И., мы болтали о том о сем и жаловались на жару. Потом как-то разговор съехал на мальчиков, и она сказала, не поднимая глаз от рисунка:

— А насчет Томми — я ведь знала, что у него и Рут это ненадолго. Ты теперь, думаю, полноправная преемница.

Произнесено было вскользь, но проницательности Синтия не была лишена, и то, что она не принадлежала к нашей компании, лишь добавляло ее замечанию веса. Я хочу сказать — невольно возникла мысль: Синтия выразила то, что думает каждый, с какого бы расстояния он на все ни смотрел. Как ни верти, мы дружили с Томми не один год, пока не пришло время всех этих парочек. Со стороны я и правда запросто могу выглядеть "полноправной преемницей" Рут. На замечание Синтии я, однако, не отреагировала никак, и она эту тему, которую затронула только мимоходом, развивать не стала.

День или два спустя, когда я выходила из павильона с Ханной, она вдруг подтолкнула меня локтем и кивком показала на группу парней на северном игровом поле.

— Смотри, — сказала она тихо. — Томми. Сидит один-одинешенек.

Я пожала плечами, словно говоря: "Ну и что?" На том у нас и кончилось, но чуть позже в голову полезли всякие мысли. Что Ханна имела в виду? Что Томми без Рут выглядит каким-то потерянным? И только? Да нет, не похоже — я слишком хорошо знала Ханну. Она так шевельнула локтем и так понизила голос, что было совершенно ясно: она тоже думает обо мне как о "полноправной преемнице" — скорее всего, так думают обо мне многие.

Все это, как я сказала, здорово меня запутало, а ведь до того момента у меня только и было, что план насчет Гарри. Сейчас я на сто процентов уверена, что, если бы не эта история с "полноправной преемницей", Гарри стал бы у меня первым. Я все для этого подготовила, дело было на мази. Я и сейчас думаю, что Гарри — это был хороший выбор на тот момент. Мне кажется, он был бы ласков и тактичен, он понял бы, что мне от него нужно.

Я мельком видела Гарри около двух лет назад в центре реабилитации в Уилтшире. Его привезли после выемки. Я была не в лучшем настроении, потому что мой донор завершил прошлой ночью. Виноватой меня в этом никто не считал — причиной стала небрежно проведенная операция, — и все-таки я чувствовала себя не ахти. Большую часть ночи

провела на ногах, дел в таких случаях хватает, и утром была в приемном отделении, собиралась уже уходить, как вдруг появился Гарри. Его ввезли на кресле-каталке — не потому, как я потом выяснила, что он в принципе не мог сам передвигаться, а из-за слабости, — и я более или менее уверена, что он не узнал меня, когда я подошла и поздоровалась. Я думаю, у меня не было причин претендовать на какое-то особое место в его памяти. Кроме той попытки сближения, дела мы друг с другом почти не имели. Для него, если он помнил меня вообще, я, наверно, была дурочкой, которая подкатилась к нему однажды, спросила, как он насчет секса, а потом пошла на попятный. Он тогда, надо сказать, повел себя очень даже по-взрослому: не разозлился на меня, не стал всем говорить, что я динамистка, ничего такого. Так что когда я в тот день увидела, как его везут, возникло чувство благодарности и стало жаль, что не я его помощница. Я огляделась, но того, кто *был* его помощником, даже не оказалось поблизости. Санитары спешили увезти Гарри в палату, поэтому говорили мы недолго. Я просто поздоровалась, пожелала ему побыстрее набраться сил, он устало улыбнулся. Когда я упомянула о Хейлшеме, он поднял большой палец, но я видела, что он меня не узнал. Если бы мы встретились позже, когда он уже не был таким обессиленным и не так был напичкан медикаментами, он, может быть, постарался бы и припомнил меня.

Но я говорю, собственно, о делах более ранних — о том, как ссора между Томми и Рут нарушила мой план. Вспоминаю сейчас — и мне совестно из-за Гарри. После всех намеков, которые я ему делала целую неделю, вдруг шепчу что-то прямо противоположное. Мне кажется, я думала, что он страшно распален, что мне не так-то просто будет от него отделаться. Помню, всякий раз, как я его видела, я быстро что-то ему говорила и убегала, не дожидаясь ответа. И только гораздо позже, когда я стала об этом думать, мне пришло в голову, что он, может быть, и не хотел со мной ничего. Вполне допускаю, что он был бы только рад, если бы я оставила его в покое, но стоило нам увидеться в коридоре или на территории, я тут же подходила и шепотом принималась объяснять, почему именно сегодня я не могу заняться с ним сексом. Наверно, ему казалось, что я маленько тронулась умом, и не будь он таким тактичным и сдержанным, я моментально сделалась бы посмешищем для всех. Так или иначе, разбиралась я с Гарри недели две — а потом Рут обратилась ко мне с просьбой.

В то лето в Хейлшеме возникла и держалась до осени, пока не стало прохладно, странноватая мода слушать по очереди музыку на траве. С прошлогодних Распродаж у нас начали появляться кассетные плееры, и тем летом их уже было в употреблении по меньшей мере штук шесть. Считалось, что самое оно — это когда несколько человек сидят на открытом месте вокруг одного плеера и передают друг другу наушники. Согласна, довольно глупый способ слушать музыку, но ощущение было и правда приятное. Послушаешь секунд двадцать, снимешь наушники, передашь. И спустя какое-то время, когда раз за разом крутится одна кассета, становится на удивление похоже на то, как если слушаешь все подряд. Мода, как я сказала, появилась только тем летом: выйдешь в большую перемену — и наверняка увидишь несколько компаний на травке вокруг плееров. Опекуны не были в восторге, говорили, что так передаются ушные инфекции, но запрещать не запрещали. Без этих днев-

ных сидений-лежаний с плеерами мне последнее хейлшемское лето и не вспоминается. Кто-нибудь подойдет, спросит: "Что слушаем?" — и, если ответ его удовлетворит, сядет в круг и станет ждать очереди. Атмосфера почти всегда была очень дружелюбная, и я не помню, чтобы кому-нибудь отказались дать наушники.

Так я проводила однажды время с несколькими девочками, когда подошла Рут и позвала меня поговорить. Я сразу поняла, что разговор важный, без единого слова оставила подруг, и Рут повела меня в наш спальный домик. В комнате я села на ее кровать у окна — одеяло было нагрето солнцем, — а она на мою у противоположной стены. Летала большая муха, и мы со смехом немножко поиграли в "теннис", гоняя обалдевшее существо туда-сюда ладонями. Наконец муха вылетела в окно, и Рут сказала:

— Я хочу, чтобы мы с Томми опять были вместе. Поможешь мне, Кэти?

Потом она спросила:

— Да что с тобой?

— Ничего. Просто я немножко удивилась — после всего. Конечно, помогу.

— Я никому до тебя не говорила, что хочу помириться с Томми. Даже Ханне. Только тебе могу доверять.

— Что мне сделать?

— Просто поговори с ним. Ты же всегда знала, с какой стороны к нему подойти. Тебя он выслушает и не будет думать, что ты пудришь ему мозги.

Какое-то время мы просто сидели на кроватях, покачивали ногами. В конце концов я сказала:

— Ты правильно ко мне обратилась. Я лучше других это смогу, наверно, — поговорить с Томми и все такое.

— Хочу начать с ним все сначала. Теперь мы, похоже, квиты: оба понатворили глупостей, только чтобы друг друга помучить. Но все уже, хватит. Ну Марта Х., ну поганка — слов просто нет! Может, он сделал это, чтобы меня насмешить? Если так, цель достигнута, можешь ему сказать, — в общем, счет у нас опять равный. Хватит, большие уже — все надо забыть и начать с нуля. Ты сможешь его убедить, Кэти, я уверена. Ты самый лучший подход к нему найдешь. А если и сейчас не образумится — значит, нечего с ним вообще иметь дело.

Я пожала плечами.

— Общий язык мы с Томми всегда находили, в этом ты права.

— Да, и он тебя очень уважает. Я знаю, он часто мне об этом говорил. Что у тебя есть характер, что ты всегда как скажешь, так и сделаешь. Он сказал, что в трудном положении скорее хотел бы иметь рядом тебя, чем любого из мальчишек. — Она усмехнулась. — Согласись, это *действительно* комплимент. Вот и получается, что, кроме тебя, выручать нас некому. Мы с Томми созданы друг для друга, и он тебя послушает. Помоги нам, Кэти, хорошо?

Я немного помолчала, потом спросила:

— Рут, а ты к Томми серьезно относишься? В смысле, если я его уговорю и вы опять будете вместе, тебе больше не захочется его мучить?

Рут досадливо вздохнула.

— Конечно, серьезно, как же еще. Мы ведь не малыши. В Хейлшеме совсем чуть-чуть осталось пожить. Время игр кончилось.

— Ладно. Я с ним поговорю. Ты права: скоро отсюда уезжать, мы не можем тратить время на пустяки.

После этого, помню, мы еще посидели на тех же кроватях, поговорили. Рут опять и опять возвращалась к тому же самому: он вел себя по-идиотски, они созданы друг для друга, теперь надо будет делать все иначе — не показывать лишнего посторонним, лучше выбирать время и место для секса. Мы говорили, и обо всем она спрашивала у меня совета. Потом в какой-то момент я засмотрелась в окно на дальние холмы — и вздрогнула, потому что Рут, оказавшись рядом, обняла меня за плечи.

— Кэти, я знала, что на тебя можно рассчитывать, — сказала она. — Прав был Томми: в трудном положении ты незаменимый человек.

Из-за всяких дел и помех возможность поговорить с Томми у меня появилась только через несколько дней, когда в большую перемену я увидела его с футбольным мячом у кромки южного игрового поля. Чуть раньше он отрабатывал с двумя мальчиками игру в пас, но теперь был один, жонглировал мячом. Я подошла и села позади него на траву, прислонившись к столбу забора. После того как я показала ему календарь Патриции С. и он молча двинулся прочь, времени точно прошло немного: нам, помню, было теперь не вполне ясно, в каких мы отношениях. Он продолжал подбрасывать мяч, сосредоточенно хмурясь, — колено, ступня, лоб, ступня, — а я сидела, рвала травинки и смотрела на дальний лес, которого мы раньше так боялись. В конце концов я решила сдвинуться с мертвой точки:

— Томми, давай поговорим. Я кое-что хочу тебе сказать.

Как только я это произнесла, он дал мячу укатиться, подошел и сел рядом. Это было очень на него похоже: стоило ему увидеть мое желание с ним разговаривать, вся его угрюмость тут же сменялась благодарным энтузиазмом, напоминавшим мне нас в младших классах, когда опекун, отругав нас за что-нибудь, смягчался. После футбола он дышал чуточку учащенно, и впечатление энтузиазма от этого усиливалось. В общем, мы еще ничего друг другу не сказали, а он уже меня рассердил. На мои слова: "Я вижу, Томми, ты последнее время что-то не очень счастлив", — он ответил: "Не понимаю. Со мной все в полном порядке. Ты о чем?" И он лучезарно улыбнулся, а потом еще и хохотнул этим своим громким хохотом. Это-то меня и добило. Много позже, когда у него проскакивало что-то похожее, я только улыбалась. Но в то время меня просто бесили такие вещи. Если Томми говорил, что огорчен чем-то, он для убедительности всегда делал в этот момент вытянутое печальное лицо. Иронии никакой здесь не было, он просто считал нужным подкрепить слова мимикой. А тогда, у игрового поля, в доказательство, что с ним все хорошо, он, наоборот, принял довольный-предовольный вид. Потом, повторяю, пришло время, когда мне даже нравилась в нем эта черта, но последним хейлшемским летом я видела здесь только яркое подтверждение того, какой он еще ребенок и как легко его могут использовать. Я тогда мало что знала о мире, который ждал нас за пределами Хейлшема, но предчувствовала, что нам понадобится там весь наш ум, и, когда Томми так себя вел, я была близка к панике. До того дня я никогда ничего ему не говорила — не знала, как объяснить, чтобы он понял, — но на этот раз взорвалась:

— Томми, этот твой смех — он просто идиотский! Если тебе зачем-то обязательно надо притвориться счастливым, не смейся так! Просто по-

верь мне на слово — нельзя так смеяться! Нельзя, слышишь! Томми, тебе давно пора повзрослеть. И пожалуйста, возьми себя в руки! У тебя в последнее время все разладилось, и мы оба знаем почему.

Вид у Томми стал озадаченный, и он сказал, когда убедился, что я кончила:

— Да, ты права. У меня все разладилось. Но я что-то тебя не понимаю, Кэт. Как это ты говоришь: мы оба знаем? Ты не можешь знать, я никому об этом не говорил.

— Разумеется, я не знаю всех подробностей. Но о твоем разрыве с Рут известно всем.

Какое-то время Томми еще выглядел озадаченным. Наконец опять хохотнул, но на этот раз искренно.

— Понял тебя теперь, — пробормотал он, потом помедлил, что-то обдумывая. — Если честно, Кэт, — сказал он после паузы, — не это главное, что меня беспокоит. Совсем другое. Я все время про это думаю. Тут замешана мисс Люси.

И он рассказал, что случилось между ним и мисс Люси в начале лета. Позднее, когда я смогла все спокойно обдумать, я высчитала, что к тому времени могло пройти самое большее несколько дней после того, как я застала мисс Люси в классе 22 за вымарыванием написанного. И, повторяю, я локти готова была себе кусать за то, что не догадалась и не выспросила у него все раньше.

Произошло это под вечер, в так называемый "мертвый час", когда занятия уже окончены, но до ужина еще есть время. Томми увидел, как мисс Люси выходит из главного корпуса, вся нагруженная лекционными плакатами и картотечными ящиками. Впечатление было, что она вот-вот что-нибудь уронит, и он подбежал помочь.

— Она дала мне часть вещей и сказала, что мы идем к ней в кабинет. Даже двоим нести было многовато, и у меня пару раз по дороге что-то падало. Когда уже подходили к оранжерее, она вдруг остановилась, и я подумал, у нее тоже что-то вываливается. Но нет, она просто смотрела на меня, *вот так*, прямо в лицо, очень серьезно. Потом сказала — нам надо побеседовать, серьезно побеседовать. Я отвечаю — ладно, и мы вошли в оранжерею, там в ее кабинет, все положили. Она мне — садись, и я сажусь в то же самое кресло, что в тот раз. Ну, ты помнишь — тогда, давно. И сразу стало ясно, что и она помнит про тот разговор, потому что она так об этом начала, как будто продолжала что-то вчерашнее. Ни объяснений, ничего, просто с ходу вот что примерно: "Томми, я все неправильно тебе тогда сказала. И мне давно уже надо было с тобой объясниться". Потом велела мне забыть все, что я от нее раньше слышал. Говорит, она оказала мне очень плохую услугу, когда посоветовала не беспокоиться из-за творчества. Правы, говорит, были другие опекуны, а не она, и тому, что в творческих делах у меня выходит такая дрянь, нет никаких оправданий...

— Постой, Томми. Что, так прямо и сказала: дрянь?

— Ну, если не дрянь, что-нибудь в этом роде. Нулевой результат, полный провал. В общем, все равно что дрянь. Говорит, ей очень жаль, что она сбила меня тогда с толку, если не она, я, может быть, к сегодняшнему дню уже выправился бы.

— А ты на все это что отвечал?

— Я просто не знал, что сказать. Под конец она сама меня спросила. Спрашивает: "Томми, что ты об этом думаешь?" Я ответил, что не знаю,

но, по-моему, беспокоиться ей в любом случае не стоит, потому что со мной сейчас все в порядке. А она мне: нет, не все в порядке. Мое творчество — полная дрянь, и отчасти виновата в этом она. Я ее спрашиваю: но какая разница? У меня теперь все хорошо, никто больше из-за этого надо мной не смеется. Но она мотает, мотает головой и говорит: "Есть разница. Я тогда неправильный совет тебе дала". Тут мне пришло в голову, что она имеет в виду дальнейшее — ну, после того, как мы отсюда уедем. И я ей так сказал: "Да вы не волнуйтесь из-за меня, мисс. Я нормально готов, я справлюсь. Когда придет время стать донором, я все сделаю как надо". Выслушала — и очень сильно опять начала мотать головой, я даже испугался, что у нее она закружится. Потом говорит: "Поверь мне, Томми. Твое творчество — очень важно. И не только как показатель. Но и ради тебя самого. Ты получишь от него очень много — просто для себя".

— Погоди. Что это значит — показатель?

— Не знаю. Но это слово точно было, я помню. Говорит: ваше творчество важно, и не только как показатель. Кто ее знает, что она хотела сказать. Я, кстати, поинтересовался. Спрашиваю: "Мне не совсем ясно, это что, имеет отношение к Мадам и ее Галерее?" Тут она глубоко вздохнула и говорит: "Галерея Мадам — да, она много значит. Я это вижу теперь. Гораздо больше значит, чем я раньше думала". Потом она сказала: "Ты знаешь, Томми, есть много такого, чего ты не понимаешь, а объяснить я тебе не могу. Насчет Хейлшема, насчет твоего положения в большом мире и так далее. Но когда-нибудь, может быть, ты сам попытаешься и найдешь ответ. Облегчать это они тебе не будут, не надейся, но если захочешь, если по-настоящему захочешь — может, что-нибудь и поймешь". Тут она опять замотала головой, но уже не так сильно, и говорит: "Но с какой стати ты должен отличаться? Воспитанники живут здесь, уезжают и не находят никаких ответов. С какой стати ты должен отличаться?" Мне было непонятно, о чем это она, и я просто повторил: "Да вы не волнуйтесь из-за меня, мисс". Она молчит сколько-то времени, потом вдруг встала, как-то так наклонилась надо мной и обняла. Не сексуально, а скорей вроде того, как они нас маленьких обнимали. Я сижу тихо, как только могу. Потом на шаг отошла и опять сказала, что не должна была меня так настраивать. Но говорит, еще совсем даже не поздно, если, говорит, я сейчас прямо начну, то могу все наверстать. По-моему, я ничего на это не ответил, а она смотрела на меня, и я подумал, что сейчас, наверно, опять обнимет. Но она только сказала: "Постарайся ради меня, Томми". Я пообещал, что постараюсь, просто потому, что хотел поскорее уйти. Я думаю, я красный был как рак из-за этих объятий и всего остального. Ведь согласись — сейчас это совсем не то же самое, мы уже не маленькие.

Рассказ Томми так меня увлек, что я забыла, с чем к нему пришла. Но слова "мы уже не маленькие" мне про это напомнили.

— Вот что, Томми, — сказала я, — давай в ближайшее время все подробно обсудим. Ты рассказал очень интересные вещи, и я понимаю, какие у тебя сейчас переживания. Но в любом случае тебе надо как-то собраться. Этим летом нам уезжать. Ты должен взять себя в руки, и есть одно, что ты можешь исправить прямо сейчас. Рут мне сказала, что готова все забыть и возобновить отношения. По-моему, это хороший шанс для тебя. Не упусти его.

Он несколько секунд помолчал, потом сказал:

– Не знаю, Кэт. Столько всего другого надо обдумать.

– Томми, послушай. Тебе сказочно повезло. Не кто-нибудь, а именно Рут к тебе неравнодушна. Когда мы отсюда уедем, если она будет с тобой, ты горя не будешь знать. Она тут лучше всех, держись около нее – и все у тебя будет отлично. Она говорит – хочет начать с тобой все сначала. Смотри не проворонь такой случай.

Я ждала ответа, но Томми ничего не говорил, и опять меня охватила чуть ли не паника. Я подалась к нему со словами:

– Слушай, дурак набитый, ты думаешь, у тебя будет много других возможностей? Пойми, мы недолго еще тут пробудем все вместе!

К моему удивлению, ответ, когда он прозвучал, был спокойным и взвешенным – эта сторона Томми все больше и больше стала проявляться только годы спустя.

– Я знаю, Кэт. И как раз поэтому не хочу бросаться сломя голову к Рут. Нам очень хорошо надо обдумывать свои шаги. – Он вздохнул и посмотрел мне в глаза. – Ты правильно говоришь, Кэт. Скоро нас здесь уже не будет. Это больше не игра. И нам надо крепко обо всем подумать.

Вдруг я растерялась – сижу, не знаю, что сказать, и только дергаю травинки. Я чувствовала, что Томми на меня смотрит, но глаз не поднимала. Это и еще могло продлиться, но нам помешали. Не помню – то ли вернулись мальчики, с которыми он катал мяч, то ли какая-то гуляющая компания заметила нас и подсела. Так или иначе, разговор по душам у нас кончился, и уходила я с мыслью, что не исполнила намеченное и каким-то образом подвела Рут.

Понять, как подействовал на Томми наш разговор, я так никогда и не смогла, потому что следующий день принес новость. Было позднее утро, и шел очередной урок погружения в культуру. Нам приходилось играть роли разных людей, с которыми мы должны были потом иметь дело, – официантов, полицейских и так далее. Эти занятия нас одновременно возбуждали и тревожили, так что мы были и без новости изрядно взвинчены. Урок кончился, собираемся выходить – и тут врывается Шарлотта Ф., и мигом всем становится известно, что мисс Люси уехала из Хейлшема. Мистер Крис, который вел урок и наверняка уже все знал, с виноватым видом удалился до того, как мы успели приступить к нему с расспросами. Вначале мы допускали, что Шарлотта, может быть, повторяет чей-то пустой треп, но чем больше она рассказывала, тем яснее становилось, что это правда. Сегодня утром, по ее словам, другая группа старших воспитанников пришла в класс 12, где мисс Люси должна была вести восприятие музыки. Но вместо нее они увидели мисс Эмили, которая сказала, что мисс Люси в данный момент занята и она ее заменяет. Минут двадцать урок шел нормально. Потом внезапно, чуть не посреди фразы, мисс Эмили перестала говорить о Бетховене и объявила, что мисс Люси навсегда покинула Хейлшем. Урок длился на несколько минут меньше обычного – мисс Эмили, озабоченно хмурясь, вдруг торопливо вышла, – и новость тут же начала разноситься по Хейлшему.

Я сразу же бросилась искать Томми, потому что отчаянно хотела рассказать ему первой. Но, выскочив во двор, увидела, что опоздала. Томми стоял поодаль в кружке парней, слушал, кивал. Другие мальчишки были взбудоражены, даже оживлены, но у Томми глаза были пустые.

Вечером того же дня Томми и Рут опять сошлись, и Рут через несколько дней поблагодарила меня за то, что я "так здорово все уладила". Я сказала, что, скорее всего, я тут ни при чем, но Рут не поверила. Я была у нее с тех пор на самом лучшем счету. Таким было положение вещей в последние недели нашей жизни в Хейлшеме.

Часть вторая

Глава десятая

Еду иногда по длинной извилистой дороге в болотистых местах или мимо одного расчерченного бороздами поля за другим, небо большое, серое и одинаковое миля за милей, и ловлю себя на том, что думаю о сочинении, которое должна была писать тогда, в Коттеджах. В последнее наше лето в Хейлшеме опекуны все время говорили нам про эти сочинения и старались помочь каждому выбрать тему, которая дала бы ему занятие на год, а то и на два. Но почему-то — может быть, из-за каких-то интонаций у опекунов — никто в важность этих сочинений по-настоящему не верил, и между собой мы о них почти не разговаривали. Перед тем как пойти к мисс Эмили сказать, что я выбрала темой викторианские романы, я, помнится, толком этот выбор не обдумывала, и видно было, что она это знает. Но она промолчала, только посмотрела изучающе, как иногда делала.

Но, когда мы поселились в Коттеджах, у сочинений появился новый смысл. Первое время, а то и гораздо дольше, все цеплялись за эти последние хейлшемские задания, дорожили ими как прощальными подарками от опекунов. Потом сочинения стали мало-помалу забываться, но поначалу они очень помогли нам в новой обстановке.

Мое сочинение, когда я сейчас о нем думаю, разворачивается у меня в уме довольно-таки подробно; иногда мне видится какой-нибудь совсем новый подход или другой набор книг и писателей, на котором я могла бы сосредоточиться. Бывает, пью кофе на станции обслуживания, смотрю через большие окна на шоссе, и ни с того ни с сего в голове всплывает сочинение. Мне становится хорошо, и вот я сижу, перебираю все мысленно... Совсем недавно даже подумалось, не вернуться ли к этой работе, когда я уже не буду помощницей и у меня появится время. Я понимаю, впрочем, что это не всерьез. Просто ностальгические мечтания в свободную минуту. Я размышляю о сочинении примерно так, как размышляла бы о какой-нибудь удачной для меня подростковой игре в раундерз или о давнишнем споре, где, возобновись он сейчас, я бы выставила новые убедительные доводы. В общем, что-то из области фантазий. Но в Коттеджах первое время, повторяю, было не так.

Из тех, кто уехал из Хейлшема тем летом, в Коттеджи попало восемь человек. Другие отправились кто в валлийские холмы в Белый особняк, кто в Дорсет на Тополиную ферму. Мы не знали тогда, что к Хейлшему все эти места имеют лишь косвенное отношение. В Коттеджах мы ожидали увидеть нечто вроде Хейлшема, только для старших, и мне кажется, что некоторое время мы продолжали так на них смотреть и после приезда. Разумеется, мы почти не думали ни о нашей бу-

дущей жизни вне Коттеджей, ни о том, кто ими ведает и как они вписываются в большой мир. Никого из нас эти вопросы тогда не занимали.

Коттеджи были остатками фермы, которая не действовала как ферма уже много лет. Вокруг старого дома там стояли переоборудованные для жилья амбары, надворные постройки, конюшни. Имелись и другие строения, большей частью на отшибе, которые практически разваливались и были мало на что годны, но за которые мы смутно чувствовали себя в ответе — главным образом из-за Кефферса. Так звали ворчливого пожилого типа, который два-три раза в неделю приезжал в заляпанном грязью фургончике по хозяйственным делам. Разговаривать он с нами не особенно любил, и в том, как он ходил повсюду, вздыхая и с отвращением качая головой, читалось, что мы, по его мнению, и близко не делаем того, что здесь необходимо. Но чего именно он еще от нас хочет, понять было невозможно. Когда мы приехали, он показал нам список обязанностей, и те, кто появился в Коттеджах до нас, — "старожилы", как назвала их Ханна, — давно уже составили график дежурств, которого мы добросовестно придерживались. Помимо этого, мы мало на что были способны — разве только сообщать о протечках и вытирать после них лужи.

В старом фермерском доме — главном здании Коттеджей — было несколько каминов, которые мы могли топить дровами, хранившимися в сараях. Еще имелись большие ящичного типа обогреватели, но закавыка с ними была та, что они работали от газовых баллонов, а Кефферс, если только не было уж совсем холодно, много их не привозил. Мы постоянно просили его оставить нам приличный запас, но он угрюмо качал головой, как будто был уверен, что мы начнем жечь газ напрасно или даже устроим взрыв. Мне вспоминаются поэтому, если не считать лета, долгие месяцы, когда было зябко. Ходили в двух, а то и в трех свитерах, ткань джинсов была холодной, жесткой. Иной раз по целым дням не снимали резиновых сапог, от которых по полу тянулись разводы грязи и сырости. Кефферс, видя это, опять-таки качал головой, но когда мы спросили его, как еще нам ходить по таким полам, ничего не ответил.

Картина у меня сейчас вышла непривлекательная, но никого из нас неудобства не смущали вовсе — прелесть Коттеджей от них только возрастала. Правда, если бы мы были до конца честными, то признались бы, особенно ближе к началу, что нам недостает опекунов. Первое время некоторые даже пытались вообразить себе в подобном качестве Кефферса, но он знать ничего такого не желал. На тех, кто подходил к нему здороваться, когда он приезжал в своем фургончике, он смотрел как на сумасшедших. Но об этом нам говорили до переезда много раз: после Хейлшема опекунов уже не будет, и нам придется самим думать друг о друге. В целом, должна сказать, Хейлшем неплохо подготовил нас по этой части.

Из тех, с кем я дружила в Хейлшеме, большинство оказалось тем летом в Коттеджах. Что касается Синтии И., которая назвала меня в комнате творчества полноправной преемницей Рут, — против нее я бы тоже не возражала, но она поехала со своей компанией в Дорсет. Гарри, с которым я чуть было не сошлась, отправился, я слышала, в Уэльс. Но все наши по-прежнему были вместе. И мы могли говорить себе, что, если очень захочется увидеть кого-нибудь из остальных, ничто не мешает

поехать в гости. Несмотря на все уроки с картами, которые вела мисс Эмили, мы не имели тогда ни малейшего реального понятия о расстояниях и о том, легко или трудно добраться до того или иного места. Мы обсуждали между собой возможность напроситься в попутчики к старожилам, когда они куда-нибудь поедут, размышляли вслух, что сами потом научимся водить и сможем навещать знакомых когда нам вздумается.

Разумеется, на практике, особенно в первые месяцы, мы редко выбирались за пределы Коттеджей. Даже по окрестностям не гуляли и не забредали в ближайшую деревню. Пожалуй, дело тут не в страхе как таковом. Мы все знали, что останавливать нас никто не будет, главное — вернуться не позже дня и часа, которые мы укажем в журнале Кефферса. В то первое лето мы часто видели, как старожилы паковали сумки и рюкзаки и с пугающей беззаботностью отбывали на два, на три дня. Мы изумленно смотрели на них, думая: неужели следующим летом мы будем вести себя как они? Так оно, разумеется, и вышло, но в те начальные дни это казалось невозможным. Не забывайте, что территорию Хейлшема мы никогда не покидали, и теперь мы попросту были в замешательстве. Скажи мне кто-нибудь тогда, что довольно скоро я не только заведу привычку совершать далекие одинокие прогулки, но и начну учиться водить машину, я бы решила, что он сумасшедший.

Даже Рут выглядела растерянной в тот солнечный день, когда микроавтобус доставил нас к фермерскому дому, высадил, потом обогнул маленький пруд и скрылся из виду, поднимаясь по склону. Мы видели дальние холмы, которые напоминали нам дальние холмы вокруг Хейлшема, но казались странно искривленными, как если ты нарисуешь портрет друга и он выйдет похожим, но не совсем, и от лица на бумаге у тебя поползут мурашки. Но по крайней мере было лето — Коттеджи выглядели приветливей, чем несколько месяцев спустя, когда лужи заледенели и земля стала сухой, твердой, шершавой. Место казалось красивым и уютным, и всюду, к чему мы не привыкли, росла неподстриженная трава. Мы, восемь человек, стояли кучкой, смотрели, как Кефферс входит в дом и выходит обратно, и ожидали, что он вот-вот к нам обратится. Но он все не обращался, до нас долетали только странные брюзгливые высказывания в адрес тех, кто уже здесь жил. Один раз, когда он пошел что-то взять из своей машины, он бросил на нас угрюмый взгляд, потом вернулся в большой дом и захлопнул за собой дверь.

Чуть погодя, однако, старожилы, которых немножко повеселил наш жалкий вид, вышли и занялись нами (примерно так же повели себя и мы на следующее лето). Теперь я понимаю, что они хорошо постарались помочь нам обжиться. И тем не менее в первые недели нам было очень даже не по себе, и мы были рады, что приехали все вместе. Мы повсюду ходили одной компанией и немалую часть дня бессмысленно толклись перед большим домом, не зная, чем заняться.

Первоначальное наше пугливое смятение кажется теперь довольнотаки забавным: когда я думаю о двух годах в Коттеджах, начало не вяжется со всем последующим. Если кто-нибудь заговаривает сейчас при мне о Коттеджах, вспоминаются беззаботные дни с хождением туда-сюда по комнатам, ленивое перетекание послеполуденного времени в вечер, а вечера в ночь. Вспоминается моя кипа старых книжек в бумажных обложках с волнистыми, точно из морской глубины, страницами.

Вспоминается, как я их читала, лежа теплыми днями на траве и поминутно отводя падающие на глаза волосы, которые я тогда отращивала. Вспоминается, как я просыпалась в своей каморке под крышей Черного амбара от голосов моих однокашников, споривших с утра пораньше о поэзии и философии; вспоминаются долгие зимы, завтраки на кухнях, наполненных паром, сбивчивые разговоры за столом о Кафке и Пикассо. За завтраком всегда обсуждали что-нибудь такое — ни в коем случае не кто с кем сегодня спал или почему Ларри и Элен не разговаривают друг с другом.

И все-таки у меня сейчас возникает чувство, что в чем-то эта картина — мы, сбившиеся в кучку перед фермерским домом, — не так уж несообразна. Потому что, может быть, в каком-то смысле мы далеко не так хорошо это преодолели, как раньше думали. Потому что в глубине что-то в нас такое осталось: страх перед окружающим миром и, как бы мы себя за это ни презирали, неспособность отпустить друг друга окончательно.

Старожилы, которые ничего, разумеется, не знали об истории взаимоотношений Томми и Рут, считали их прочной парой со стажем, и Рут это радовало бесконечно. В первые недели после приезда она усиленно всем все показывала: то и дело обнимала Томми одной рукой, а порой и целовалась с ним в углу, когда в комнате были люди. В Хейлшеме такое поведение, может, и было в порядке вещей, но в Коттеджах оно казалось детским. Пары старожилов никогда напоказ ничего не делали, вели себя сдержанно, как мать и отец в нормальной семье.

Между прочим, я кое-что у этих пар заметила, чего Рут, при всем ее внимании к ним, не разглядела: очень многие внешние черты своего поведения они усвоили из телепередач. Впервые я это вывела из наблюдений за Сюзи и Грегом — они, вероятно, были старшими в Коттеджах и считались за "главных". Когда Грег по своей привычке пускался в долгие рассуждения о Прусте или о ком-нибудь еще, Сюзи улыбалась остальным, заводила глаза и еле слышно, но очень выразительно произносила: "Боже всемогущий!" В Хейлшеме нас по части телевидения довольно строго ограничивали, да и в Коттеджах, где можно было смотреть хоть день напролет, мы не очень часто сидели перед экраном. Изредка тем не менее я что-то смотрела — один старый телевизор был в большом доме, другой в Черном амбаре. Так вот, этот "Боже всемогущий" был взят из американского сериала — одного из тех, где невидимая публика хохочет по поводу всего, что персонажи говорят и делают. Там была одна толстая женщина, соседка главных героев, которая вела себя в точности как Сюзи: когда ее муж принимался разглагольствовать, публика только и ждала, что сейчас она закатит глаза и скажет: "Боже всемогущий!" — тут все дружно взрывались хохотом. Приметив это, я стала обращать внимание и на остальное, что пары старожилов позаимствовали из телевидения: какие у них жесты, как они сидят вместе на диване, даже как спорят и в сердцах кидаются прочь из комнаты.

Но я хотела сказать о другом: очень быстро Рут сообразила, что многое с Томми делает не так, как принято в Коттеджах, и начала менять их манеру поведения на людях. Особенно запомнился мне один жест, который она переняла у старожилов. В Хейлшеме, если пара разлучалась, пусть даже на несколько минут, это становилось пово-

дом для больших объятий и нежностей. А в Коттеджах прощание происходило почти без слов, не говоря уже о поцелуях и прочем. Вместо всего этого — легкий удар костяшками согнутых пальцев по руке чуть повыше локтя, словно чтобы привлечь к себе внимание. Обычно это делала девушка в самый момент расставания. К зиме обычай сошел на нет, но когда мы приехали, он пышно цвел, и вскоре Рут стала так прощаться с Томми. Он, надо сказать, поначалу не разобрался и резко поворачивался к ней с вопросом: "Что?" — так что ей приходилось бросать на него яростный взгляд, как будто они на сцене и он забыл свою роль. В конце концов, я думаю, она втолковала ему, что к чему, и спустя примерно неделю они уже делали все более или менее правильно, примерно так, как пары старожилов.

Хотя по телевизору я такого способа прощаться не видела, я была почти уверена, что позаимствован он оттуда, и была уверена, кроме того, что Рут этого не понимает. Вот почему, когда я читала на траве "Даниэля Деронда"[1], а Рут пришла и меня рассердила, я решила, что пора ей объяснить.

Приближалась осень, и становилось прохладно. Старожилы все больше времени проводили в помещении и в целом возвращались к тому, чем занимались до лета. Но мы, недавно приехавшие из Хейлшема, попрежнему сидели на некошеной траве, желая продлить сколько возможно то единственное занятие, какое пока что у нас здесь было. В тот день, однако, читающих на траве было, кроме меня, всего трое или четверо, и поскольку я постаралась найти для себя спокойный уголок, точно могу сказать, что моего разговора с ней никто не слышал.

Я лежала на куске старого брезента, читала, скажу еще раз, "Даниэля Деронда" — и тут ко мне, гуляя, подошла Рут и села рядом. Взглянула на обложку моей книги и кивнула сама себе. Затем, спустя примерно минуту, она, как я и предполагала, принялась пересказывать мне сюжет. До того момента настроение у меня было отличное, и я рада была увидеть Рут, но теперь она меня раздосадовала. Раньше она тоже так поступала — и со мной пару раз, и с другими при мне. Во-первых — этот простосердечно-небрежный тон, таким она его делала, как будто искренне считала, что ей должны быть благодарны за помощь. Уже тогда, надо сказать, я начинала догадываться, что́ за этим стоит. В те первые месяцы мы каким-то образом пришли к мысли, что своего рода показателем состояния твоих дел в Коттеджах — хорошо ты *справляешься* или нет — служит количество прочитанных книг. Странновато, но что было, то было — такое у нас, недавно прибывших из Хейлшема, создалось представление. И мы нарочно вокруг всего этого напускали туману — напоминает, честно говоря, то, как мы в Хейлшеме говорили о сексе. Ходишь, скажем, и даешь всем понять, что читала одно и другое, знающе киваешь, когда при тебе упоминают, например, "Войну и мир", и общее настроение было такое, что проверять, не пускаешь ли ты пыль в глаза, никто не станет. Не забывайте, что после переезда мы очень много времени проводили вместе, и незаметно ни для кого прочесть "Войну и мир" было невозможно. Но, как и по поводу секса в Хейлшеме, действовало молчаливое соглашение, допускавшее, что су-

1. Роман английской писательницы Джордж Элиот (наст. имя Мэри Энн Эванс; 1819–1880), в котором она затрагивает "еврейский вопрос".

ществует какое-то таинственное измерение, куда мы переносимся читать все эти книги.

Это была, получается, маленькая игра, в которой мы все в той или иной мере участвовали. Но Рут зашла в ней дальше всех. Какую бы книгу кто ни читал, она всегда якобы ее уже закончила, и ей одной казалось, что хороший способ продемонстрировать свою начитанность — это пересказывать людям сюжеты книг, которые они еще не дочитали. Вот почему, когда она это начала с "Даниэлем Деронда", я, хотя книга мне не слишком нравилась, захлопнула ее, села и без всякой подготовки сказала:

— Рут, я хотела тебя спросить. Почему всякий раз, когда ты прощаешься с Томми, ты трогаешь его руку — вот так? Поняла меня?

Разумеется, она ответила, что не поняла, и я терпеливо объяснила. Выслушав, Рут пожала плечами.

— А я и не замечала за собой. Переняла, наверно, у кого-то.

Несколькими месяцами раньше я этим удовольствовалась бы — или, скорее, вообще не стала бы спрашивать. Но в тот день я не желала униматься и принялась втолковывать ей, что это из телесериала:

— Не стоило бы этому подражать. Если ты думаешь, что так делают там, в нормальной жизни, ты ошибаешься.

Рут, я видела, уже разозлилась, но не знала пока что, как отбиваться. Она отвела взгляд и опять пожала плечами.

— Ну и что? — сказала она. — Подумаешь, важность. Многие так прощаются.

— Ты хочешь сказать — так прощаются Крисси и Родни.

Едва я это произнесла, я поняла, что совершила ошибку. Пока я не упоминала эту пару, Рут была зажата в углу, но теперь я ее выпустила. Как в шахматах, когда снимаешь после своего хода руку с фигуры, видишь оплошность и паникуешь, потому что еще не знаешь величину бедствия, которое на себя навлекла. В глазах Рут я отчетливо увидела блеск, и когда она заговорила, тон уже был совершенно другой.

— А, так вот, значит, что беспокоит нашу бедную маленькую Кэти. Рут мало внимания на нее обращает. У Рут появились друзья постарше, и крошке сестренке теперь не с кем играть...

— Может, хватит, а?.. Во всяком случае в настоящих семьях так не делают. Ты понятия о них не имеешь.

— А Кэти у нас — большой специалист по настоящим семьям. Снимаю шляпу. Но я ведь не ошиблась, согласись. Ты еще не выкинула это из головы. Мы, хейлшемские, должны, по-твоему, держаться вместе, отдельной сплоченной компанией, и никаких новых друзей заводить не имеем права.

— Я ничего такого не говорила. Я говорила про Крисси и Родни. Это очень глупо выглядит — как ты все за ними повторяешь.

— Но ведь я права? Права? — наседала Рут. — Тебя огорчает, что я продвинулась, завела новых друзей. Некоторые старожилы даже по имени тебя не знают, и не они в этом виноваты. Ты ни с кем, кроме хейлшемских, не разговариваешь. Но с какой стати я буду все время водить тебя за руку? Мы почти два месяца уже здесь.

Я не клюнула — продолжала свое:

— Я не о себе говорю и не о Хейлшеме, а о том, что ты все время ставишь Томми в трудное положение. Я наблюдала, ты несколько раз так делала за одну эту неделю. Уходишь, бросаешь его, и он как потерян-

ный. Это нечестно! Ведь вы пара с Томми. И это значит, что о нем ты должна думать в первую очередь.

— Совершенно верно, Кэти, мы действительно пара. И раз уж ты в это решила влезть, я тебе скажу. Мы говорили с Томми и согласились, что, если ему иногда неохота чем-нибудь заниматься с Крисси и Родни — вольному воля. Не готов он к чему-то — принуждать его я не собираюсь. Но мы договорились еще, что меня он удерживать не будет. Вот так. А твоей заботой о нем я очень тронута.

Потом, совсем другим тоном, она добавила:

— Между прочим, должна поправиться. По крайней мере с *некоторыми* старожилами ты, по-моему, дружбу завела.

Она посмотрела на меня изучающе — и рассмеялась, словно бы говоря: "Но ведь мы по-прежнему подруги, да?" Я, однако, в ее последнем замечании ничего смешного не увидела. Взяла книгу и ушла, не говоря ни слова.

Глава одиннадцатая

Надо объяснить, почему меня так задело это высказывание Рут. Те первые месяцы в Коттеджах были странным периодом нашей дружбы. Из-за каких только мелочей мы не ссорились! И в то же время мы были откровенней друг с другом, чем когда-либо. Прежде всего вспоминаются эти разговоры один на один, обычно перед сном в Черном амбаре, наверху, в моей комнате. Вы можете, конечно, назвать это пережитком наших разговоров после отбоя в хейлшемской спальне. Так или иначе, сколько бы я и Рут ни ругались днем, наступает вечер — и мы сидим бок о бок на моем матрасе, прихлебываем горячий чай и делимся задушевными переживаниями по поводу нашей новой жизни. Ничего подобного раньше у нас не бывало. Эти излияния, да и сама наша дружба в то время были возможны благодаря тому, что каждая из нас знала: ко всему сказанному в эти минуты другая отнесется бережно и уважительно, не обманет доверия и, как бы мы ни цапались потом, не использует услышанное как оружие. Между нами было четкое, хоть и ни разу не высказанное вслух, соглашение на этот счет, и до разговора, начавшегося с "Даниэля Деронда", ни одна из нас даже близко не подошла к тому, чтобы его нарушить. Вот почему, когда Рут произнесла эту фразу про мои отношения с некоторыми старожилами, я не просто рассердилась. Я восприняла это как предательство. Потому что было совершенно ясно, на что она намекает: на одно мое вечернее признание о сексуальных делах.

В Коттеджах, как вы, наверно, себе представляете, секс отличался от того, что было в Хейлшеме. Он был теперь гораздо более непосредственным — более "взрослым", что ли. Никто не сплетничал и не хихикал по поводу того, кто, когда и с кем. Если вдруг становилось известно, что у парня с девушкой что-то было, никто не пускался в догадки, будут они постоянной парой или нет. И если новая пара возникала, никто не говорил об этом точно бог знает о каком событии. Люди спокойно это принимали, вот и все, просто теперь, упоминая одного, упоминали и другого: "Крисси и Родни", "Рут и Томми". Если кто-то хотел заняться сексом с тобой, это тоже проявлялось куда более непосредственно. Парень просто подходил и спрашивал, не хочешь ли ты "для

разнообразия" переночевать у него в комнате, что-нибудь в этом роде, ничего такого особенного. Иногда это означало, что он хочет составить с тобой пару, иногдадело ограничивалось одной ночью.

Атмосфера, повторяю, была намного более взрослая. Но сейчас мне кажется, что секс в Коттеджах был в какой-то мере функциональным. Может быть, как раз из-за того, что не стало всех тех сплетен и той секретности. А может быть, из-за холода.

В Коттеджах, как мне сейчас вспоминается, сексом занимались в кромешной тьме в очень холодных спальнях, обычно под тоннами одеял, которые часто были даже и не одеялами, а чем попало — старыми шторами, кусками ковра. Стужа иногда стояла такая, что наваливали на себя все подряд, и если у тебя в такой постели был секс, казалось, будто тебя трамбует гора постельных принадлежностей, так что не всегда было понятно, с парнем ты или со всем этим нагромождением.

Но я хотела скорее не об этом, а о том, что за первые месяцы в Коттеджах я несколько раз сходилась то с одним, то с другим на одну ночь. Не то чтобы у меня план такой был. Мой план был — не спешить, осмотреться и потом, может быть, составить пару с человеком, которого я вдумчиво выберу. Пару я ни с кем раньше никогда не составляла, и, понаблюдав за другими, особенно за Рут и Томми, я любопытствовала и была не прочь попробовать сама. Таким, повторяю, был мой план, но когда оказалось, что сближения на одну ночь продолжают происходить, это немножко выбило меня из колеи. Вот почему однажды вечером, когда Рут была у меня, я решила с ней поделиться.

Во многом это был типичный наш вечерний разговор. Мы сидели рядышком на моем матрасе с кружками чая, слегка пригнув головы, чтобы не задеть стропила. Беседовали о разных парнях в Коттеджах и о том, подойдет ли кто-нибудь из них мне. Рут была на высоте: говорила массу всего ободряющего, смешного, тактичного, умного. Потому-то я и решила сказать ей о своих мимолетных близостях. Объяснила, что вначале шла на них без настоящего, сильного желания и что, хотя детей у нас от этого быть не может, секс, как и предупреждала мисс Эмили, странно подействовал на мои чувства. Потом я сказала:

— Рут, я вот о чем хочу спросить. Бывает у тебя, что тебе просто позарез это нужно? Что ты готова чуть не с кем угодно?

Рут пожала плечами.

— У меня есть Томми. Если мне надо, я с ним этим занимаюсь.

— Да, конечно. Похоже, это я одна такая. Что-то у меня, наверно, там не в порядке. Потому что иногда мне это ну вот так необходимо.

— Надо же, Кэти, как странно.

Она озабоченно на меня посмотрела, из-за чего я встревожилась еще больше.

— Значит, у тебя никогда такого не было.

Она опять пожала плечами.

— Чтобы все равно с кем — нет. Чудно́ звучит то, что ты говоришь. Но, может быть, со временем это у тебя пройдет.

— Бывает, долго-долго совсем ничего такого не чувствую. И вдруг пожалуйста. Первый раз вот как было: он начал меня тискать, и я просто хотела, чтобы он отстал. Потом ни с того ни с сего накатило — ничего не могла с собой поделать. Надо, и все тут.

Рут покачала головой.

— Да, странно, очень странно. Но я думаю, это временное. Может быть, все из-за того, что здесь другое питание.

Грандиозной помощи Рут мне не оказала, но сочувствие проявила, и после того вечера мне сделалось чуть полегче. Вот почему для меня таким ударом стал ее намек на это в конце нашего напряженного разговора на траве. Хотя из посторонних услышать ее замечание никто, конечно, не мог, в том, как она его сделала, было что-то очень неправильное. Дружба наша в те первые месяцы в Коттеджах сохранялась потому, что, для меня по крайней мере, существовали две разные Рут. Одна Рут все время стремилась произвести впечатление на старожилов и спокойно игнорировала меня, Томми и кого бы то ни было, кто, по ее мнению, мешал ей развернуться. Эту Рут, не доставлявшую мне никакой радости, напускавшую на себя важность, я видела каждый день со всем ее притворством, с пресловутым прощальным прикосновением к локтю. Но Рут, которая, вытянув ноги за край моего матраса, держа обеими руками дымящуюся кружку, сидела около меня по вечерам в моей чердачной каморке, — это была Рут из Хейлшема, и, что бы ни случилось за день, я могла просто-напросто начать с ней с того места, где мы кончили, когда сидели так в прошлый раз. И до того разговора на траве было четкое соглашение, что эти две Рут существуют отдельно, что той из них, кому я перед сном делала признания, я могу вполне доверять. Вот почему ее слова о моей дружбе "с некоторыми старожилами" так меня расстроили. Вот почему я взяла книгу и молча ушла.

Но когда я сейчас об этом думаю, я в какой-то мере способна встать на точку зрения Рут. Я вижу, например, что она *меня* могла считать стороной, которая первой нарушила соглашение, и что свой маленький укол она, может быть, рассматривала как законный ответ. В то время это ни разу мне не приходило в голову, но теперь я допускаю такую возможность и такое объяснение случившегося. Ведь перед тем как она это сказала, я с неудовольствием говорила ей о модном способе прощаться, который она взяла на вооружение. Мне трудновато сейчас это объяснить, но некое соглашение о том, как она может вести себя со старожилами, между нами определенно было. Да, она часто блефовала и намекала на всякое-разное, чего, я знала, в действительности не было. Иногда, повторяю, она пыталась произвести впечатление на старожилов за наш счет. Но мне кажется, на каком-то уровне сознания Рут полагала, что делает это *от имени всех нас*. И моя задача как ближайшей подруги состояла в том, чтобы оказывать ей молчаливую поддержку, словно она выступает на сцене, а я сижу в первом ряду. Она стремилась стать кем-то еще и, вероятно, пребывала в большем напряжении, чем кто-либо из нас: она, повторяю, в каком-то смысле взяла на себя ответственность за нас всех. Если это так, то мои слова о прикосновении к локтю она могла воспринять как измену, и ответный выпад мог показаться ей вполне оправданным. Как я уже сказала, это объяснение пришло мне в голову только недавно, а тогда я и не пыталась увидеть более общую картину и свое место в ней. Я вообще, по-моему, недооценивала в то время усилие Рут как таковое — усилие, которое она прилагала к тому, чтобы продвинуться, повзрослеть, оставить Хейлшем позади. Думаю об этом сейчас и вспоминаю то, что она мне однажды сказала, когда я помогала ей в центре реабилитации в Дувре. Мы сидели в ее палате, смотрели по нашему обыкновению на закат, пили минеральную

воду, ели печенье, и я говорила ей, что у меня в однокомнатной квартире есть сосновый ящик, где я до сих пор храню большую часть вещей из моего старого хейлшемского коллекционного сундучка. А потом я так просто, не пытаясь ее ни к чему подвести, ничего особенного не имея в виду, заметила:

— А у тебя ведь, кажется, после Хейлшема коллекции не было.

Рут, сидевшая в кровати, долго молчала, и кафельную стену позади нее освещал закат. Потом она сказала:

— Помнишь, опекуны перед нашим отъездом несколько раз говорили, что мы можем взять коллекции с собой. Ну, я и вынула все из сундучка и положила в дорожную сумку. Думала найти потом в Коттеджах хороший деревянный ящик. Но приехали, и я увидела, что ни у кого из старожилов коллекции нет. Значит, это только наше, значит, ненормально. Мы все, наверно, это отметили, не я одна, но обсуждать толком не стали, правда? В общем, я решила, что никакого ящика мне не нужно. Так все и лежало в сумке месяц за месяцем, а потом я это выбросила.

Я уставилась на нее.

— Ты выкинула коллекцию в помойку?

Рут покачала головой и некоторое время, казалось, перебирала мысленно предметы из той коллекции. Наконец сказала:

— Я вывалила все в мешок для мусора, но отправить этот мешок в помойку рука не поднималась. Так что я попросила однажды Кефферса, когда он собирался уезжать, взять мешок и отвезти в магазин. Я знала, что есть благотворительные магазины, я выяснила заранее. Кефферс покопался немного в мешке, он не понимал, что это все такое и зачем, да и как ему было понять, потом усмехнулся и сказал, что никакой магазин этого не возьмет. Но я говорю — здесь неплохие вещи, очень даже неплохие. Тут он увидел, что я переживаю, и изменил тон. Сказал: "Ладно, так и быть, отвезу в Оксфам[1]". Потом сделал над собой уж совсем большое усилие и говорит: "А вообще-то, теперь я рассмотрел, тут и правда есть вещи ничего". Хотя прозвучало не очень убедительно. Я думаю, он выкинул мешок по дороге. Но по крайней мере я этого не видела.

Потом она улыбнулась:

— Ты-то другая была. Я помню. Ты из-за своей коллекции не переживала и сохранила ее. Я жалею теперь, что не поступила так же.

Мы все, я хочу сказать, старались приспособиться к новой жизни, и все, по-моему, совершали поступки, о которых потом жалели. То высказывание Рут меня действительно всерьез огорчило, но бессмысленно сейчас судить ее и кого бы то ни было за поведение в первые месяцы жизни в Коттеджах.

С приходом осени я почувствовала, что потихоньку осваиваюсь, и начала обращать внимание на то, на что раньше не обращала. Я отметила, например, странное отношение к тем, кто недавно уехал. Старожилы то и дело рассказывали всякие забавные вещи про обитателей Белого особняка и Тополиной фермы, которых они встречали во время поездок туда, но почти никогда не упоминали о своих бывших однокашни-

1. Оксфам — благотворительная организация с центром в Оксфорде, которая занимается оказанием помощи голодающим и пострадавшим от стихийных бедствий.

ках и близких друзьях, покинувших Коттеджи незадолго до нашего приезда.

И еще я заметила, — мне понятно было, что одно с другим связано, — каким молчанием старожилы окружали отправлявшихся на "курсы", о которых даже мы, новенькие, знали, что там учат помогать донорам. За те четыре-пять дней, что люди отсутствовали, о них практически не говорили, а после возвращения их никто ни о чем по-настоящему не спрашивал. Допускаю, что они могли о чем-то рассказывать наедине близким друзьям, но заводить разговор об этих поездках в компании было точно не принято. Помню, однажды утром сквозь запотевшие окна кухни я увидела двоих старожилов, отправлявшихся на курсы, и подумала, что, может быть, весной или летом они уедут насовсем и мы будем избегать упоминания о них.

Но я не хочу сказать, что об уехавших совсем ничего нельзя было говорить. Если надо было, о них упоминали — большей частью, правда, косвенно, в связи с каким-нибудь предметом или занятием. Например, при починке водосточной трубы могла быть масса разговоров о том, "как это делал Майк". Около Черного амбара был пень, который все называли "пнем Дейва", потому что три года с лишним, вплоть до своего отъезда за несколько недель до нашего появления, он подолгу на нем сидел — читал, писал, бывало, даже в дождь и холод. Но самой, наверно, памятной личностью был Стив. Толком никто из нашей компании ничего об этом Стиве не узнал, за исключением того факта, что он любил порножурналы.

Иной раз в Коттеджах можно было наткнуться на какой-нибудь порножурнал, который находили за диваном или в кипе старых газет. Это было так называемое "мягкое" порно, хотя тогда мы в этих различиях не разбирались. Раньше мы никогда такого не видели и теперь не знали, как к этому относиться. Старожилы, если им попадался такой журнал, смеясь небрежно пролистывали его и со скучающим видом отбрасывали, и мы, глядя на них, стали поступать так же. Когда я и Рут несколько лет назад про это вспоминали, она сказала, что в Коттеджах циркулировали десятки порножурналов. "Никто не признавался, что ему нравится, — заметила она. — Но ты же помнишь, как это было. Если в комнате оказывался журнал, все делали вид, что это скука смертная. Потом выйдешь, через полчаса вернешься — журнала нет".

Я, собственно, потому об этом начала, что про всякий такой журнал в Коттеджах говорили, что это из "коллекции Стива", другого источника, по общему мнению, быть не могло. Больше, повторяю, о Стиве нам почти ничего не было известно. Уже в то время мы, однако, видели здесь и смешную сторону, так что, когда кто-то показывал пальцем и говорил: "Гляньте-ка, журнальчик Стива", в голосе слышалась ирония.

Старого Кефферса эти журналы приводили в бешенство. Поговаривали, что он верующий и категорически против не только порнографии, но и секса вообще. Иногда он выходил из себя совершенно: щеки под седыми бакенбардами краснели от гнева, он громко топал по всем помещениям, врывался в комнаты без стука, решительно настроенный выловить все "журнальчики Стива" до единого. Мы потешались над ним изо всех сил, но что-то в нем в таком настроении было действительно пугающее. Его обычное ворчание вдруг прекращалось, и сама эта тишина вокруг него как-то тревожила.

Помню один случай, когда Кефферс собрал по комнатам шесть-семь "журнальчиков" и устремился с ними к своей машине. Мы с Лорой смотрели на него сверху, из окна моей спальни, и от какой-то Лориной шутки я засмеялась. Потом я увидела, как он открывает дверцу фургончика, и, видимо, потому, что ему нужно было что-то внутри передвинуть и понадобились обе руки, он положил журналы на кирпичи около котельной (кое-кто из старожилов несколькими месяцами раньше хотел соорудить там барбекю). Пригнувшись и засунув в машину голову и плечи, Кефферс копался там и копался, и что-то мне подсказало, что, несмотря на всю ярость, которой он пылал минуту назад, про журналы он теперь забыл. Я не ошиблась: чуть погодя он выпрямился, сел за руль, захлопнул дверцу и поехал.

Когда я показала Лоре на забытые им журналы, она сказала:

— Долго они там не пролежат. Придется ему опять их собирать, когда решит устроить новую чистку.

Но, проходя мимо котельной примерно через полчаса, я увидела, что журналы лежат нетронутые. Я подумала было, не унести ли их к себе в комнату, но потом сообразила, что, если их там обнаружат, насмешкам не будет конца; объяснить людям, зачем они мне понадобились, не было никакой возможности. Поэтому я взяла журналы и пошла с ними в котельную.

Котельная представляла собой сарай, пристроенный к фермерскому дому и забитый старыми косилками, вилами и другим барахлом, которое, по мнению Кефферса, не должно было так легко загореться, если котел вдруг надумает взорваться. Еще у Кефферса был там верстак, и я положила на него журналы и взгромоздилась сама, отодвинув какие-то тряпки. Света было маловато, но как раз позади меня находилось грязное окно, и, открыв первый журнал, я поняла, что фотографии разглядеть можно.

Там было множество снимков девушек, раздвинувших ноги или выставивших зад. Раньше, должна признать, я, глядя на такие картинки, иной раз испытывала возбуждение, хотя заняться этим с девушкой мне и в голову никогда не приходило. Но в тот день меня интересовало совсем другое. Я перелистывала страницы быстро, не желая отвлекаться ни на какие сексуальные впечатления. Честно говоря, я почти не замечала тел со всеми их позами, потому что была сосредоточена на лицах. Не пропускала даже маленьких боковых рекламок видеофильмов или чего-то там еще: прежде чем листать дальше, всматривалась в лицо каждой модели.

Я приближалась уже к концу стопки, когда мне стало ясно, что за дверью котельной кто-то стоит. Я оставила дверь открытой, во-первых, потому, что она всегда была открыта, во-вторых, для света; просматривая журналы, я два раза уже поднимала голову, потому что мне чудился какой-то шорох. Но в дверном проеме никого видно не было, и я продолжала листать. Теперь, однако, я не сомневалась и, опустив журнал, шумно вздохнула — так, чтобы наверняка услышали.

Я ожидала хихиканья или даже что в котельную ворвутся двое или трое и постараются обыграть мое положение по полной программе. Но ничего такого не случилось. Поэтому я подала голос, стараясь сделать тон скучающим:

— Вот и компания мне нашлась. Кто это там такой застенчивый?

Раздался сдавленный смешок, и на пороге возник Томми.

— Привет, Кэт, — сказал он сконфуженно.

— Ну заходи же, заходи. Присоединяйся.

Он неуверенно двинулся ко мне и за несколько шагов остановился. Перевел взгляд на котел, потом сказал:

— Не знал, что тебе такое нравится.

— Что, девушкам нельзя разве?

Я по-прежнему переворачивала страницы, и несколько секунд он молчал. Потом я услышала:

— Я не шпионил за тобой. Просто увидел из своей комнаты, как ты подошла и взяла эти журналы, которые забыл Кефферс.

— Можешь и ты взглянуть после меня.

Он неловко усмехнулся.

— Да нет, ведь тут обычная эротика. Наверно, я все это уже видел.

Он еще раз усмехнулся, но, когда я подняла глаза, оказалось, что он смотрит на меня серьезным взглядом. Потом он спросил:

— Ты ищешь тут что-нибудь?

— Не поняла. Я просто рассматриваю неприличные картинки.

— Просто чтобы возбудиться?

— Можно и так сказать.

Я положила журнал и начала следующий. Потом услышала его приближающиеся шаги и взглянула на него, когда он уже был совсем рядом. Его руки беспокойно шевелились в воздухе, как будто я выполняла сложную ручную операцию и ему хотелось мне помочь.

— Кэт, не так, не так... Чтобы возбудиться, по-другому смотрят — подробно, не спеша. Так быстро ничего не получится.

— Откуда ты знаешь, как это у девушек? А, понимаю, ты, наверно, разглядывал эти картинки в обществе Рут. Прости, не сообразила.

— Кэт, что ты тут ищешь?

Я обошла вопрос молчанием. Я почти уже все пролистала и хотела поскорей дойти до конца. Потом он сказал:

— Я второй раз уже вижу, как ты это делаешь.

Теперь я все-таки отвлеклась от журнала и вскинула на него глаза.

— Томми, что происходит? Кефферс подрядил тебя в полицию нравов?

— Я не шпионил за тобой, Кэт. Я случайно увидел на той неделе, после того как мы все сидели у Чарли. Там лежал один такой журнальчик, и ты решила, что все ушли уже, что ты одна. Но я вернулся за джемпером, у Клэр дверь была открыта, и было видно, что делается в комнате Чарли. Тут-то я и засек тебя с журналом.

— Ну и что? Всем хочется чего-то такого.

— Ты не для возбуждения смотрела. Мне и тогда это было ясно, и теперь тоже. Лицо не такое. В тот раз у тебя очень странное было лицо. Печальное какое-то — и немного испуганное.

Я спрыгнула с верстака, собрала журналы и кинула ему в руки.

— Вот, держи. Отдай Рут. Может, ей пригодится.

Я прошла мимо него к двери и наружу. Я знала, что разочаровала его своей скрытностью, но к тому моменту сама толком ничего еще не обдумала и не готова была ни с кем откровенничать. Но я не досадовала на то, что он вошел ко мне в котельную. Совсем не досадовала, наоборот — было ощущение спокойствия и чуть ли не защищенности. Потом я ему все объяснила, но гораздо позже, через несколько месяцев, когда мы были в Норфолке.

Глава двенадцатая

Я хочу рассказать о поездке в Норфолк и обо всем, что случилось в тот день, но начать надо будет с вещей чуть более ранних, чтобы вы увидели ситуацию и поняли, почему мы поехали.

Наша первая зима в Коттеджах подходила к концу, и мы все к тому времени почувствовали, что более или менее обжились. Я и Рут, несмотря на кое-какие шероховатости, не оставили привычку заканчивать день разговорами за горячим чаем в моей комнате, и в один из вечеров, когда мы болтали о том о сем, Рут вдруг сказала:

— Ты слышала, наверно, что говорят Крисси и Родни.

Когда я ответила отрицательно, она усмехнулась.

— Скорее всего, они меня разыгрывают. Юмор у них такой. Ладно, не слышала — ну и бог с ним.

Но я стала допытываться, потому что видела: она хочет, чтобы я из нее это вытянула. В конце концов Рут, понизив голос, сказала:

— Помнишь, на той неделе Крисси и Родни уезжали? Они были в городе Кромере на северном побережье Норфолка.

— Что они там делали?

— По-моему, навещали кого-то из знакомых, кто раньше здесь жил. Но не в этом дело. Дело в том, что они будто бы увидели там одну... особу. Которая работает в стильном офисе с открытой планировкой. Ну и... в общем они считают, что она — "возможное я". Для меня.

Хотя большинству из нас мысль о "возможных я" приходила в голову еще в Хейлшеме, мы тогда чувствовали, что говорить на эту тему не следует, вот мы и не говорили — хотя, несомненно, она и интриговала нас, и тревожила. Даже в Коттеджах этот вопрос походя не затрагивали. Любой разговор о "возможных я" был уж точно более щекотливым, чем разговор, например, о сексе. В то же время чувствовалось, что людей эта тема волнует, иных до одержимости, и всплывала она нередко — но, как правило, в очень серьезных беседах и спорах, совершенно не похожих на наш треп, скажем, о Джеймсе Джойсе.

Главное соображение, на котором основывалась теория "возможных я", было очень простым и особых разногласий не вызывало. Речь шла примерно вот о чем. Поскольку каждый из нас — копия, снятая в тот или иной момент с нормального человека, где-то в большом мире наверняка существуют и живут своей жизнью оригиналы. Значит, есть возможность, по крайней мере теоретическая, свой оригинал разыскать. Поэтому если кто-нибудь из нас выбирался наружу, то на улицах, в торговых центрах, в придорожных кафе он приглядывался к людям в поисках сходства — в поисках "возможных я" для себя и своих друзей.

Дальше, однако, мнения расходились. Спорили, для начала, о том, на кого обращать внимание во время этих поисков. Некоторые утверждали, что "возможным я" может быть человек лет на двадцать-тридцать старше тебя — то есть нормального родительского возраста. Но другие видели здесь чистой воды сентиментальщину. С какой стати между нами и оригиналами должен быть "естественный" разрыв в одно поколение? Что запрещает брать для копирования детей, стариков? Какая разница? Им возражали, однако, что прямой смысл использовать людей на пике здоровья, то есть как раз "нормального родительского" возраста. Но здесь, чувствовали мы все, начиналась территория, куда ступать не хотелось, и спор выдыхался.

Был еще вопрос — зачем нам это вообще. По крайней мере одна крупная мысль за поисками оригинала стояла, и заключалась она в том, что, найдя его, ты сможешь заглянуть в свое будущее. Нет, никто всерьез не думал, что если ты скопирован, скажем, с железнодорожника, то в конце концов тоже пойдешь работать на железную дорогу. Не так примитивно. Но мы все, одни больше, другие меньше, верили, что, посмотрев на того, чьей копией ты являешься, ты сможешь получить *какое-то* понятие о своей глубинной сущности и, не исключено даже, о том, что тебя ждет впереди.

Иные, впрочем, всю эту озабоченность "возможными я" объявляли глупостью. Оригинал, говорили они, не имеет значения, это техническое средство, чтобы произвести нас на свет, не более того. Какой будет жизнь каждого из нас, зависит только от него самого. К этому лагерю всегда относила себя Рут, и я, пожалуй, тоже к нему тяготела. Тем не менее стоило нам услышать о "возможном я" — не важно для кого, — и мы невольно испытывали любопытство.

Насколько я помню, "возможные я" обнаруживались как-то кучно. То неделю за неделей ни единого слова о них, то вдруг кто-нибудь кого-нибудь увидит — и сразу же еще, еще, еще. Как правило, на большее чем мимолетный взгляд, нечего было и рассчитывать: лицо в проезжающей машине, такого рода впечатления. Но иной раз похоже было на что-то более серьезное — как в том случае, о котором рассказала Рут у меня в спальне.

По ее словам, Крисси и Родни стали осматривать приморский город, в который приехали, и на время разделились. Когда они опять встретились, Родни был взбудоражен и сказал Крисси, что гулял по боковым улочкам, ответвлявшимся от Главной, и на одной обратил внимание на офис с окном во всю стену. Внутри была масса сотрудников — одни работали за столами, другие ходили, беседовали. Там-то он и увидел "возможное я" для Рут.

— Как только они вернулись, Крисси явилась ко мне с этой новостью. Она заставила Родни все описать от и до, он очень старался, но наверняка тут ничего не скажешь. Потом они несколько раз предлагали меня туда отвезти, но я не знаю. Не знаю, стоит ли что-нибудь предпринимать.

Как я в тот момент отреагировала, точно не помню, но в целом я тогда отнеслась к сообщению довольно скептически. Честно говоря, я склонялась к мысли, что Крисси и Родни просто-напросто все выдумали. Я не хочу сказать о Крисси и Родни ничего особенно плохого — это было бы несправедливо. Многое в них мне, в общем-то, нравилось. Но факт есть факт: их отношение к нам, новеньким, и особенно к Рут, было далеко не простое.

Крисси при своем высоком росте выглядела очень эффектно, когда стояла выпрямившись, но, кажется, не понимала этого и почти все время сутулилась, чтобы быть как все остальные. Часто поэтому она походила скорее на ведьму, чем на кинозвезду, тем более что у нее была неприятная привычка тыкать в человека пальцем перед тем, как что-нибудь ему сказать. Она никогда не носила джинсов, только длинные юбки, и на ней были маленькие очки, как-то слишком вдавленные в лицо. Она была из тех старожилов, что по-настоящему радушно встретили нас летом, когда мы приехали, и поначалу я была очень ею

увлечена и старалась прислушиваться к ее советам. Но прошли недели, и я стала смотреть на нее более критически. Странноваты были ее постоянные упоминания о том, что мы из Хейлшема, словно этим можно было объяснить почти все, что мы говорим и делаем. И она то и дело нас что-то спрашивала о Хейлшеме – обо всяких мелочах, как сейчас меня спрашивают мои доноры, – и хотя она задавала эти вопросы как бы мимоходом, чувствовалось: ее интерес не случаен, что-то за ним кроется. И еще мне бросалось в глаза, что она часто пытается нас разделить: то отведет одного в сторонку, когда несколько человек занимаются чем-то вместе, то пригласит двоих к чему-нибудь присоединиться, оставляя двоих других не у дел, – всякое такое.

Где Крисси – там всегда был и ее бойфренд Родни. Он собирал волосы в хвостик, как рок-музыкант семидесятых годов, и много рассуждал о таких вещах, как реинкарнация. Мне он, в общем, нравился, но слишком уж сильным было влияние на него Крисси. О чем бы ни возник спор, заранее ясно было, что он возьмет ее сторону, и стоило Крисси сказать что-нибудь хоть капельку забавное, он принимался фыркать и качать головой, как будто это невероятно смешно.

Пожалуй, получилось немножко несправедливо к этой паре. Сравнительно недавно мы с Томми их вспоминали, и он очень неплохо о них отозвался. Но я просто хотела объяснить, почему так скептически отнеслась к словам Рут о том, что они якобы видели ее "возможное я". Поначалу, повторяю, я не поверила и предположила, что Крисси что-то замышляет.

И еще одной причиной, чтобы во всем этом усомниться, была сама картина, которую нарисовали Крисси и Родни: женщина, работающая в симпатичном офисе за окном во всю стену. Мне в тот момент показалось, что очень уж это смахивает на "мечту о будущем", которая, как мы знали, была тогда у Рут.

Насколько помню, той зимой "мечты о будущем" обсуждали главным образом мы, новички, хотя кое-кто из старожилов тоже в этом участвовал. Те из них, что постарше, – особенно уже приступившие к подготовке – иной раз, стоило начаться такому разговору, тихо вздыхали и выходили из комнаты, но мы этого поначалу даже и не замечали. Я не очень-то понимаю, что происходило у нас в головах, когда мы беседовали на эти темы. Скорее всего, мы знали, что всерьез о таком говорить невозможно, но чистым фантазированием это для нас, я уверена, все-таки не было. Мне кажется, это давало нам возможность, когда Хейлшем остался позади, хотя бы какие-нибудь полгода, до всех разговоров о работе помощниками доноров, до уроков вождения, до всего остального, время от времени забывать, кто мы в действительности такие, забывать, что нам говорили опекуны, забывать услышанное от мисс Люси в тот дождливый день и все теории, которые мы выработали между собой за годы. Долго, конечно, так продолжаться не могло, но, повторяю, на эти несколько месяцев мы каким-то образом смогли устроить себе уютную отсрочку, во время которой наша жизнь иной раз представлялась нам лишенной обычных ограничений. Когда я вспоминаю теперь, мне кажется, что мы множество часов провели, сидя после завтрака в наполненной паром кухне или теснясь далеко за полночь у полупогасшего камина, поглощенные обсуждением планов на будущее.

Никто из нас, однако, не брал *слишком* высоко. Не помню, чтобы кто-нибудь заявил о своем желании стать кинозвездой или чем-то подоб-

ным. Типичным был разговор о должности почтальона или о работе на ферме. Довольно многие хотели быть водителями тех или иных машин, и часто, когда об этом заходила речь, старожилы начинали сравнивать разные живописные маршруты, по которым они проезжали, излюбленные придорожные кафе, трудные развязки и тому подобное. Сейчас, конечно, я в таком разговоре многим из них сто очков вперед могла бы дать. Но тогда я только жадно слушала и голоса не подавала. Иной раз, когда время было позднее, я закрывала глаза, прислонялась к валику дивана — или к плечу молодого человека, если вечер приходился на один из коротких периодов, когда я была официально "чья-то", — и то засыпала, то просыпалась, позволяя лентам дорог разматываться в моем воображении.

Возвращаясь к тому, с чего начала, скажу, что дальше всех в такой беседе часто заходила именно Рут — особенно в присутствии старожилов. Об офисах она принялась рассуждать уже в начале зимы, но по-настоящему это обрело жизнь и стало ее "мечтой о будущем" после того утра, когда мы с ней ходили в деревню.

Тогда стояли сильные холода, и мы мучились с газовыми обогревателями. Мы целые века проводили у этих ящиков, пытались зажечь газ, щелкали, щелкали без всякого толку и в конце концов на один за другим махали рукой, как и на комнаты, которые они должны были обогревать. Кефферс отказывался ими заниматься, заявлял, что это наша обязанность, но потом, когда стало холодно не на шутку, все-таки дал конверт с деньгами и написал на бумажке, какое топливо для запальных горелок надо купить. Сходить за топливом в деревню вызвались я и Рут, и морозным утром мы отправились. Когда дошли до того места, где по обе стороны дорожки высоко поднимались живые изгороди и земля была усеяна замерзшими коровьими лепешками, Рут, которая немного отстала, вдруг остановилась.

Почувствовала я это не сразу, а несколько секунд спустя, и когда обернулась, увидела, что она дует на пальцы и смотрит вниз, захваченная чем-то, что лежит у ее ног. Я подошла, решив сначала, что это какое-нибудь несчастное существо, погубленное морозом, но оказалось, что это цветной журнал — не из "журнальчиков Стива", а радостное глянцевое издание, какие получают с газетами бесплатно. Он лежал раскрытый на яркой рекламе во весь разворот, и хотя бумага намокла и один угол испачкался, видно было все хорошо: восхитительно современный офис с открытой планировкой, где трое-четверо сотрудников о чем-то друг с другом весело переговариваются. Помещение, люди — все на картинке было блестящее. Рут смотрела на нее, смотрела, а когда заметила рядом меня, сказала: "Вот где стоило бы работать!"

Потом она опомнилась — может быть, даже рассердилась, что я ее на таком поймала, — и пошла вперед гораздо быстрей, чем раньше.

Но через несколько дней, когда мы небольшой группой сидели у камина в фермерском доме, Рут заговорила о том, в каком офисе хотела бы в идеале работать, и я узнала обстановку мгновенно. Она не упустила ни одной подробности — сказала про растения, про сверкающее оборудование, про вертящиеся кресла на колесиках, — и все это было так живо и ярко, что ее слушали, не перебивая, бог знает сколько времени. Я пристально на нее смотрела, но ей, кажется, и в голову не приходило, что я могу связать одно с другим, — может быть, она и забыла, откуда взялась картина. Она сказала даже, что все в ее офисе должны быть

людьми "динамичными, целеустремленными", и мне ясно вспомнилось, что именно эти слова крупными буквами были напечатаны в верхней части фотографии: "Вы динамичны? Целеустремленны?" – что-то в этом роде. Разумеется, я молчала как рыба. И даже, слушая ее, невольно стала воображать, будто это и в самом деле возможно: в один прекрасный день мы все, может быть, отправимся в какое-нибудь такое место и дружно начнем там новую жизнь.

Были у камина, конечно, и Крисси с Родни, сидели и впитывали каждое слово. День за днем потом Крисси упорно старалась вовлечь Рут в очередной разговор об этом. Скажем, они сидят в углу, я прохожу мимо и слышу, Крисси спрашивает: "А ты уверена, что вы не будете друг друга отвлекать от работы, если окажетесь все вместе в таком учреждении?" Просто чтобы опять навести Рут на эту тему.

Насчет Крисси должна сказать – причем это относится и ко многим другим старожилам, – что, при всем ее покровительственном отношении к нам сразу после нашего приезда, она испытывала священный трепет по поводу того, что мы из Хейлшема. Я далеко не сразу это поняла. Взять, например, то, что связано с офисом Рут: сама Крисси в жизни не стала бы рассуждать о работе в офисе, тем более в таком, как этот. Но из-за того, что Рут приехала из Хейлшема, эта идея как-то вдруг оказалась в пределах осуществимого. Вот как смотрела на все Крисси, и некоторые высказывания Рут, мне кажется, подталкивали ее и других к мысли, будто неким таинственным образом мы, хейлшемские, существуем по особым правилам. Прямой лжи старожилам я, правда, от Рут никогда не слышала; просто каких-то вещей она не отрицала, на какие-то намекала. Были случаи, когда я могла устроить ей холодный душ; но если Рут и испытывала иногда замешательство, встретившись со мной взглядом посреди своего рассказа о чем-нибудь, она все равно, похоже, была уверена, что я ее не выдам. И я, конечно, не выдавала.

Вот в какой атмосфере Крисси и Родни заявили, будто видели "возможное я" для Рут, и теперь вам, может быть, понятно, почему я отнеслась к этому с недоверием. Мне не хотелось, чтобы Рут ехала с ними в Норфолк, хотя спроси меня почему – я не смогла бы толком ответить. И когда стало ясно, что она твердо решила ехать, я сказала ей, что составила бы ей компанию. Поначалу она не была в восторге, и прозвучал даже намек, что она и Томми с собой не возьмет. В результате, однако, мы отправились все впятером: Крисси, Родни, Рут, Томми и я.

Глава тринадцатая

Родни, у которого были водительские права, заранее сговорился на ферме в Метчли, милях в двух по дороге, что возьмет на день машину напрокат. Он брал так машины регулярно, но на этот раз накануне поездки что-то там у владельцев сорвалось. Уладили все довольно легко – Родни сходил на ферму и нашел на завтра другую машину, – но интересно состояние Рут в те несколько часов, когда поездка была под вопросом.

До того момента она давала понять, что вся затея для нее что-то вроде шутки, что согласилась она, если уж на то пошло, ради Крисси, чтобы доставить ей удовольствие. Еще она много рассуждала о том, что после Хейлшема нам пора наконец воспользоваться свободой и что в любом случае она давно хотела поехать в Норфолк и "найти все, что мы

потеряли". В общем, она всячески старалась показать, что к идее отыскания своего "возможного я" относится не очень серьезно.

В тот последний день перед поездкой я и Рут, помню, ходили прогуляться и потом вошли в кухню большого дома, где Фиона и еще несколько старожилов готовили в колоссальном количестве тушеное мясо. Фиона-то как раз и сказала нам, не отрываясь от стряпни, что машину дать не смогут: с фермы предупредить об этом приходил мальчик. Рут стояла чуть впереди меня, поэтому лица мне видно не было, но вся она точно окаменела. Потом, не говоря ни слова, она повернулась и, едва не задев меня, бросилась на улицу. Тут я мельком увидела ее лицо и поняла, как она расстроена. Фиона начала было: "Ох, я и понятия не имела..." — или что-то в этом роде, но я ее перебила: "Нет, Рут не из-за этого огорчена. Из-за другого, из-за того, что раньше случилось". Не самое удачное, но ничего лучшего я с ходу придумать не могла.

Потом, как я сказала, транспортная проблема разрешилась, и рано утром в полнейшей темноте мы впятером сели в побитый, но, в общем, вполне приличный "ровер". Разместились так: Крисси впереди с Родни, мы трое сзади. Это казалось естественным, никто даже особенно не раздумывал. Но всего через несколько минут, когда после темных извилистых дорожек началось нормальное шоссе, Рут, которая сидела посередине, наклонилась вперед, положила руки на спинку сиденья и принялась разговаривать со старожилами. При этом мы с Томми, сидевшие по бокам от нее, не слышали, что она говорит, и, находясь между нами, она мешала нам беседовать друг с другом и даже видеть друг друга. Иногда, в тех редких случаях, когда она откидывалась назад, я пыталась завязать разговор между нами троими, но Рут его не поддерживала и спустя некоторое время опять подавалась вперед и просовывала лицо между передними сиденьями.

Примерно через час, когда стало светать, мы остановились у большого пустого поля, чтобы размять ноги и позволить Родни справить нужду. Перепрыгнув канаву, несколько минут потоптались, потирая руки и глядя, как поднимается пар от нашего дыхания. В какой-то момент я увидела, что Рут отошла в сторонку и смотрит через поле на восходящее солнце. Я подошла к ней и предложила поменяться местами: ведь она хочет разговаривать только со старожилами, и возможность общаться по крайней мере с Крисси у нее останется, а я, чтобы скоротать дорогу, буду беседовать с Томми. Не успела я договорить, как Рут зашептала:

— И приспичило же тебе создавать проблемы именно теперь! Не могу этого понять. Зачем понадобилось мутить воду?

Тут она рывком повернула меня, чтобы мы обе стояли спиной к другим и им не видно было, что мы затеяли спор. Именно это, а не ее слова, вдруг заставило меня посмотреть на все ее глазами: я увидела, что она прилагает большие усилия, чтобы не только себя, но и всех нас выставить в правильном свете перед Крисси и Родни, — а я затеяла дурацкую сцену, которая грозит эти усилия перечеркнуть. Поняв все это, я коснулась ее плеча и вернулась к остальным. И когда садились в машину, я позаботилась, чтобы мы разместились в точности как раньше. Но теперь во время езды Рут большей частью молчала, откинувшись на спинку сиденья, и даже когда Крисси и Родни что-то спереди нам кричали, отвечала угрюмо и односложно.

Приморский город, однако, заметно поднял нам настроение. Мы приехали туда примерно ко времени ланча и оставили машину на стоян-

ке у поля для мини-гольфа, где реяло множество флажков. День оказался солнечным и бодрящим, и мне помнится, в первый час нас обуял такой телячий восторг от пребывания на воле, что о цели поездки мы почти не вспоминали. Родни в какой-то момент не удержался и, взмахнув руками, издал несколько радостных возгласов; он шел впереди по дороге, которая неуклонно поднималась вверх мимо стоявших рядами жилых домов и отдельных магазинов, и уже по громадному небу чувствовалось, что мы приближаемся к морю.

Когда дошли до него, оказалось, что дорога дальше идет по кромке утеса. Первое впечатление было, что вниз, к песчаному берегу, спуск совершенно отвесный, но, перегнувшись через перила, можно было увидеть извилистые тропинки, ведущие по крутому склону скалы к самому морю.

Нам уже очень хотелось есть, и мы вошли в маленькое кафе, пристроившееся на вершине утеса как раз у начала одной из тропинок. В кафе в этот момент были только две пухлые женщины в фартуках, которые там работали. Они курили за одним из столиков, но, увидев нас, быстро поднялись и ушли на кухню, так что мы остались в помещении одни.

Столик выбрали самый дальний от входа, то есть расположенный ближе всего к морю, и, когда сели, возникло такое ощущение, словно висишь над водой. Сравнивать мне тогда было не с чем, но теперь я понимаю, что кафе было крохотное — всего три или четыре маленьких столика. Одно окно они оставили открытым, — наверно, чтобы меньше чувствовались запахи жарки, — и время от времени в него влетал ветерок, от которого колыхались все рекламные объявления о выгодных предложениях. Одно из них, приколотое над стойкой, было написано цветными фломастерами, и в слове "ОГО!", с которого оно начиналось, каждое "О" было глазом со зрачком и ресницами. Сейчас я вижу подобное так часто, что не обращаю внимания, но тогда это было впервые, и я рассматривала надпись с восхищением, потом перехватила взгляд Рут, поняла, что она тоже в восторге, и мы обе расхохотались. Это был хороший, теплый момент, и казалось, что мы оставили позади то напряжение, которое возникло между нами в машине. Позже выяснилось, однако, что это был у меня и Рут последний такой момент за всю поездку.

С тех пор, как мы приехали в город, насчет "возможных я" не было сказано ни слова, и я ждала, что мы, когда сядем, обсудим наконец этот вопрос как следует. Но едва приступили к сандвичам, Родни заговорил об их с Крисси старом приятеле Мартине, который уехал из Коттеджей в прошлом году и теперь жил где-то в этом городе. Крисси с энтузиазмом подхватила, и оба старожила стали наперебой вспоминать всевозможные уморительные штуки, которые этот Мартин откалывал. Мы мало что понимали, но Крисси и Родни — те веселились вовсю. Смеялись, переглядывались, и хотя они делали вид, будто это все для нас, ясно было, что они предаются воспоминаниям ради собственного удовольствия. Сейчас мне кажется, что запрет, который в Коттеджах лежал на очень многом из связанного с уехавшими, возможно, мешал им разговаривать о друге даже между собой, и только новая обстановка смогла раскрепостить их таким образом.

Я смеялась, когда смеялись они, — просто из вежливости. Томми, похоже, понимал еще меньше, чем я, и неуверенные смешки, которые он издавал, всякий раз немного опаздывали. А вот Рут хохотала вовсю и, какой бы эпизод с участием Мартина они ни стали припоминать, кивала со знающим видом. Один раз, когда Крисси сказала что-то уж совсем загадочное, — примерно: "А с джинсами-то он как — помнишь?" — Рут просто покатилась со смеху и махнула рукой в нашу сторону, мол: "Им, им теперь объясни, чтобы тоже повеселились". Я все это терпела, но, когда Крисси и Родни принялись рассуждать, идти нам или не идти к Мартину на квартиру, спросила наконец — может быть, чуть холодновато:

— Что, собственно, он здесь делает? Почему у него квартира?

Молчание; затем Рут с досадой вздохнула. Крисси наклонилась ко мне через стол и негромко, терпеливо, как втолковывают ребенку, сказала:

— Он помогает донорам. Что еще он, по-твоему, мог бы здесь делать? Он теперь полноценный помощник.

Все немножко поерзали на стульях, потом я говорю:

— Я как раз об этом. Мы не можем просто взять и к нему заявиться.

Крисси вздохнула.

— Хорошо, допустим. Строго говоря, нам *не положено* посещать помощников. Строго-престрого говоря. Не рекомендуется — это уж точно.

Родни усмехнулся и добавил:

— Никоим образом не рекомендуется. Взять и заявиться — это нехорошо.

— Очень нехорошо, — подтвердила Крисси и неодобрительно покачала головой.

Тут в разговор вступила Рут:

— Кэти *терпеть не может* вести себя нехорошо. Так что не стоит нам к нему заявляться.

Томми смотрел на Рут, явно не понимая, кого она поддерживает, и я, пожалуй, тоже этого не понимала. Мне пришло в голову, что она не хочет отвлекаться от основной цели поездки и поэтому встала, пусть и неохотно, на мою сторону; я поэтому улыбнулась ей, но она не отреагировала. Внезапно Томми спросил:

— Родни, а где, значит, ты видел "возможное я" для Рут?

— М-м...

Здесь, в городе, интерес к "возможному я" у Родни как-то угас, и я увидела, как на лице Рут мелькнуло беспокойство. Наконец Родни сказал:

— Поворот с Главной улицы, где-то у того конца. Но, само собой, у нее и выходной может сегодня быть.

Все молчали, и тогда он добавил:

— У них же бывают выходные, понятное дело. Они не все время на работе.

Услышав это, я испугалась, что мы сделали большую ошибку: ведь известно же было, что старожилы часто пользуются разговорами о "возможных я" просто как предлогом для поездок и ничего серьезного в виду не имеют. Рут, которая выглядела теперь уже определенно встревоженной, думала, кажется, примерно то же самое; в конце концов она, однако, издала смешок, как будто Родни пошутил.

Потом Крисси сказала — уже другим тоном:

— Между прочим, Рут, пройдет несколько лет — и мы, может быть, приедем сюда навестить *тебя*. Ты будешь работать в классном офисе. Никто слова тогда не сможет сказать против того, чтобы мы тебя навестили.

— Да, — быстро согласилась Рут. — Вы все сможете ко мне приезжать.

— По-моему, — сказал Родни, — никаких правил насчет посещения людей, работающих в офисах, не существует. — Вдруг он рассмеялся. — Хотя откуда нам знать? Ведь такого у нас еще не бывало.

— Все будет нормально, — заверила его Рут. — Вам наверняка разрешат. Вы сможете приезжать и видеться со мной. Уже без Томми, конечно.

— Почему без меня? — возмутился Томми.

— Потому что мы и так будем вместе, глупенький ты мой, — объяснила Рут. — Я тебя с собой заберу.

Мы все рассмеялись, но Томми опять чуть позже остальных.

— Я слыхала там, в Уэльсе, про одну девчонку, — сказала Крисси. — Тоже из Хейлшема, на несколько лет, кажется, старше вас. Говорят, работает в магазине одежды. В очень даже шикарном.

Каждый пробормотал что-то одобрительное, и на какое-то время все мечтательно уставились в облака.

— Хейлшем есть Хейлшем, — произнес в конце концов Родни и покачал головой словно в изумлении.

— И еще ведь был один случай, да? — Крисси повернулась к Рут. — Этот парень, про которого ты на днях рассказывала. Уехал из Хейлшема за пару лет до вас. И работает сейчас сторожем в парке.

Рут слушала и серьезно кивала. Я подумала, что надо предостеречь Томми взглядом, но он заговорил до того, как я успела к нему повернуться.

— Ты про кого это? — озадаченно спросил он.

— Ты знаешь про кого, Томми, — сразу сказала я. Пинать его под столом, даже делать многозначительный голос было рискованно: Крисси сообразила бы в один миг. Поэтому я произнесла это тоном бесхитростным и немного усталым, словно забывчивость Томми нам всем уже надоела. В результате ему по-прежнему было непонятно.

— Про кого-то из наших знакомых?

— Томми, не заводи опять эту шарманку, — сказала я. — Тебя надо проверить на умственную отсталость.

Он замолчал — кажется, дошло наконец. Крисси сказала:

— Я знаю, какое это везение — попасть в Коттеджи. Но кому по-настоящему счастье улыбнулось — это вам, хейлшемским. Я вот что... — Она понизила голос и опять подалась вперед. — Я, ребята, кое о чем хотела с вами здесь поговорить. Дело в том, что там, в Коттеджах, не получается. Все время лишние уши.

Она оглядела стол и остановила взгляд на Рут. Родни вдруг напрягся и тоже наклонился вперед. И что-то мне подсказало, что приближается главное, ради чего Крисси и Родни затеяли всю эту поездку.

— Когда мы с Родни были в Уэльсе... — продолжила она. — Когда нам рассказали про эту девушку в магазине одежды. Мы кое-что еще тогда услышали насчет воспитанников Хейлшема. Вроде бы в прошлые годы некоторым бывшим хейлшемским в особых обстоятельствах давали отсрочку. Только тем, которые оттуда, больше никому. Можно было по-

просить, чтобы на три, даже на четыре года отложили выемки. Добиться этого было не так просто, но иногда они шли навстречу. Если удавалось их убедить. Если они решали, что вы *достойны.*

Кристи умолкла и посмотрела на каждого из нас — может быть, ради драматического эффекта, может быть, чтобы проверить, знаем мы что-нибудь или нет. У Томми и у меня вид, вероятно, был озадаченный, а что касается Рут, у нее было одно из тех ее выражений лица, по которым нельзя ничего понять.

— Говорят, — сказала после паузы Кристи, — что если юноша и девушка любили друг друга, как следует любили, по-настоящему, и могли это доказать, то руководители Хейлшема устраивали им послабление. Устраивали так, что они вначале могли несколько лет провести вместе и только потом становились донорами.

В воздухе что-то изменилось — возник странный трепет, покалывание.

— Нам про это в Уэльсе говорили, — рассказывала дальше Кристи, — в Белом особняке. Они там слышали про одну хейлшемскую пару, ему всего несколько недель оставалось до того как стать помощником доноров. Ну, и они к кому-то поехали, все объяснили, и им отложили на три года. Позволили целых три года жить там вместе, в Белом особняке, никаких курсов подготовительных, ничего. Три года только друг с другом, потому что смогли доказать, что у них настоящая любовь.

В этот момент я заметила, что Рут очень убедительно кивает. Кристи и Родни тоже это заметили и несколько секунд смотрели на нее как завороженные. И у меня словно видение какое-то возникло: Кристи и Родни там, в Коттеджах, месяц за месяцем перед этой поездкой подстрекают друг друга, зондируют тему между собой. Я увидела, как они наедине, вначале очень осторожно, заводят об этом разговор, как, пожимая плечами, прекращают его, заминают, как, не в силах удержаться, возвращаются к нему. Я увидела, как они играют с мыслью поговорить с нами об этом, как оттачивают выражения, продумывают, что сказать. Потом я опять посмотрела на Кристи и Родни, сидящих передо мной и уставившихся на Рут, и попыталась вчитаться в их лица. У Кристи — боязнь пополам с надеждой. Родни, похоже, нервничал — словно не доверял себе, опасался, что выпалит что-нибудь непредусмотренное.

Слух об отсрочках доходил до меня и раньше. В течение нескольких предыдущих недель я чем дальше, тем чаще улавливала какие-то обрывки разговоров. Всякий раз старожилы говорили только между собой и неловко умолкали, едва приближался кто-нибудь из нас. Все же я услышала достаточно, чтобы понять суть, и знала, что речь идет именно о воспитанниках Хейлшема. Тем не менее только в тот день, в том приморском кафе мне по-настоящему стало ясно, какое значение все это приобрело для некоторых старожилов.

— Наверно, — голос Кристи слегка дрожал, — вам что-то об этом известно. Какие правила и тому подобное.

Они с Родни посмотрели на каждого из нас по очереди, потом их взгляды опять остановились на Рут. Она вздохнула:

— Да, конечно, кое-что они нам сказали. Но, — она пожала плечами, — все-таки мы мало об этом знаем. Мы никогда особенно про это не говорили... Вообще-то, по-моему, нам пора идти.

— К кому надо обращаться? — вдруг спросил Родни. — Вам не объяснили, к кому надо пойти, чтобы... ну... заявить о себе?

Рут опять пожала плечами.

— Я же вам сказала, мы не обсуждали этого толком.

Почти инстинктивно она посмотрела на нас с Томми в поисках поддержки, что, вероятно, было ошибкой, потому что Томми сказал:

— Честно говоря, я понятия не имею, о чем вы тут беседуете. Что за правила такие?

Рут метнула в него испепеляющий взгляд, и я быстро сказала:

— Ты же помнишь, Томми. Все эти разговоры, которые ходили у нас в Хейлшеме.

Томми покачал головой.

— Нет, не помню, — отрезал он. И на этот раз я видела — и Рут тоже, — что никакой заторможенности в нем нет. — Не помню в Хейлшеме ничего подобного.

Рут отвернулась от него.

— Вам надо иметь в виду, — сказала она Крисси, — что хотя Томми и был в Хейлшеме, он не такой, как настоящие хейлшемские. Его никуда не принимали, над ним вечно смеялись. Поэтому нет смысла его спрашивать про такие вещи. А теперь я хочу все-таки найти женщину, которую видел Родни.

К этому моменту глаза у Томми стали такими, что у меня перехватило дух. Таких глаз я давно уже у него не видела — они принадлежали тому Томми, который переворачивал в классе столы и от которого спасались, баррикадируя дверь. Потом взгляд постепенно стал обычным, Томми повернулся к небу за окном и глубоко вздохнул.

Старожилы ничего этого не заметили, потому что Рут, кончив говорить, тут же встала и принялась возиться с курткой. Все разом начали отодвигать стулья и подниматься — возникла легкая суета. Мне с самого начала было поручено распоряжаться деньгами, и я отправилась платить. Остальные тем временем потянулись за дверь, и я, дожидаясь сдачи, видела в одно из больших мутных окон, как они молча переминаются на солнце с ноги на ногу, глядя на море.

Глава четырнадцатая

Когда я вышла, было уже ясно, что от возбуждения, которое нас охватило здесь вначале, ничего не осталось. Мы двигались молча, Родни впереди, по маленьким боковым улочкам, куда солнце почти не могло пробиться, где тротуары были такие узкие, что часто приходилось идти гуськом. На Главной стало чуть полегче, потому что из-за шума наше скверное настроение было тут не таким очевидным. Когда переходили у светофора на солнечную сторону, я увидела, что Родни и Крисси о чем-то совещаются, и задумалась, насколько гнетущая атмосфера связана с тем, что мы, по их мнению, скрываем какой-то важный хейлшемский секрет, насколько — просто-напросто с пренебрежительным высказыванием Рут о Томми.

Потом, когда мы перешли Главную улицу, Крисси объявила, что они с Родни хотят зайти купить открыток для дней рождения. Рут была изумлена, но Крисси гнула свое:

— Мы стараемся помногу их покупать. Всегда дешевле в конечном счете. И не случится такого, что у кого-нибудь вдруг день рождения, а

открытки нет. — Она показала на вход в магазин "Вулвортс". — Тут продаются очень даже неплохие и дешево.

Родни кивал, и мне показалось, что его улыбка чуть-чуть подкрашена насмешкой. Он сказал:

— Само собой, потом выясняется, что у тебя куча одинаковых, но можно ведь на них рисовать свои картинки. Персонализовать.

Оба старожила теперь стояли посреди тротуара, заставляя мам с прогулочными колясками себя объезжать и ожидая наших возражений. Я видела, что Рут разгневана, но без поддержки Родни в любом случае мало что можно было сделать.

Так что мы вошли в "Вулвортс", и там мне сразу же стало куда веселее. Мне и сегодня это нравится: большой магазин, множество рядов с полками, где выставлены яркие пластиковые игрушки, поздравительные открытки, масса косметики, здесь же, может быть, и фотокиоск. Если я сейчас приезжаю в город и у меня есть капелька свободного времени, я иду в какое-нибудь подобное место, где можно просто слоняться в свое удовольствие, ничего не покупая, и тебе слова не скажут.

В общем, мы вошли и очень быстро разбрелись по разным отсекам магазина. Родни задержался у входа около большой стойки с открытками, Томми двинулся вглубь, и я увидела, как он стоит под большим рекламным плакатом поп-группы и перебирает музыкальные кассеты. Минут через десять, когда я оказалась в дальней части зала, мне послышался голос Рут, и я пошла в ту сторону. Я уже свернула в проход — в тот, где были выставлены пушистые зверьки и большие паззлы в коробках, — и вдруг увидела, что Рут и Крисси стоят у дальнего его конца и о чем-то разговаривают. На меня напало сомнение: прерывать их не хотелось, но нам пора было идти, и поворачивать назад и гулять по магазину дальше мне не хотелось тоже. Поэтому я просто встала где была, притворилась, что рассматриваю паззл, и дожидалась, пока они меня заметят.

В какой-то момент мне стало ясно, что они опять обсуждают этот слух. Крисси вполголоса говорила примерно вот что:

— Но за все годы, что ты там была, поразительно — как это ты не задумалась? Что сделать, к кому обратиться и все такое.

— Ты не понимаешь, — объясняла Рут. — Была бы ты из Хейлшема, не спрашивала бы. Мы никогда этому не придавали такого значения. По-моему, мы просто все время знали, что в случае чего только и надо будет, что связаться с Хейлшемом...

Тут Рут увидела меня и осеклась. Когда я опустила коробку и повернулась к ним, обе смотрели на меня с неприязнью. Но в то же время вид у них был такой, словно я застала их за чем-то недозволенным, и они смущенно отступили друг от друга.

— Надо бы двигаться дальше, — сказала я, прикинувшись, что ничего не слышала.

Но Рут не дала себя одурачить. Когда они проходили мимо, взглянула на меня свирепей некуда.

Так что когда во главе с Родни мы отправились искать офис, где он месяц назад увидел "возможное я" для Рут, настроение в нашей компании было еще хуже прежнего. Не улучшало его и то, что Родни постоянно уводил нас не на те улицы. Как минимум четыре раза он уверенно сворачивал с Главной, мы шли за ним, но потом магазины и офисы кончались, и приходилось возвращаться. Довольно скоро повадка Родни

стала оборонительной, и видно было, что он готов сдаться. Но вдруг мы нашли, что искали.

В очередной раз мы повернули назад и брели к Главной улице, но тут неожиданно Родни остановился. Потом молча показал на офис на той стороне улицы.

Да, это, конечно, было то самое. Не то чтобы в точности рекламная картинка в журнале, который попался нам тогда на дороге, но и не так уж далеко. Окно во всю стену начиналось почти с уровня тротуара, так что любой прохожий мог видеть большое помещение с открытой планировкой, где буквами "Г" было нерегулярно расставлено, наверно, больше десятка рабочих столов. Там были пальмы в больших горшках, сияющее оборудование, изящно изогнутые настольные лампы. Сотрудники переходили от стола к столу, стояли, опершись на перегородки, разговаривали, шутили; некоторые, близко сдвинув кресла на колесиках, попивали кофе и ели сандвичи.

— Глядите-ка, — сказал Томми. — Перерыв на ланч, а они не уходят. И я их отлично понимаю.

Мы смотрели и смотрели на этот элегантный, уютный, замкнутый в самом себе мир. Я перевела взгляд на Рут и увидела, что ее зрачки беспокойно прыгают с одного лица за стеклом на другое.

— Так, Род, замечательно, — сказала Крисси. — Которая из них?

Она произнесла это почти саркастически, словно была уверена, что вся затея — одна его большая ошибка. Но Родни тихо, дрожащим от волнения голосом проговорил:

— Вон она. В том углу. Синий костюм. Разговаривает с толстой женщиной в красном.

Сходство не было очевидным, но чем дольше мы смотрели, тем сильней убеждались, что какие-то основания Родни имел. Ей было лет пятьдесят, и фигуру она сохранила неплохо. Волосы темней, чем у Рут, — впрочем, может быть, и крашеные, — и они были стянуты сзади в простой хвостик, как и Рут обычно делала. Она смеялась над какими-то высказываниями своей приятельницы в красном, и в ее лице, особенно когда она, отсмеявшись, встряхивала головой, был не просто намек на сходство с Рут, но, пожалуй, и нечто большее.

Мы довольно долго глядели, не говоря ни слова. Потом вдруг увидели, что две женщины в другой части помещения заметили нас. Одна подняла руку и неуверенно нам помахала. Это пробудило нас, и, панически хихикая, мы пустились наутек.

Чуть дальше по улице мы остановились и возбужденно заговорили все разом. Все — кроме Рут, которая среди этого шума не раскрывала рта. Трудно было в ту минуту понять ее лицо: разочарована она точно не была, но настоящего восторга в ней тоже не чувствовалось. Возникшая у нее полуулыбка могла бы появиться на лице у матери обычного семейства, которая обдумывает ситуацию, в то время как дети кричат, скачут вокруг и требуют, чтобы она сказала: да, разрешаю вам то-то и то-то. В общем, мы стояли, наперебой делились впечатлениями, и я, к своей радости, честно могла сказать, как и другие, что женщина, которую мы видели, — вполне реальная кандидатура. По правде говоря, мы все испытывали облегчение: пока шли поиски, мы, не вполне это сознавая, готовились пережить разочарование. Но теперь можно было спокойно ехать обратно, Рут могла вдохновляться увиденным, все остальные могли ее в этом поддержи-

вать. И офисная жизнь, которую, судя по всему, вела эта женщина, была так близка к той, что Рут себе и нам рисовала, как только можно было надеяться. Несмотря на все, что происходило между нами в течение дня, в глубине сердца никто из нас не хотел, чтобы Рут вернулась в Коттеджи ни с чем, и в тот момент мы считали, что такого случиться не может. И все, я уверена, было бы в порядке, поставь мы тогда точку.

Но Рут предложила:

— Давайте пару минут посидим — вон там, на той стенке. Когда они про нас забудут, можно будет еще раз подойти посмотреть.

Мы не были против, но, когда шли к низенькой стенке, окружавшей маленькую автостоянку, Крисси сказала с энтузиазмом, которого было, пожалуй, чуть больше, чем нужно:

— Но даже если мы ее больше не увидим, мы ведь все согласились, что она — твое "возможное я". А офис — прелесть. Просто нет слов.

— Давайте выждем несколько минут, — сказала Рут. — Потом вернемся.

Я садиться на стенку не стала, потому что она была сырая и крошилась, и еще потому, что в любой момент, казалось, кто-нибудь мог появиться и закричать, что здесь рассиживать не положено. А вот Рут, ничем не смущаясь, села на нее верхом. Я и сегодня очень живо вспоминаю те десять-пятнадцать минут, что мы там прождали. О "возможном я" никто больше не говорит. Мы делаем вид, что просто проводим в свое удовольствие свободное время: беззаботная однодневная вылазка, живописное место. Родни, чтобы показать, как ему здесь хорошо, исполняет коротенький танец: залезает на стенку, балансируя идет по ней, потом нарочно валится. Томми отпускает шуточки по поводу прохожих, не очень смешные, но мы дружно хохочем. Молчит одна Рут, которая сидит, окруженная нами, верхом на стенке. Она почти не шевелится, улыбка с ее лица не сходит. Ветер ерошит ей волосы, в глаза бьет яркое зимнее солнце, и непонятно — то ли она улыбается, глядя на наши кривляния, то ли просто щурится от света. Вот какие картинки сохранились у меня от ожидания у автостоянки. Судя по всему, мы ждали, пока Рут скажет, что пора идти смотреть второй раз. Она так этого и не сказала, потому что случилось вот что.

Томми, который забавлялся на стенке вместе с Родни, вдруг спрыгнул и замер. Потом сказал:

— Вон она идет. Та самая.

Мы мигом бросили дурачиться и уставились на женщину, приближавшуюся со стороны офиса. На ней теперь было кремовое пальто, и она все никак не могла застегнуть на ходу портфель. Что-то там было не так с замком, и она раз за разом замедляла шаг и пыталась снова. В каком-то трансе мы провожали ее глазами, пока она шла мимо по другой стороне улицы. Когда она уже поворачивала на Главную, Рут вскочила:

— Пошли, посмотрим, куда она сейчас.

Мы стряхнули оцепенение и отправились вдогонку. Крисси пришлось даже сказать всем, чтобы шли помедленнее, а то могут подумать, будто женщину преследует какая-то банда. Мы двигались за ней по Главной улице на разумном расстоянии, хихикали, обходили людей, разделялись и опять соединялись. Было, наверно, часа два, магазины торговали вовсю, и на тротуаре было полно народу. Иногда она почти пропадала из виду, но все-таки мы не теряли ее — слонялись перед витринами, когда она заходила в магазины, проталкивались среди мам с прогулочными колясками и пожилых людей, когда она опять появлялась на улице.

Потом эта женщина свернула с Главной улицы в прибрежные переулки. Крисси обеспокоилась, что в менее людном месте она обратит на нас внимание, но Рут шла и шла, и мы следовали за ней.

В конце концов мы попали на узкую улочку, где изредка встречались магазины, но большей частью стояли жилые дома. Нам опять пришлось идти гуськом, и один раз, когда навстречу ехал грузовичок, мы прижались к стене дома, чтобы его пропустить. Вскоре на всей улице только и было людей, что она и мы, и, оглянись она, не заметить нас было бы невозможно. Но она двигалась не оборачиваясь шагов на десять-пятнадцать впереди, а потом вошла в дверь под вывеской "Салон Портуэя".

Я не раз после этого бывала в "Салоне Портуэя". Несколько лет назад у него сменился владелец, и теперь там продаются всевозможные художественные вещицы — горшки, блюда, керамические фигурки животных. Но в то время там были две большие белые комнаты с одними картинами, свободно и красиво расположенными — очень много пространства вокруг каждой. Деревянная вывеска над входом и сейчас, впрочем, та же самая. Так или иначе, после того как Родни сказал, что на этой тихой улочке мы выглядим очень подозрительно, мы решили войти. Внутри по крайней мере можно было притвориться, что мы рассматриваем картины.

Вошли и увидели, что женщина, которая нас интересовала, разговаривает с седой дамой гораздо старше ее — судя по всему, главным лицом здесь. Они сидели по разные стороны маленького письменного стола у двери, и кроме них в салоне никого не было. Ни та ни другая не обратила на нас особого внимания, и мы, рассредоточившись, постарались сделать вид, что нас завораживают полотна.

Между прочим, я и правда, как ни захвачена была отысканием "возможного я", начала получать удовольствие от картин и от здешнего спокойствия самого по себе. От Главной улицы мы ушли, казалось, на сотню миль. Стены и потолок были чуть желтоватого оттенка, там и тут высоко были развешаны куски рыболовных сетей и изъеденные временем части лодок. В картинах, в основном выполненных маслом в насыщенных синих и зеленых тонах, тоже преобладала морская тематика. Может быть, на нас на всех внезапно напала усталость — ведь мы выехали задолго до рассвета, — потому что я заметила: не я одна погрузилась здесь в какую-то дремоту. Мы разошлись по разным углам, разглядывали одну картину за другой и лишь изредка вполголоса подзывали друг друга: "Иди-ка сюда, посмотри". Между тем седая дама и "возможное я" все время разговаривали, не особенно громко, но нам было слышно, потому что в этом салоне голоса словно бы наполняли все помещение. Они обсуждали какого-то мужчину, знакомого им обеим, который не мог найти общего языка со своими детьми. Мы слушали, иногда на них поглядывали, и мало-помалу что-то стало меняться. Не только для меня, но и для других — я это чувствовала. Если бы мы, увидев эту женщину через стеклянную стену офиса, на том и кончили, и даже если бы мы, идя за ней по городу, потеряли ее, мы все равно могли бы вернуться в Коттеджи взволнованными и торжествующими. Но сейчас, в салоне, женщина была слишком близко к нам, гораздо ближе, чем мы в действительности хотели. И чем больше мы смотрели и слушали, тем меньше она казалась похожей на Рут. Это ощущение росло среди нас почти осязаемо, и я знала, что Рут, вроде бы поглощенная картиной в другой части зала, испытывает его в такой же мере, как и остальные. Вот почему, ве-

роятно, мы так долго бродили по салону: откладывали момент, когда надо будет обменяться мнениями.

Потом вдруг женщина поднялась и вышла — а мы всё стояли, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Чтобы следовать за ней дальше, такого и в мыслях ни у кого не было, секунда шла за секундой, и, молча, мы, казалось, приходили к согласию о том, как нам теперь все видится.

В конце концов седая дама встала из-за стола и сказала Томми, который был к ней ближе всех:

— *Прелестнейшая* вещь. Самая моя любимая.

Томми повернулся к ней и издал смешок. Я поспешила ему на выручку, а дама между тем спросила:

— Студенты, да? Искусство изучаете?

— Нет, не то чтобы студенты, — ответила я до того как Томми мог открыть рот. — Мы просто, ну, интересуемся.

Седая дама лучезарно улыбнулась и начала рассказывать о художнике, на чье полотно мы смотрели: как она с ним связана, какой творческий путь он прошел. Это по крайней мере вывело нас из оцепенения, и мы собрались около нее послушать, как в Хейлшеме собирались около начавшего говорить опекуна. Седая дама, видя такое, сильно воодушевилась, и мы стали кивать и вставлять слова восхищения, слушая про то, где писались эти картины, в какое время дня художник предпочитал работать, как в некоторых случаях он обходился без эскизов. Потом, когда ее рассказ подошел к естественному концу, мы дружно вздохнули, поблагодарили ее и вышли.

Из-за того, что улица была очень узкая, мы некоторое время не могли как следует все обсудить, и все, думаю, были этому только рады. Мы двигались друг за другом, и Родни, который шел первым, театральным жестом взметнул руки, словно был в таком же восторге, как вначале, когда мы только сюда приехали. Но это было не очень убедительно, и, выйдя на более широкую дорогу, мы замедлили шаги и, шаркая, остановились.

Мы опять находились у края утеса. И, если перегнуться через перила, можно было, как раньше, увидеть зигзагообразные тропинки, спускающиеся к самому берегу, только на этот раз внизу еще была видна пешеходная дорожка с рядами закрытых на зиму торговых палаток.

Какое-то время мы просто смотрели на все, подставляя лица ветру. Родни по-прежнему пыжился, стараясь быть веселым, — можно подумать, твердо решил, что ничему не позволит испортить такую отменную вылазку. Он стал показывать Крисси что-то в море — очень далеко, у самого горизонта. Но Крисси отвернулась от него и сказала:

— Так — я думаю, мы все согласны, да? Это *не* Рут. — Она издала короткий смешок и коснулась рукой плеча Рут. — Мне очень жаль. Как и всем, конечно. Но Родни ругать, в общем-то, не за что. Не такая уж глупая была затея. Согласитесь, когда мы увидели ее через это стекло, было ведь ощущение...

Она замолчала, потом опять дотронулась до плеча Рут. Та ничего не сказала, но слегка повела плечом — выглядело почти что так, словно она хотела сбросить руку. Искоса Рут смотрела вдаль — скорее на небо, чем на воду. Я видела, что она расстроена, но кому-то, кто не так хорошо ее знал, вполне могло показаться, что она просто задумалась.

— Извини, Рут, — сказал Родни и тоже похлопал ее по плечу. Но, судя по улыбке, он ни секунды не сомневался, что упрекать его совершен-

но не в чем. Так просит прощения тот, кто попытался оказать тебе услугу, которой ты почему-то не смог воспользоваться.

Глядя в ту минуту на Крисси и Родни, я, помнится, думала: нет, они ничего. По-своему они добры и стараются подбодрить Рут. В то же время, однако, — хотя обращались к Рут они, а мы с Томми молчали, — я была на них в каком-то смысле обижена за подругу. Потому что сочувствие сочувствием, а в глубине души они, я видела, испытывали облегчение. Облегчение от того, что все вышло так, как вышло: что можно утешать Рут, вместо того чтобы завистливо следить за головокружительным взлетом ее надежд. Облегчение от того, что в них не окрепнет мысль, которая и будоражила их, и мучила, и пугала, — мысль, что нам, хейлшемским, открыты многие возможности, закрытые для них. Помню, я думала тогда, как сильно они, Крисси и Родни, отличаются от нас троих.

Потом Томми сказал:

— Не понимаю, какая, собственно, разница. Мы ведь так, развлечение себе хотели устроить.

— Ты, Томми, может быть, и развлекался, — холодно отозвалась Рут, все еще глядя в пространство. — Если бы мы твое "возможное я" искали, ты относился бы ко всему иначе.

— Так же относился бы, — возразил Томми. — По-моему, это все не имеет значения. Пусть даже ты ее найдешь, эту самую модель, с которой ты скопирована. Все равно — какая разница?

— Глубокое соображение! Что бы мы без тебя делали, Томми? — съязвила Рут.

— А по-моему, Томми прав, — вмешалась я. — Глупо предполагать, что у тебя будет такая же жизнь, как у этой модели. Я согласна с Томми. Это было развлечение. Не надо так серьезно.

И я тоже коснулась рукой плеча Рут. Я хотела, чтобы она почувствовала отличие от прикосновений Крисси и Родни, и потому сознательно выбрала в точности то же место. Я ожидала какого-то отклика, сигнала, что от меня и Томми она иначе принимает знаки сопереживания, чем от старожилов. Но она не отреагировала вовсе — даже плечом не повела, как под рукой Крисси.

Я услышала, как Родни за спиной у меня расхаживает взад-вперед, давая понять, что ему холодно на таком ветру.

— Может, зайдем сейчас к Мартину? — предложил он. — Он вон там живет, совсем близко, за теми домами.

Внезапно Рут вздохнула и повернулась к нам.

— Честно говоря, я с самого начала знала, что это глупость.

— Конечно, — рьяно подтвердил Томми. — Так, развлечение.

Рут взглянула на него раздраженно.

— Томми, будь добр, оставь свое "так, развлечение" при себе. Всем уже надоело. — Потом, повернувшись к Крисси и Родни, она сказала: — Я не хотела говорить, когда в первый раз от вас об этом услышала. Но поймите простую вещь: это дело безнадежное. Они никогда, *никогда* не берут таких, как эта женщина. Сообразите: с какой стати она захочет? Мы все это понимаем, только признаваться себе не желаем. Нет, мы скопированы совсем не с таких...

— Рут, — решительно перебила ее я. — Рут, прекрати.

Но она продолжала:

— Мы все это знаем. Мы скопированы с *отбросов*. С наркоманов, проституток, пьяниц, бродяг. Кое-кто, может быть, с заключенных — с тех,

которые не психи. Вот от кого мы произошли. Мы все это понимаем, так почему прямо не сказать? От такой женщины? Как же, держи карман. Да, ты прав, Томми. Так, развлечение. Приятно себя кем-то вообразить. Та пожилая женщина в салоне, ее знакомая, — за кого она нас приняла? За студентов, изучающих искусство? Думаете, она бы так же с нами говорила, если бы знала, кто мы такие? Что она, по-вашему, ответила бы, если бы мы ее спросили: "Простите, пожалуйста, вы случайно не знаете, была ли ваша подруга моделью при клонировании?" Да она вышвырнула бы нас вон! Раз мы это понимаем, чего молчать? Хотите искать "возможные я", всерьез хотите — так ищите на помойке. В сточной канаве. В толчке ищите — вот откуда мы все вышли.

— Рут. — Голос Родни был твердым, и в нем звучало предостережение. — Хватит об этом, забудем и пойдем навестим Мартина. Сегодня у него как раз выходной. Он смешной, веселый, он тебе понравится.

Крисси обняла Рут одной рукой.

— Правда, Рут, пойдем. Родни дело предлагает.

Рут сделала шаг, и Родни двинулся было.

— Вы идите, если хотите, — тихо сказала я. — Я не иду.

Рут обернулась и вгляделась в меня.

— Вот так так. Кто из нас теперь в расстроенных чувствах?

— Я не в расстроенных чувствах. Просто, Рут, иногда ты несешь такое, что уши вянут.

— Надо же, какое расстройство. Бедная Кэти. Ох как мы правду не любим.

— Дело не в этом. Я не хочу идти в гости к помощнику. Мы не должны их посещать, и я с ним даже не знакома.

Рут пожала плечами и переглянулась с Крисси.

— Ну что ж, — сказала она. — Не вижу причин все время ходить одной компанией. Если эта маленькая особа не желает с нами идти, пусть остается. Может побыть одна.

Она наклонилась к Крисси и театральным шепотом произнесла:

— Это всегда самое лучшее, когда Кэти не в духе. Оставить одну, и потихоньку у нее наладится.

— К четырем будь у машины, — сказал мне Родни. — Иначе придется добираться автостопом. — Он помолчал, усмехнулся. — Да ладно тебе, Кэти, не грусти. Пошли с нами.

— Нет. Идите. Я не хочу.

Родни пожал плечами и опять двинулся к дому Мартина. Рут и Крисси — за ним, но Томми остался на месте. Только когда Рут изумленно на него уставилась, он сказал:

— Я не пойду, я побуду с Кэт. Если мы не все вместе, я с Кэт побуду.

Рут метнула в него негодующий взгляд, повернулась и зашагала. Крисси и Родни, посмотрев на Томми смущенно, тоже пошли куда собирались.

Глава пятнадцатая

Мы с Томми, облокотившись на перила, рассматривали море и небо, пока остальные точно не скрылись за поворотом.

— Это просто трепотня, — сказал он наконец. Потом, после паузы: — Так говорят, когда себя жалеют. Трепотня. От опекунов я никогда ничего такого не слышал.

Я двинулась в противоположную от жилища Мартина сторону и не воспротивилась тому, чтобы Томми пошел рядом.

– Да не огорчайся ты из-за этого, – продолжал Томми. – Рут сейчас все время так себя ведет. Пар выпускает. И даже пусть это правда, пусть это насколько-нибудь правда – все равно, мы же ей с тобой сказали: какая разница? Оригиналы, с которых мы скопированы, кто бы они ни были, не имеют к нам отношения. И нечего, Кэт, из-за этого огорчаться.

– Хорошо, – сказала я и нарочно подтолкнула его плечом. – Хорошо, хорошо.

Мне показалось – хотя я не могла быть уверена, – что мы идем к центру города. Я пыталась придумать другую тему для разговора, но Томми меня опередил:

– Помнишь этот "Вулвортс", где мы были сегодня? Пока вы все ходили по залу, я кое-что искал. Кое-что для тебя.

– Подарок? – Я удивленно вскинула на него глаза. – Не уверена, что Рут бы это одобрила. Разве только ты *ей* сделал бы подарок посолиднее.

– Вроде подарка. Но я не смог найти. Не собирался тебе говорить, но теперь появился шанс – шанс еще раз попробовать. Только ты мне помоги, я плохо ориентируюсь в магазинах.

– Что-то я не понимаю. Хочешь сделать мне подарок, но я должна помочь его выбрать?..

– Да нет, я знаю, что́ это должно быть. Просто... – Он засмеялся и пожал плечами. – Ладно уж, чего темнить. В том магазине у них есть полка со всякой музыкой, с массой кассет. Вот я и начал искать ту, которую ты тогда потеряла. Помнишь, Кэт? Только вот я позабыл, как она точно называется.

– Моя кассета? Томми, я и не думала, что ты про нее знаешь.

– Знаю. Это Рут мне сказала, и не мне одному, она просила людей поискать, говорила, ты очень расстроена. И я пытался тогда ее найти. Тебе не стал говорить, но я много где смотрел. Я подумал – есть места, куда ты не сможешь сама заглянуть. Спальни мальчиков и тому подобное. Помню, я кучу времени потратил, но все без толку.

Я взглянула на него и почувствовала, что мое дрянное настроение улетучивается.

– Надо же, а я и знать не знала. Очень мило с твоей стороны, Томми.

– Хотел тебе помочь, но ничего не вышло. И когда в конце концов я понял, что кассета не найдется, я сказал себе: поеду когда-нибудь в Норфолк и там все-таки отыщу.

– Норфолк, край потерь, – промолвила я и огляделась. – Вот мы в него и попали!

Томми тоже огляделся, и мы остановились. Улочка, куда мы углубились, была узенькая, но не настолько, как та, где салон. Некоторое время мы по-театральному озирались по сторонам, потом захихикали.

– Что, может, не такая уж и глупая была идея? – сказал Томми. – Там, в "Вулвортсе", кассет было очень много, и я подумал – наверно, есть и твоя. Но, кажется, ее там нет.

– *Кажется?* Ты что, даже не посмотрел как следует?

– Посмотрел, посмотрел. Но дело в том, что... Очень обидно, но я не мог вспомнить название. Тогда в Хейлшеме я залезал к ребятам в коллекционные сундучки, чего только не делал – а теперь вот вспомнить не могу. Джулия Бриджез или что-то в этом роде...

— Джуди Бриджуотер. "После захода солнца".

Томми очень серьезно покачал головой.

— Этого там точно нет.

Я со смехом заехала ему в плечо кулаком. У него стало озадаченное лицо, и я сказала:

— Томми, в "Вулвортсе" этого и не могло быть. Они торгуют новейшими хитами. А Джуди Бриджуотер — допотопное старье. Просто она случайно попала на одну из наших Распродаж. Искать сейчас эту кассету в "Вулвортсе" мог только такой дурачок, как ты!

— Я же сказал, что не разбираюсь в таких вещах. Там так много было кассет, что я подумал...

— Много, но не все, Томми. Ладно, не переживай. Все равно это очень даже славная была идея. Я тронута. Отличная идея. Как-никак мы же в Норфолке!

Когда мы двинулись дальше, Томми нерешительно заговорил:

— Слушай, ну, ты поняла, наверно, почему мне пришлось тебе сказать. Думал сюрприз сделать, но не вышло. Даже если бы вспомнил название — где искать, все равно понятия не имею. А теперь, когда ты все знаешь, — помоги мне, а? Поискали бы вместе.

— Томми, ну что ты несешь!

Я хотела сделать тон укоризненным, но не могла удержаться от смеха.

— У нас час с лишним в запасе. Есть реальный шанс.

— Томми, ты просто идиот. Ты что, действительно в это веришь? Во всю эту белиберду про "край потерь"?

— Да нет, не то что прямо верю. Но почему не поискать, раз уж мы здесь? Ведь тебе, наверно, было бы приятно ее найти. И мы ничем не рискуем.

— Ладно, так и быть. Ты полный идиот, но так и быть.

Он беспомощно развел руками.

— Тогда, Кэт, куда нам идти? Говорю тебе — я совсем не умею делать покупки.

— Можно поискать в магазинах подержанных вещей, — сказала я, чуть поразмыслив. — Где продают старую одежду, старые книги. Там могут быть ящики с пластинками и кассетами.

— Хорошо. Но где они, эти магазины?

Даже теперь, когда я вспоминаю эту минуту — мы с Томми стоим на маленькой улочке и собираемся пуститься на поиски, — я чувствую, как во мне поднимается тепло. Вдруг все стало просто великолепно: впереди час полной свободы, и лучшего способа провести этот час и придумать нельзя. Мне всерьез пришлось удерживаться от глупого хихиканья, от того, чтобы скакать по тротуару как малый ребенок. Не так давно, когда я ухаживала за Томми в центре реабилитации, я заговорила с ним про поездку в Норфолк, и он сказал, что ощущал в точности то же самое. Как только мы решили отправиться на поиски потерянной кассеты, все тучи словно бы разом куда-то сдуло, и впереди у нас не было ничего, кроме веселья и смеха.

Вначале мы заходили не в те места — в букинистические магазины или туда, где стояли старые пылесосы и ничего музыкального не имелось вовсе. Спустя какое-то время Томми решил, что я понимаю в этом не больше, чем он, и заявил, что сам меня поведет. И по чистой случайности он сразу обнаружил улицу, где почти вплотную друг к другу торговали

четыре именно таких магазина, какие нам были нужны. Витрины были полны платьев, дамских сумочек, детских ежегодников, а внутри стоял сладковатый аромат затхлости. Множество книг в мятых бумажных обложках, пыльные коробки, набитые открытками и всякими безделушками. Один магазин специализировался на всем хипповском, в другом продавались военные медали и фотографии солдат в пустыне. Но в каждом где-нибудь да стояла большая картонная коробка, а то и две, с долгоиграющими пластинками и аудиокассетами. Мы шарили во всем этом и, честно говоря, спустя несколько минут как-то даже почти позабыли про Джуди Бриджуотер. Мы просто получали удовольствие от того, что вместе копаемся в этих вещах; то расходились по разным углам, то опять оказывались рядом, иногда, соревнуясь, лезли в одну и ту же коробку со старьем в пыльном закутке, освещенном случайным лучом солнца.

А потом, разумеется, я ее нашла. Я быстро перебирала футляры от кассет, думая о чем-то постороннем, и вдруг — вот она, эта картинка, под самыми моими пальцами, совершенно такая же, как тогда, годы тому назад: Джуди, ее сигарета, кокетливый взгляд на бармена, размытые пальмы на заднем плане.

Я никакого восклицания даже не издала, как сделала бы, попадись мне что-нибудь просто любопытное. Я стояла там совсем неподвижно, глядя на пластмассовую коробочку и не зная, рада я или нет. На мгновение мне даже показалось, что тут какая-то ошибка. Кассета была отличным предлогом для всего этого нашего веселья, но теперь, когда она нашлась, мы должны были остановиться. Может быть, поэтому я, к моему удивлению, какое-то время молчала; мелькнула даже мысль притвориться, что я ничего не видела. Чем-то он, этот футляр у меня перед глазами, неуловимо меня смущал, словно мне полагалось бы уже перерасти Джуди Бриджуотер. Дошло даже до того, что я выпустила футляр и позволила соседнему на него повалиться. Но узкой стороной он все равно смотрел на меня, и в конце концов я подозвала Томми.

— Она, что ли?

В его вопросе прозвучал неподдельный скепсис — причиной тому, скорее всего, была моя сдержанность. Я взяла футляр и держала в обеих руках; потом вдруг почувствовала громадное удовольствие — и что-то еще, что-то более сложное, грозившее заставить меня разрыдаться. Но я справилась с собой и всего-навсего дернула Томми за рукав.

— Да, она, — ответила я и в первый раз восторженно улыбнулась. — Просто не верится! Мы и правда ее нашли.

— Как по-твоему, может, это та самая? Именно та, которую ты потеряла?

Я вертела в пальцах коробочку и узнавала все от и до — детали оформления вкладыша, названия песен, каждую мелочь.

— Я отличий не вижу, — сказала я. — Но знаешь, Томми, — может быть, их тысячи таких повсюду.

Теперь уже я в свой черед заметила, что Томми не так торжествует, как мог бы.

— Томми, ты, кажется, не очень-то рад за меня, — упрекнула я его, правда, тоном явно шутливым.

— Рад, Кэт, еще как рад. Просто, ну... мне жалко, что не я ее нашел. — Он усмехнулся и продолжал: — Тогда, после того как ты ее потеряла, я много раз это себе представлял: как я ее найду, как тебе принесу. Что ты скажешь, какое у тебя будет лицо и так далее.

Его голос звучал мягче обычного, взгляд был сосредоточен на пластмассовом футлярчике у меня в руках. И вдруг я очень ясно осознала, что мы в магазине одни, если не считать старика за прилавком у входа, с головой ушедшего в свои бумаги. Мы стояли на чем-то вроде помоста в дальней части помещения, глухой и полутемной, где лежали товары, на которые старик, судя по всему, махнул рукой. Томми несколько секунд пребывал в каком-то оцепенении — по всей видимости, прокручивал в уме одну из былых своих фантазий о том, как он возвращает мне потерянную кассету. Потом внезапно он взял футляр у меня из рук.

— По крайней мере хоть *куплю* ее для тебя, — сказал он с усмешкой и прежде, чем я могла его остановить, спустился с помоста и пошел к прилавку.

Пока старик искал кассету, соответствующую футляру, я еще чуть-чуть побродила в глубине магазина. Мне по-прежнему было немного жаль, что мы так быстро ее нашли, и только потом, когда мы вернулись в Коттеджи и я была одна в своей комнате, я по-настоящему это оценила — то, что у меня опять есть кассета и эта песня. Но даже тогда мои переживания были по большей части ностальгическими, и сейчас, если я достаю кассету и смотрю на нее, она ровно настолько же пробуждает воспоминания о том дне в Норфолке, насколько о старых хейлшемских годах.

Когда мы вышли из магазина, мне очень хотелось вернуть то беззаботное, почти дурашливое настроение, с которым мы в него входили. Я отпустила несколько шуточек, но Томми был в задумчивости и не реагировал.

Дорожка, на которой мы оказались, круто пошла вверх, и примерно в сотне шагов впереди, на самом краю утеса, видна была смотровая площадка со скамейками, откуда можно было глядеть на море. Летом — прекрасное место для обычной семьи, чтобы посидеть и перекусить на свежем воздухе. Хотя сейчас дул холодный ветер, как-то так получилось, что мы туда направились, но немного не доходя до смотровой площадки Томми замедлил шаги и сказал:

— Крисси и Родни просто помешались на этой идее. Ну — о том, что каким-то парам откладывают донорство, если у них настоящая любовь. Они уверены, что мы всё об этом знаем, но ведь в Хейлшеме никто ничего такого не говорил. Я по крайней мере не слышал — а ты, Кэт? Нет, это просто стало ходить последнее время среди старожилов. А люди вроде Рут только рады это раздуть.

Я внимательно на него посмотрела, но понять, что это — добродушное любовное ворчание или настоящее недовольство — было невозможно. Я видела, однако, что у него на уме и что-то другое, не имеющее отношения к Рут, поэтому я не стала ничего говорить, просто выжидала. В конце концов он остановился совсем и носком ботинка начал двигать туда-сюда по земле смятый бумажный стаканчик.

— Знаешь, Кэт, — сказал он. — Я тут думал кое о чем. Да, я уверен, что мы с тобой не ошибаемся, в Хейлшеме никто про такое не говорил. Но там была масса всего, в чем мы не видели смысла в то время. И я подумал: если это правда, если этот слух на чем-то основан — тогда очень многое можно объяснить. То, над чем мы ломали голову.

— Что ты имеешь в виду? Что можно объяснить?

— Например, Галерею. — Томми заговорил тише и придвинулся ко мне, точно мы все еще были в Хейлшеме и обсуждали что-то в обеденной очереди или у пруда. — Мы ведь так и не смогли там добраться до

сути — зачем вообще нужна эта Галерея? Зачем Мадам забирала все лучшие работы? Но теперь, кажется, я знаю. Помнишь, Кэт, как все спорили насчет жетонов — должны или нет их давать в обмен на то, что берет себе Мадам? И как Рой Дж. ходил разговаривать об этом с мисс Эмили? Ведь мисс Эмили кое-что тогда ему сказала, проговорилась — вот я теперь и задумался.

Мимо шли две женщины с собаками на поводках, и мы оба, хотя это был полнейший идиотизм, замолчали и стали ждать, пока они пройдут. Потом я спросила:

— О чем, Томми? О чем мисс Эмили проговорилась?

— Рой Дж. спросил ее, почему Мадам забирает наши работы. Помнишь ее ответ, как его передавали?

— Она, кажется, сказала, что это привилегия, что мы должны гордиться...

— Да, но не только. — Томми понизил голос до шепота. — Она еще кое-что сказала Рою — скорее всего, у нее случайно вылетело, скорее всего, она не хотела этого говорить. Помнишь, Кэт? Она сказала ему, что через рисунки, стихи и всякое такое *выявляется, какие мы есть внутри.* Сказала — *это выявляет ваши души.*

Когда он это произнес, я вдруг засмеялась, потому что вспомнила один рисунок Лоры, изображавший ее кишки. Тем не менее что-то у меня в уме забрезжило.

— Да, — сказала я. — Помню. Но к чему ты это все?

— Я вот что думаю, — неторопливо начал Томми. — Допустим, старожилы правду говорят. Допустим, у хейлшемских действительно есть эта льгота. Допустим, двое заявляют, что любят друг друга, и просят дать им больше времени побыть вместе. Тогда, понимаешь, Кэт, должен быть способ проверки — правду они говорят или нет. Ведь люди могут просто взять и сказать, что у них любовь, просто чтобы оттянуть донорство. Видишь, да, как трудно здесь судить? Или пара может искренне подумать, что это любовь, а на самом деле это секс и ничего больше. Или просто увлечение. Понимаешь, Кэт, о чем я? Судить действительно очень трудно, и совсем исключить ошибки тут, наверно, нельзя. Но вот что самое главное: кто бы там у них ни решал, Мадам или кто другой, ему нужно *на что-то опираться.*

Я медленно кивнула.

— И поэтому они брали наши работы...

— Может быть. У Мадам ведь есть Галерея, где полным-полно всякого, что воспитанники сделали начиная с раннего детства. Предположим, два человека пришли и говорят, что у них любовь. Она тогда может найти их работы за годы и годы. Найдет и посмотрит, подходят ли эти двое друг другу. Соответствуют ли. Не забывай, Кэт: то, что у нее есть, выявляет наши души. Она может решить для себя, настоящая это пара или просто у них глупое увлечение.

Я не спеша опять двинулась по дорожке, рассеянно глядя вперед. Томми шел рядом, ожидая моего ответа.

— Не знаю, — сказала я в конце концов. — То, что ты говоришь, конечно, объясняет слова мисс Эмили, которые она сказала Рою. И, наверно, объясняет, почему опекуны все время считали это таким важным для нас — рисование и тому подобное.

— Да, именно. И вот почему... — Томми вздохнул и продолжал как-то через силу. — Вот почему мисс Люси пришлось признать, что она была

не права, когда сказала мне, что это не имеет особого значения. Она так сказала, потому что пожалела меня тогда. Но на самом-то деле глубоко внутри она знала, что это *имеет* значение. Преимущество хейлшемских — в том, что у них есть этот особый шанс. Но если в Галерее у Мадам ничего твоего нет, ты, можно сказать, выкинул этот шанс на помойку.

Только после этих слов до меня дошло, к чему он клонит, и по коже у меня побежали мурашки. Я остановилась и повернулась к нему, но не успела я открыть рот, как Томми усмехнулся.

— Если это все так, то получается, что я свой шанс профукал.

— Томми, хоть раз было такое, чтобы твоя работа отправилась в Галерею? Может быть, совсем давно, когда ты был еще маленький?

Я еще не договорила, а он уже качал головой.

— Ты же знаешь — я всегда был в этом полный нуль. А потом еще тот разговор с мисс Люси. Я понимаю, что она добра мне хотела. Просто стало меня жалко и захотелось мне помочь. И она мне правда помогла. Но если моя теория верна...

— Это только теория, Томми, — сказала я. — Ты сам знаешь, чего стоят твои теории.

Я хотела слегка разрядить атмосферу, но правильный тон найти не смогла, и, скорее всего, было заметно, что я все еще усиленно обмозговываю его слова.

— Может быть, у них есть разные способы судить, — сказала я чуть погодя. — Может быть, искусство — только один из них.

Томми опять покачал головой.

— Какие способы? Назови хоть один. Мадам никогда не знала нас лично. Поодиночке она нас не помнит. К тому же, вероятно, не она одна это решает. Есть, наверно, кто-то повыше, кто в Хейлшеме вообще ни разу не был. Я очень много об этом думал, Кэт. Все сходится. Вот почему Галерее придавали такое значение, вот почему опекуны так настаивали, чтобы мы рисовали, лепили и сочиняли стихи. Ну, Кэт, что ты об этом скажешь?

А я тем временем чуть-чуть отвлеклась. Мне вспомнилось, как я слушала одна у себя в спальне кассету, экземпляр которой мы только что нашли; как я кружилась и раскачивалась, прижимая к груди подушку, и как Мадам со слезами на глазах смотрела на меня через дверной проем. Даже этот эпизод, которому я раньше не находила толкового объяснения, укладывался в теорию Томми. Я представляла себе, что держу младенца, но Мадам, разумеется, этого знать не могла. Она наверняка считала, что я танцую с воображаемым возлюбленным. Если Томми прав, если Мадам была связана с нами только ради того, чтобы потом решать вопросы об отсрочке донорства для влюбленных, ее реакция объяснима: несмотря на обычную ее холодность к нам, такой сценой она вполне могла быть растрогана. Все это промелькнуло у меня в голове, и я чуть было не начала рассказывать Томми, но удержалась, потому что не хотела вслух соглашаться с его теорией.

— Не знаю, пока что размышляю о твоих словах, — сказала я. — Между прочим, надо бы возвращаться. А то сколько еще будем искать автостоянку.

Мы пошли той же дорогой вниз, но понятно было, что время еще есть, и мы не торопились.

— Томми, — спросила я через некоторое время. — Ты Рут об этом говорил?

Он покачал головой и продолжал идти. В конце концов сказал:

– Дело в том, что Рут верит всему этому, всему, что говорят старожилы. Да, ей нравится делать вид, что она сама много чего знает, гораздо больше, чем на самом деле. Но верит, верит. И рано или поздно захочет дать этому ход.

– Ты хочешь сказать, что она...

– Да. Захочет обратиться. Но пока она еще это не продумала. Не продумала так, как мы сейчас.

– Ты ее не посвящал в свою теорию насчет Галереи?

Он, ни слова не говоря, еще раз покачал головой.

– Если ты ей все это выложишь, – сказала я, – и она согласится с теорией... Она, наверно, будет в ярости.

У Томми, судя по его виду, что-то было на уме, но он молчал. Заговорил, только когда мы опять пошли по узеньким улочкам, и внезапно его голос стал каким-то застенчивым.

– Вообще-то, Кэт... Я тут начал изображать кое-что. Так, на всякий случай. Никому еще не говорил, даже Рут. Просто проба.

Тогда-то я и услышала в первый раз о его фантастических животных. Когда он начал описывать свои рисунки (увидела я их только через несколько недель), большого энтузиазма я при всем желании проявить не могла. Все это, признаться, привело мне на память того давнего слона в траве, с которого начались все неприятности Томми в Хейлшеме. Толчком, объяснил он мне, послужила старая детская книжка с оторванной задней стороной обложки, которую он нашел в Коттеджах за диваном. Он потом уговорил Кефферса дать ему одну из маленьких черных тетрадок, в которых тот писал свою цифирь, и с тех пор Томми уже нарисовал больше десятка воображаемых существ.

– Вся штука в том, что я их делаю очень маленькими. Крохотными. В Хейлшеме мне такое никогда не приходило в голову. Может быть, поэтому я и давал там маху. Если ты их делаешь малюсенькими – а по-другому нельзя, страница там вот такого размера, – все сразу меняется. Как-то они вдруг оживают. И вырисовываешь потом все подробности у них. Думаешь, как они будут себя защищать, как будут доставать, что им нужно. Честно тебе скажу, Кэт: это ничего общего с тем, что я делал в Хейлшеме.

Он принялся описывать своих любимцев, но мне трудно было на них сосредоточиться; чем сильнее он расходился, говоря об этих животных, тем больше мне становилось не по себе. "Томми, – хотелось мне сказать, – ты что, опять намерен сделать из себя посмешище? Воображаемые животные? Да что с тобой, проснись!" Но я не стала. Только осторожно на него посматривала и повторяла: "Звучит неплохо, очень даже неплохо".

В какой-то момент он сказал:

– Еще раз говорю тебе, Кэт: Рут ничего об этих животных не знает.

И, когда он это произнес, он, кажется, вспомнил все остальное, вспомнил, почему вообще начался разговор о его рисунках, и его лицо как-то увяло. Потом мы снова шли молча, а когда повернули на Главную улицу, я сказала:

– Если даже в твоей теории что-то и есть, надо очень много всего еще выяснить. Например – как пара может заявить о себе? Что она должна сделать? Я что-то не видела нигде бланков заявлений.

— Мне это все тоже приходило в голову. — Его голос опять стал тихим и серьезным. — Я вижу только один путь: найти Мадам.

Я поразмыслила над этим, потом сказала:

— Не думаю, что это будет легко. По сути, мы не знаем о ней ровно ничего. Не знаем даже фамилию, имя. И ты ведь помнишь, как она держалась. Ей и подойти к нам было неприятно. Пусть даже ее удастся разыскать — сомневаюсь я, что она сильно поможет.

Томми вздохнул.

— Я и сам это понимаю... Ладно, время еще есть. Торопиться особенно некуда.

Пока мы шли к автостоянке, небо нахмурилось и стало довольно холодно. Наших еще видно не было, и мы с Томми прислонились к машине и стали смотреть на поле для мини-гольфа. Там никто не играл, и флажки развевались на ветру. Говорить про Мадам, Галерею и тому подобное мне больше не хотелось, поэтому я вынула из футляра кассету с песнями Джуди Бриджуотер и стала ее рассматривать.

— Спасибо, что купил ее мне, — сказала я.

Томми улыбнулся.

— Если бы я подошел к этой коробке с кассетами, а ты была у пластинок, я бы ее нашел, а не ты. Не повезло бедолаге Томми.

— Не вижу разницы. Мы ее нашли только потому, что ты подал такую идею. Я начисто ведь забыла про "край потерь". После этих высказываний Рут настроение у меня было хуже некуда. Надо же — Джуди Бриджуотер. Старая подруга. Как будто мы и не разлучались. Кто, интересно, тогда у меня ее выкрал?

Мы повернули головы в сторону улицы и поглядели, не идут ли остальные.

— Ты знаешь, — сказал Томми, — когда Рут все это выдала и я увидел, в каком ты состоянии...

— Не надо об этом, Томми. Сейчас у меня уже все прошло. И я не собираюсь обсуждать это с ней, когда они появятся.

— Нет, я другое имел в виду. — Он перестал опираться на машину, повернулся и надавил ногой на переднее колесо, словно проверяя его. — Когда Рут сказала то, что сказала, я понял, почему ты смотришь эти порножурналы. Ну ладно, понял — не то слово. Просто версия. Теория. Очередная моя. Просто я услышал эти слова Рут — и что-то в мозгах у меня щелкнуло.

Я знала, что он на меня смотрит, но сама глядела прямо перед собой и ничего не отвечала.

— И все-таки, Кэт, я не до конца понимаю, — сказал он после паузы. — Даже если Рут права, хотя я не думаю, — почему ты ищешь свое "возможное я" в порножурналах? Почему ты считаешь, что могла быть скопирована с одной из этих девиц?

Я пожала плечами, по-прежнему не глядя на него.

— Я не утверждаю, что в этом есть какой-то смысл. Просто хочется смотреть и смотрю. — В глазах у меня уже стояли слезы, и я постаралась скрыть это от Томми. Но немножко подвел голос — дрогнул, когда я сказала: — Если это так тебя беспокоит, больше не буду.

Не знаю, увидел ли Томми мои слезы. Так или иначе, когда он подошел близко и обнял меня за плечи, я уже контролировала себя. Он и раньше иногда так делал, так что в этом не было ничего особенного или

нового. Тем не менее я почему-то почувствовала себя лучше и усмехнулась. Он тогда отпустил меня, но мы все равно стояли почти касаясь друг друга, опять бок о бок и спиной к машине.

— Ну нет в этом смысла, нет, согласна, — сказала я. — Но мы же все так себя ведем, правда? Все интересуемся нашими оригиналами. В конце концов, почему мы сегодня сюда приехали? Все так, не одна я.

— Ты, Кэт, понимаешь, конечно, что я никому про это не сказал. Про то, как увидел тебя в котельной. Ни Рут, никому. Но все-таки до меня не доходит. Не доходит, зачем ты это.

— Ладно, Томми, я тебе скажу. Может, после того как ты услышишь, смысла и не прибавится, но скажу все равно. Просто время от времени, когда мне хочется секса, вдруг это желание становится очень сильным. Иной раз так накатывает, что час или два мне даже страшно. Кажется, что готова даже со старым Кефферсом, — такое у меня состояние. Вот почему... Это единственное, из-за чего я сошлась с Хью. И с Оливером. Ничего серьезного в этом нет. Я даже симпатии к ним особой не чувствую. Не понимаю, что все это значит, а потом, когда прошло, — мне страшно, и только. Вот я и стала думать: откуда-то ведь это, наверно, идет. Должно иметь отношение к тому, кто я такая. — Я замолчала, но Томми ничего не говорил, и я продолжала: — И я решила, что, если я найду ее фото в каком-нибудь из этих журналов, по крайней мере будет понятно. Я не собиралась ехать потом ее искать, ничего такого. Просто, ну, какое-то объяснение тому, что я собой представляю.

— Со мной такое тоже бывает, — сказал Томми. — Так припрет иногда, что... Да и любой, наверно, признается, если по-честному. Нет, я думаю, Кэт, у тебя тут все как у других. Я, по крайней мере, очень часто...

Он не договорил и засмеялся, но я смеяться с ним не стала.

— Я совсем не об этом, — возразила я. — Я знаю, видела, как это у остальных. Желание — да, возникает, но оно их не толкает ни на что особенное. Ни на что из ряда вон, как меня, когда я готова даже с такими, как Хью...

Наверно, я опять заплакала, потому что снова почувствовала вокруг плеч руку Томми. При этом, как расстроена ни была, не забывала, где мы находимся, и отметила про себя, что если вдруг появятся Рут, Крисси и Родни, то, пусть даже они увидят нас прямо сейчас, ложного представления у них создаться не должно. Мы по-прежнему стояли бок о бок, прислонясь к машине, и они увидели бы, что я чем-то огорчена и Томми меня успокаивает — только и всего. Потом я услышала его слова:

— Я не думаю, что это так уж прямо плохо. Если, Кэт, найдется кто-нибудь, с кем тебе действительно захочется быть, — все будет в лучшем виде. Помнишь, что опекуны говорили? С *тем* человеком ощущения могут быть просто замечательные.

Я шевельнула плечом, чтобы Томми убрал руку, потом глубоко вздохнула.

— Ладно, хватит об этом. В любом случае я уже куда лучше с собой справляюсь, когда такое случается. Поэтому — точка, забудем.

— И все равно, Кэт, смотреть эти журналы — глупое занятие.

— Глупое, глупое, согласна. Все, Томми, хватит. Я уже пришла в норму.

Не помню, о чем еще мы говорили, пока не явились остальные. Так или иначе, ничего серьезного больше не обсуждали, и если даже они почуяли что-нибудь в воздухе, никаких вопросов и высказываний не прозвучало. Все трое были в приподнятом настроении, особенно Рут, кото-

рая всячески старалась загладить тяжелую сцену. Она подошла ко мне, провела ладонью по моей щеке, шутливо что-то сказала и потом, когда сели в машину, прилагала все усилия, чтобы общее оживление не выдохлось. Им с Крисси буквально все в Мартине казалось комичным, и они рады были возможности открыто потешаться над ним теперь, уйдя из его квартиры. Родни не очень это одобрял, и я видела, что они затеяли этот треп, большей частью чтобы его подразнить. Обстановка при этом была вполне дружелюбная. Я заметила еще, что если с утра Рут не упускала возможности оставить нас с Томми в неведении насчет смысла той или иной шутки или замечания, то сейчас, на обратном пути, она то и дело поворачивается ко мне и подробно разъясняет, о чем идет речь. В какой-то момент, если честно, это стало довольно утомительным: словно бы все, что говорилось в машине, говорилось главным образом для наших — моих по крайней мере — ушей. И все-таки мне было приятно, что Рут ради меня так старается. Я понимала — и Томми тоже, — что она сожалеет о своем поведении и таким способом дает это понять. Она сидела, как утром, между мной и Томми, но теперь почти все время разговаривала со мной, иногда поворачиваясь к нему, чтобы на секундочку обнять или легонько чмокнуть. В общем, ехалось хорошо, и никто не упоминал ни о "возможном я" для Рут, ни о чем-либо подобном. А я молчала насчет кассеты, которую Томми мне купил. Понятно было, что рано или поздно Рут про нее узнает, но мне не хотелось, чтобы это произошло именно сейчас. Возвращаясь в тот день в Коттеджи по темнеющим длинным пустым дорогам, мы трое опять были близки, и я не желала допускать извне ничего, что могло бы разрушить это настроение.

Глава шестнадцатая

После этой поездки в Норфолк мы, что странно, о ней почти не говорили. Дошло до того, что с какого-то момента о том, чем мы там занимались, стали распространяться всяческие слухи. И даже тогда мы больше помалкивали, пока наконец у окружающих не пропал интерес.

Я и сейчас не знаю точно, почему мы так себя повели. Скорее всего — выжидали, уступая дорогу Рут, считая, что ей первое слово, что ей решать, о чем рассказывать, о чем нет. А она по той или иной причине — может быть, смущена была тем, как все обернулось с ее "возможным я", может быть, ей просто нравилось напускать на себя таинственность — не говорила на эту тему ровно ничего. Даже между собой мы избегали разговоров о поездке.

В этой атмосфере скрытности мне довольно легко было удержаться и не рассказывать Рут про кассету, которую купил мне Томми. Не то чтобы я ее прятала по-настоящему. Она все время была среди других кассет, составлявших мою коллекцию, в одной из маленьких стопок около гладильной доски. Но я постоянно следила за тем, чтобы она не оставалась наверху стопки. Иной раз мне страшно хотелось посвятить во все Рут, чтобы потом посидеть с ней, поговорить про Хейлшем под негромкие звуки этих песен. Но время шло, а я все молчала насчет кассеты, и чем дальше, тем больше это походило на какую-то постыдную тайну. Потом, гораздо позже, она, конечно, эту кассету увидела, и лучше бы она увидела ее сразу, чем тогда, — но что делать, это уж как кому везет.

С началом весны все больше старожилов стало уезжать на курсы помощников, и хотя они отправлялись без особого шума, обычным порядком, из-за самого количества отбывающих этого уже нельзя было не замечать. Какие чувства мы испытывали по этому поводу, определить точно не могу. В какой-то мере мы, кажется, завидовали тем, кто покидал Коттеджи. Было ощущение, что их ждет более обширный, волнующий мир. С другой стороны, конечно, их отъезд все сильнее смущал нас и тревожил.

Потом — кажется, в апреле — мы распрощались с Элис Ф., она стала первой из нашей хейлшемской компании; вскоре за ней последовал Гордон К. И тот и другая сами попросились на курсы и отправились с бодрыми улыбками, но после этого атмосфера в Коттеджах, по крайней мере для нас, изменилась навсегда.

Вереница отъездов, похоже, подействовала и на многих старожилов, и, возможно, прямым результатом была новая волна слухов такого же сорта, как те, о которых говорили в Норфолке Крисси и Родни. Ходили толки о парах бывших воспитанников в других частях страны, которые получили отсрочки, сумев доказать, что у них любовь, причем теперь иногда речь шла и о тех, кто не имел отношения к Хейлшему. И опять-таки мы, пятеро, побывавшие в Норфолке, держались от этих разговоров в стороне; даже Крисси и Родни, которые раньше были в самой их гуще, теперь, стоило им начаться, неловко отворачивались.

"Эффект Норфолка" сказался даже на нас с Томми. Когда мы только вернулись, я думала, что мы будем использовать разные мелкие возможности, чтобы, оставаясь ненадолго наедине, обмениваться дальнейшими мыслями о его теории насчет Галереи. Но почему-то — и со мной это было связано не меньше, чем с ним, — такого никогда не происходило. Единственным исключением было утро в так называемой гусятне, когда он показал мне своих воображаемых животных.

Строение, которое мы называли гусятней, находилось в дальней части территории Коттеджей, и, поскольку крыша там вовсю текла и дверь была сорвана с петель, мы практически его не использовали — разве что какая-нибудь парочка уединялась там в теплое время года. Я той весной пристрастилась к дальним одиноким прогулкам и, помнится, отправилась на одну из них и проходила мимо гусятни, когда меня окликнул Томми. Я обернулась и увидела его — он неуклюже стоял босиком на островке посреди громадных луж, опираясь для равновесия одной рукой о стену гусятни.

— Где твои сапоги, Томми? — спросила я. Одет он был как обычно — толстый джемпер и джинсы. Только ступни голые.

— Я тут вообще-то *рисую*...

Он засмеялся и показал мне маленькую черную тетрадку, такую же, как те, с какими всегда ходил Кефферс. После поездки в Норфолк тогда прошло уже больше двух месяцев, но, едва я увидела ее, мне сразу стало понятно, о чем речь. Но я дождалась его слов:

— Если хочешь, Кэт, я тебе покажу.

Он поманил меня в гусятню и сам запрыгал туда по каменистой земле. Я думала, внутри будет темно, но через окна в крыше светило солнце. Вдоль одной стены стояла негодная мебель, которую сносили сюда весь последний год, — сломанные столы, старые холодильники и тому подобное. Двухместный диванчик с черной рваной пластиковой обив-

кой, из-под которой лезли клоки, на середину вытащил, видимо, сам Томми, и я догадалась, что он увидел меня, когда сидел на нем и рисовал. Рядом на полу валялись его резиновые сапоги, из голенищ торчали носки.

Томми с размаху сел на диванчик и схватился за большой палец ноги.

— Извини — ноги фу какие. Сам не заметил, как все это снял. Кажется, сейчас чем-то порезался. Ну что, Кэт, посмотришь? Рут я показал на той неделе и с тех пор все время хотел тебе тоже. Никто, кроме Рут, не видел. Вот.

Тогда-то я и познакомилась с его зверинцем. Когда он сказал мне про него в Норфолке, я вообразила себе уменьшенные варианты картинок, которые мы рисовали в детстве. Поэтому теперь меня ошеломила детальность каждого изображения. Не сразу даже понятно было, что это живые существа. Первое впечатление — как если убрать заднюю стенку у радиоприемника: крохотные канальцы, переплетающиеся сухожильица, миниатюрные "винтики и колесики" были вырисованы с тщательностью, доходящей до одержимости, и только отодвинув страницу подальше, можно было увидеть, что это, скажем, птица или подобие броненосца.

— Это вторая моя тетрадка, — сказал Томми. — Первую нельзя никому показывать. У меня не сразу пошло как надо.

Тем временем он натягивал носок, откинувшись на спинку диванчика, и тон старался сделать равнодушно-небрежным — но я-то знала, что для него очень важно, как я отреагирую. И тем не менее я не могла с ходу расхвалить его работу. Отчасти, может быть, из-за тревожных мыслей о том, как бы из-за этих усилий в области искусства у него опять не начались большие неприятности. Но вдобавок то, что я увидела, было настолько не похоже на все, чему нас учили в Хейлшеме, что я просто не знала, как к этому отнестись. Я сказала примерно вот что:

— Боже мой, Томми, сколько же нужно сосредоточенности! Удивляюсь, как у тебя зрения хватает при таком свете на эти малюсенькие мелочи. — Потом, переворачивая страницы дальше, я, может быть, из-за того, что все еще не надумала, как это вслух оценить, добавила: — Интересно, что сказала бы Мадам, если бы увидела.

Я произнесла это шутливым тоном, и Томми в ответ усмехнулся, но в воздухе повисло что-то новое, чего в нем раньше не было. Я продолжала листать тетрадку, заполненную примерно на четверть, и не поднимала на Томми глаз, жалея, что упомянула про Мадам. В конце концов я услышала:

— Мне надо еще очень сильно постараться, чтобы *ей* можно было показать.

Я не знала, воспринимать ли это как сигнал, чтобы я сказала что-нибудь хвалебное, — а между тем у меня начала возникать неподдельная симпатия к этим фантастическим существам. В каждом из них при всем обилии деятельных, словно бы металлических элементиков была какая-то нежность, даже хрупкость. Мне вспомнилось сказанное им в Норфолке, что, когда он их рисовал, его заботило, как они будут защищаться, как смогут добираться и дотягиваться до необходимого, и, глядя на них теперь, я тоже об этом беспокоилась. Тем не менее по какой-то непонятной причине слова похвалы застревали у меня в горле. Потом Томми сказал:

— Я не только ведь ради этого стал их рисовать. Мне просто нравится. Я тут засомневался, Кэт, — держать это дальше в секрете или нет? Пусть кто-то и узнает — что особенно страшного? Ханна вон до сих пор занимается своими акварелями, многие старожилы тоже что-то такое делают. Я не в том смысле, что буду ходить и всем подряд показывать. Но я вот думаю — стоит ли сейчас секретность разводить?

Наконец-то я смогла поднять на него глаза и что-то произнести более или менее убежденным тоном. Я сказала:

— Не стоит, Томми, конечно, не стоит. У тебя отлично получается. По-настоящему здорово. Прятаться здесь из-за этого — дурь полнейшая.

Он ничего на это не ответил, но ухмыльнулся, точно смакуя про себя какую-то шутку, и мне понятно было, как я его осчастливила. Потом мы, насколько помню, уже мало о чем говорили. Кажется, он надел вскоре сапоги, и мы оба вышли из гусятни. Это был, повторяю, единственный раз за всю весну, когда мы с Томми прямо коснулись в разговоре его теории.

Потом настало лето, и исполнился год с тех пор, как мы приехали в Коттеджи. Микроавтобус привез новую группу воспитанников — в точности как нас в прошлом году, только теперь все они были не из Хейлшема. В каком-то смысле это было для нас облегчением: мы все, по-моему, тревожились, что появление новых наших может осложнить обстановку. С другой стороны, у меня, по крайней мере, этот неприезд бывших однокашников усиливал ощущение, что Хейлшем остался далеко в прошлом, что все былые связи ослабевают. Мало того, что Ханна и еще некоторые постоянно вели разговоры об отъезде вслед за Элис на курсы; вдобавок к этому другие, например Лора, завели бойфрендов не из числа хейлшемцев, и можно было почти что и забыть, что мы когда-то были одна компания.

А тут еще притворство Рут, которая делала вид, будто ничего про Хейлшем не помнит. Да, это проявлялось по большей части в мелочах, но такие мелочи все сильней меня раздражали. Однажды, к примеру, мы сидели за кухонным столом после долгого завтрака: Рут, я и несколько старожилов. Один из них говорил о том, что если на ночь наешься сыру, то потом беспокойно спишь, и я, повернувшись к Рут, сказала примерно вот что: "Помнишь — мисс Джеральдина нас все время об этом предупреждала?" Замечание было сделано мимоходом, и от Рут только и требовалось, что улыбка или кивок. Но она сочла нужным уставиться на меня непонимающим взглядом, и только когда я сказала старожилам в порядке объяснения: "Это одна из наших опекунш", Рут нахмурила брови и кивнула, как будто только сейчас вспомнила.

В тот раз я так это и оставила, но был другой случай, когда я возмутилась, — мы с ней сидели вечером в заброшенной будке для пассажиров на бывшей автобусной остановке. Я рассердилась, потому что одно дело играть в эту игру перед старожилами и совсем другое — когда нас только двое и мы обсуждаем серьезные вещи. В какой-то момент разговора я заметила вскользь, что в Хейлшеме кратчайшая дорога к пруду через заросли ревеня лежала вне разрешенной территории. И когда Рут напустила на себя озадаченный вид, я бросила говорить, о чем говорила, и упрекнула ее:

— Рут, забыть про это ты никак не могла. Так что перестань валять дурака!

Не одерни я ее так резко — скажем, пошутила бы беззлобно и продолжала свое, — Рут почувствовала бы, как нелепо себя ведет, рассмеялась бы, и все. Но после такого выпада она свирепо уставилась на меня и сказала:

— Какое, не пойму, это имеет значение? При чем тут вообще заросли ревеня? Давай рассказывай дальше, не отвлекайся.

Было уже довольно поздно, летнее солнце садилось, в старой будке после недавней грозы было сыро и затхло, и желания объяснять, почему это все-таки имеет значение, у меня не возникло. И хотя я не стала развивать тему и продолжила прерванный разговор, доверительность пропала, и это вряд ли могло помочь нам разобраться с трудностями, которые мы испытывали.

Но, чтобы объяснить, о чем мы говорили в тот вечер, мне надо будет вернуться немного назад. Если точнее — на несколько недель назад, к началу лета. Некоторое время у меня была связь с одним старожилом, которого звали Ленни, — честно говоря, секс в чистом виде, ничего больше. Но вдруг он решил начать подготовку и уехал на курсы. Это както выбило меня из колеи, и Рут повела себя выше всяких похвал: спокойно, без суеты заботилась обо мне, всегда готова была подбодрить, если я хандрила. Она постоянно оказывала мне мелкие услуги: то сандвич сделает, то подменит меня, когда моя очередь убирать.

Потом — спустя недели две после отъезда Ленни — мы однажды полуночничали вдвоем в моей чердачной комнатушке, болтали, пили чай, и Рут, когда заговорили про Ленни, довела меня до хохота. Он был в общем-то неплохой парень, но, стоило мне начать рассказывать о нем кое-какие интимные вещи, возникло ощущение, что все связанное с ним — сплошная умора, и мы смеялись не переставая. Потом в какой-то момент Рут принялась водить пальцем по кассетам, лежащим стопками вдоль моей гладильной доски. Она делала это с рассеянным видом, продолжая смеяться; но позднее на меня напало подозрение, что никакой случайности тут не было, что кассету она заметила раньше, не один день назад — возможно, даже рассмотрела хорошенько для верности, — и затем дождалась подходящего момента, чтобы "обнаружить". Годы спустя я осторожно намекнула на это Рут, но впечатление было, что она не понимает, о чем я говорю, так что, может быть, я и ошиблась. Как бы то ни было — вот мы покатываемся и покатываемся со смеху по поводу все новых подробностей, которые я выдаю про бедного Ленни, — и вдруг точно вилку из розетки выдернули. Рут лежит на боку на моем ковре, вглядывается при неярком свете в стопку кассет — и миг спустя Джуди Бриджуотер уже у нее в руках. После паузы, затянувшейся, казалось, на целую вечность, она спросила:

— И давно она у тебя опять?

Стараясь выбирать выражения понейтральнее, я рассказала ей, как мы с Томми обнаружили кассету в Норфолке, пока она проводила время с остальными. Она продолжала ее рассматривать, потом промолвила:

— Значит, ее Томми для тебя нашел.

— Нет. Я сама нашла. Я первая ее увидела.

— Ты ничего мне не говорила, он тоже. — Она пожала плечами. — Или я плохо слушала.

— Про Норфолк оказалась правда, — заметила я. — Ну, помнишь, — что это "край потерь" для всей Англии.

У меня мелькнула мысль, что Рут притворится, будто не помнит, но она глубокомысленно кивнула.

— Жаль, я тогда не сообразила, — сказала она. — Надо было мой красный шарф поискать.

Мы обе засмеялись, и неловкость вроде бы прошла. Но в том, как Рут, не развивая тему, положила кассету на место, было что-то такое, из-за чего я подумала: нет, это еще не конец.

Не знаю — направляла ли Рут последующий разговор в нужную ей сторону в свете своего открытия, или же мы двигались туда независимо ни от чего, и она только потом сообразила, как все это можно использовать. Мы опять взялись обсуждать Ленни, главным образом как он занимался сексом, и снова начали покатываться со смеху. И тут-то я — кажется, на радостях, что она наконец увидела кассету и не закатила по этому поводу никакой сцены, — повела себя не слишком аккуратно. Дело в том, что вскоре мы, отсмеявшись над Ленни, стали смеяться уже над Томми. Вначале вполне добродушно, как бы проявляя к нему таким образом теплое отношение. Но потом мы принялись высмеивать его животных.

Я никогда, повторяю, не была уверена, что Рут нарочно к этому вырулила. Если честно, я даже не могу поручиться, что она первая упомянула его рисунки. И, начав смеяться, я смеялась с ней наравне — над тем, что одно из существ выглядит так, словно надело трусики, что другое похоже на расплющенного ежа. Мне, конечно, следовало сказать среди этого смеха, что рисунки вообще-то мне нравятся, что Томми молодец, что он вышел на хороший уровень. Но я ничего такого не сказала. Отчасти — из-за кассеты; и еще, если уж совсем начистоту, может быть, из-за того, что я довольна была пренебрежительным отношением Рут к творчеству Томми, имея в виду все, что с этим связано. Насколько помню, мы, когда наконец стали прощаться в ту ночь, чувствовали, что очень близки друг другу. Уходя, она погладила меня по щеке со словами:

— Умница, Кэти, как хорошо, что ты никогда не унываешь.

Поэтому я совершенно не была готова к тому, что произошло на кладбище несколько дней спустя. Рут обнаружила тем летом в полумиле от Коттеджей очень милую старинную церквушку, позади которой был заброшенный погост с покосившимися старыми надгробиями среди травы. Там все изрядно заросло, но было тихо, спокойно, и Рут завела привычку сидеть там и читать у дальней стороны ограды, на скамейке под большой ивой. Поначалу я была от этого не в восторге, помня, как прошлым летом мы все вместе сидели на траве прямо там, у Коттеджей. Тем не менее если я, гуляя, двигалась в ту сторону и предполагала, что Рут может быть там, ноги сами меня несли через низкие деревянные воротца и дальше по заросшей тропинке мимо надгробий. В тот день было тепло и безветренно, и я шла по тропинке в какой-то задумчивости, читала надписи на камнях и вдруг увидела под ивой не только Рут, но и Томми.

Она сидела на скамейке, а Томми стоял, положив пятку на ржавый подлокотник, беседовал с ней и одновременно делал какое-то упражнение на растяжку мышц. Как серьезный разговор это не выглядело, и я без колебаний к ним подошла. Наверно, я должна была что-то уловить в том, как они со мной поздоровались, но явного точно ничего не было. Мне очень хотелось сообщить им одну сплетню насчет новоприбывших, поэтому некоторое время просто я молола языком, а они кивали и лишь изредка о чем-то по мелочи меня спрашивали. До меня не сразу до-

шло, что между ними что-то происходит, и даже когда я умолкла и после паузы спросила: "Я ничему не помешала?", тон у меня был скорее шутливый. Но Рут ответила:

— Томми тут излагал мне свою гениальную теорию. Говорит, тебе уже все рассказал. Давным-давно причем. Теперь вот и до меня милостиво снизошел.

Томми набрал воздуху и хотел что-то сказать, но Рут издевательским шепотом произнесла:

— Поведал мне великую тайну Галереи!

Они оба смотрели на меня, точно я была теперь главным действующим лицом и от меня зависело, что произойдет дальше.

— Не такая уж глупая теория, — сказала я. — Может быть, и верная, я не знаю. А ты что думаешь, Рут?

— Мне клещами пришлось тянуть из этого молодца. Не очень-то ты хотел говорить — правда, дорогуша? Пришлось нажать на него как следует, чтобы узнать, что стоит за всем этим *искусством*.

— Я не только для этого, — мрачно возразил Томми, не снимая ступню с подлокотника и продолжая упражняться. — Я всего-навсего сказал, что *если* с Галереей дело обстоит именно так, то я могу попытаться. Могу представить им своих животных...

— Томми, лапочка, будь добр, не выставляй себя перед нашей подругой полным идиотом. Передо мной — ладно, так и быть. Но не выставляй перед нашей милой Кэти.

— Не понимаю, что тебя так смешит, — сказал Томми. — Теория как теория, не хуже любой другой.

— Да не над *теорией* твоей все будут смеяться, дорогой ты мой. Теорию-то, может, люди и переварят. Но вообразить, что ты сможешь подействовать на Мадам своими зверюшками...

Рут улыбнулась и покачала головой. Томми молчал и продолжал тянуть мышцы. Я хотела ему помочь и пыталась найти какие-то слова, чтобы подбодрить его и в то же время не разозлить Рут еще больше. Но как раз в этот момент Рут сказала то, что сказала. Ощущение от ее слов уже тогда было очень неприятное, но, стоя в тот день на кладбище, я и не подозревала о дальних последствиях, которые они будут иметь. Она сказала вот что:

— Ведь не я одна, родной ты мой. Кэти вот тоже считает твоих животных полной белибердой.

Моим первым побуждением было возмутиться, потом — рассмеяться. Но тон, которым Рут это произнесла, был очень уверенным, и мы, все трое, знали друг друга достаточно хорошо, чтобы можно было не сомневаться: за ее словами что-то стоит. Поэтому я так рта и не раскрыла, а в уме между тем лихорадочно перебирала прошлые разговоры, пока с холодным ужасом не наткнулась на тот поздний вечер у меня в комнате.

— Пока люди будут думать, что ты рисуешь этих малюток шутки ради, все будет хорошо, — промолвила Рут после паузы. — Но не говори никому, что это у тебя всерьез. Очень прошу.

Томми снял ногу с подлокотника и вопросительно смотрел на меня. Вдруг в нем опять проступил ребенок, лишенный всякой защитной маски, и я видела, что в глубине его взгляда сгущается что-то темное и тревожное.

— Томми, пойми простую вещь, — продолжала Рут. — Если мы с Кэти над тобой от души посмеялись, особого значения это, конечно, не име-

ет. Потому что это мы. Но, пожалуйста, никого больше в это не посвящай.

Я потом обдумывала этот момент много раз. Мне следовало найтись и что-то сказать. Могла просто заявить, что Рут говорит неправду, — хотя Томми вряд ли мне бы поверил. А попробовала бы объяснить все правдиво — точно запуталась бы. Но что-то надо было, можно было сделать. Я могла бросить Рут перчатку, сказать, что она извращает суть, что да, я смеялась, но смеялась не с тем настроением, которое она мне приписывает. Я могла даже подойти к Томми и обнять его прямо на глазах у Рут. Это пришло мне в голову годы спустя, и, конечно, такой вариант был не слишком реальным тогда, при моем характере и при том, как складывались отношения у нас троих. Но, может быть, это было бы выходом — тогда как от слов мы увязли бы еще больше.

Но я ничего не сказала и не сделала. Отчасти, думаю, потому, что фокус Рут меня просто сразил. Помню, на меня вдруг навалилась громадная усталость, и я впала в какое-то оцепенение перед лицом всей этой удручающей мешанины. Словно задали задачу по математике, а усталые мозги служить отказываются, и ты знаешь, что решение есть, оно маячит где-то вдалеке, но силы на его поиски взять негде. Что-то во мне подалось, подломилось. Какой-то голос внутри зазвучал: "Пусть, пусть он подумает самое худшее. А, плевать, пусть подумает". И, кажется, я посмотрела на него подтверждающе, как будто говоря: "Да, это так, а чего ты еще ожидал?" Я до сих пор очень четко помню, как выглядел Томми в этот момент: негодование на его лице сменялось чуть ли не изумлением, точно я была редкой бабочкой, которую он увидел на заборе.

Я не боялась тогда, что разрыдаюсь, или взбеленюсь, или еще что-нибудь. И все-таки решила просто повернуться и уйти. Ушла — и уже в тот день поняла, что совершила большую ошибку. Могу сказать одно: меня больше всего тогда страшило, что кто-нибудь из них рванет с кладбища первым и мне придется остаться с другим наедине. Вариант, что уйдут двое, я не рассматривала, не знаю почему, и мне нужно было, чтобы отколовшимся куском стала я. Так что я повернулась и двинулась от них тем же путем, каким пришла, мимо могильных плит и через деревянные ворота, и несколько минут у меня было ощущение торжества — что теперь они остались вдвоем и переживают то, что вполне заслужили.

Глава семнадцатая

Как я уже говорила, только гораздо позже — когда я уже давно уехала из Коттеджей — я поняла, как много значил для нас этот короткий разговор на сельском кладбище. Безусловно, я была тогда огорчена. Но я не думала, что это так уж сильно отличается от других маленьких размолвок, какие у нас были. Мне и в голову не могло прийти, что наши жизни, до сих пор так тесно переплетенные, могут разъединиться из-за чего-то подобного.

Но дело, видимо, в том, что к тому времени довольно мощные силы уже тянули нас в разные стороны, и чтобы довести все до конца, ничего больше и не требовалось. Если бы мы это тогда понимали, то — кто знает? — может быть, крепче держались бы друг за друга.

Люди тогда один за другим уезжали на курсы помощников, и среди нас, хейлшемских, нарастало ощущение, что это естественный путь для всех. Сочинения наши не были еще готовы, но мы прекрасно понимали, что на курсы можно отправиться и так. В начале пребывания в Коттеджах мы и представить себе не могли, что можно не дописать сочинение. Но чем дальше отодвигался Хейлшем, тем менее важной казалась эта деятельность. У меня была тогда мысль — верная, пожалуй, — что если дать представлению о важности сочинений сойти на нет, то таким же образом постепенно улетучится и все остальное, что нас, воспитанников Хейлшема, объединяет. Поэтому какое-то время я сознательно пыталась поддерживать в себе и других желание читать и делать заметки. Но не было никаких причин думать, что мы когда-нибудь еще увидим наших опекунов, люди один за другим уезжали, и вскоре возникло ощущение, что борьба проиграна.

Как бы то ни было, после разговора на кладбище я всячески старалась, чтобы он скорее ушел в прошлое. По отношению к Томми и Рут я вела себя так, словно ничего особенного не случилось, и они, в свою очередь, тоже делали такой вид. Но что-то тем не менее всегда присутствовало, и не только между мной и ними. Хотя они по-прежнему изображали из себя пару и все еще не отказались от характерного жеста — от прикосновения к руке при прощании, — я достаточно хорошо их знала, чтобы видеть: они стали довольно далеки друг от друга.

Конечно, мне было нехорошо из-за всего этого, особенно из-за рисунков Томми. Но такого простого выхода, как подойти к нему, попросить прощения и объяснить, что и как на самом деле, у меня не было. Несколько лет назад, даже полгода назад так еще можно было поступить. Мы с Томми поговорили бы, и почти наверняка все бы уладилось. Но к тому второму лету что-то изменилось. Может быть, виной всему мои отношения с Ленни — не знаю. Так или иначе, говорить с Томми мне стало труднее. На поверхности у нас с ним шло более или менее по-прежнему, но мы никогда не упоминали ни о его животных, ни о случившемся на кладбище.

Вот как все было перед тем разговором в старой будке на остановке автобуса, когда Рут сильно рассердила меня, притворившись, что не помнит про заросли ревеня в Хейлшеме. Повторяю — я ни за что так не вспылила бы, не будь это посреди очень серьезного разговора. Да, главная его часть осталась к тому времени позади, но все равно, пусть даже мы начали тогда расслабляться и переходить к чему-то более легкому, все это входило в состав нашей попытки разобраться в ситуации, и такое притворство по мелочам было совершенно неуместно.

События развивались вот как. Хотя между мной и Томми черная кошка и пробежала, что касалось Рут — с ней у меня дела обстояли все-таки лучше, так, по крайней мере, я думала, и я решила, что нам пора наконец обсудить то, что произошло тогда на кладбище. Стоял очередной летний день с ливнями и грозами, и мы волей-неволей сидели в помещении, где тоже было сыро. Так что когда к вечеру небо расчистилось и стал разгораться красивый розовый закат, я предложила Рут выйти подышать. Незадолго до этого я обнаружила тропинку, которая круто шла вверх вдоль края долины, и там, где она выходила на дорогу, стояла будка для ожидающих автобуса. Маршрут ликвидировали уже очень давно, знак остановки был убран, и внутри будки на задней стене осталась только рамка от расписания, которое раньше висело тут под стеклом.

Но сама будка — довольно изящное деревянное строеньице, открытое с одной стороны, с видом на поля, спускающиеся в долину, — еще стояла, и даже скамейка в ней была цела. Там-то мы в тот вечер и сидели, дышали воздухом и глядели на увешанные паутиной стропила и на закатное небо. Потом я сказала примерно вот что:

— Знаешь, Рут, нам надо все-таки попробовать понять, что случилось у нас на днях.

Тон я сделала очень мирным, и Рут отреагировала хорошо. Мигом сказала, что это очень глупо, когда три человека ссорятся по таким пустякам. Вспомнила другие наши размолвки, и мы с ней немножко над ними посмеялись. Но мне не хотелось, чтобы Рут все свела к этому, и я сказала ей тоном по-прежнему таким дружеским, как только возможно:

— Рут, у меня вот бывает чувство после того, как вы стали парой, что вы иногда кое-что не так хорошо видите, как оно видно со стороны. Иногда, не часто.

Она кивнула.

— Да, это так, пожалуй.

— Я совершенно не хочу вмешиваться. Но последнее время мне порой кажется, что Томми здорово расстроен. Ну... из-за чего-то, что ты говоришь или делаешь.

Я боялась, что Рут рассердится, но она со вздохом кивнула.

— Похоже, ты права, — сказала она, помолчав. — Я и сама про это много думаю.

— Тогда, может, я зря с этим вылезла. Должна была знать, что ты и так все видишь. В общем-то, это не мое дело.

— Нет, Кэти, и твое тоже. Ты наша, ты одна из нас, как это — не твое дело? Ты права, нехорошо у нас получилось. Я ведь понимаю, о чем ты. О том разговоре насчет его животных. Нехорошо вышло. Я перед ним уже повинилась.

— Я рада, что вы поговорили. Я про это не знала.

Рут между тем отколупывала от скамьи заплесневелые щепки и какое-то время, казалось, была полностью поглощена этим занятием. Потом сказала:

— Нет, Кэти, это правильно, что мы начали говорить про Томми. Я тут кое-что хотела тебе сказать, но не знала, как подступиться. Только пообещай, что не рассердишься.

Я посмотрела на нее.

— Постараюсь, если это не насчет футболок опять.

— Нет, серьезно. Пообещай, что не будешь сердиться. Потому что я должна тебе это сказать. Не простила бы себе, если бы долго с этим тянула.

— Ладно, говори.

— Кэти, я не один день уже об этом думаю. Ты не дура и наверняка понимаешь, что мы с Томми, может быть, не вечно будем вместе. Это не трагедия. Сначала нам было хорошо друг с другом. Будет ли так всегда — неизвестно. И теперь вот все эти разговоры насчет отсрочек для пар, которые докажут, что они, ну, настоящие. Так вот, Кэти, я что хочу тебе сказать. Совершенно естественно, что ты когда-нибудь можешь задуматься: если Томми и Рут, предположим, вдруг решат расстаться — что тогда будет? Мы ничего такого не решили, пойми меня правильно. Но задаться по крайней мере таким вопросом — это было бы с твоей стороны вполне нормально. И понимаешь, Кэти, тебе надо отдавать себе от-

чет: Томми *так* на тебя не смотрит. Он очень, очень хорошо к тебе относится, по-настоящему тебя уважает. Но я знаю, что он не видит тебя в качестве — ну, своей девушки. Кроме того... — Рут помолчала, потом вздохнула. — В общем, ты ведь знаешь Томми. Он страшно разборчивый иногда бывает.

Я уставилась на нее.

— Что ты имеешь в виду?

— Я думала, ты поймешь, что я имею в виду. Томми не нравятся девушки, которые... которые, ну, водились и с тем парнем, и с этим. Просто, знаешь, вкусы такие у человека. Прости меня, Кэти, но было бы, наверно, нехорошо это от тебя скрывать.

Я поразмыслила, потом сказала:

— Всегда полезно знать такие вещи.

Рут дотронулась до моей руки.

— Я так и думала, что ты правильно воспримешь. Только помни, учти: он очень высоко тебя ценит. Точно тебе говорю.

Мне хотелось поменять тему, но в голове была пустота. Рут, похоже, это уловила: она потянулась, издала что-то вроде зевка и сказала:

— Вот научусь если водить машину — свожу и тебя, и Томми куда-нибудь в дикое место. В Дартмур, скажем. Мы трое, может, еще Лора и Ханна. Хотелось бы увидеть болота и всякое такое.

Несколько минут мы проговорили о том, чем можно было бы заняться в такой поездке, если бы она состоялась. Я спросила, где бы мы ночевали, и Рут ответила, что можно взять напрокат большую палатку. Я сказала, что в таких местах бывают очень жестокие ветры и ночью палатку вполне может сдуть. Все это говорилось не слишком всерьез. Но тут я вспомнила, что в Хейлшеме, когда мы еще были в младших классах, у нас однажды был пикник у пруда с мисс Джеральдиной. Джеймса Б. послали в главный корпус за пирогом, который мы вместе испекли, но, пока он его нес, сильный порыв ветра сорвал верхний слой бисквита и рассыпал по листьям ревеня. Рут сказала, что, кажется, припоминает, но очень смутно, и я, чтобы подстегнуть ее память, заметила:

— У него были потом неприятности — ведь это доказывало, что он шел через заросли ревеня.

Вот тогда-то Рут посмотрела на меня и спросила:

— Ну и что? Что он этим нарушил?

Все дело было в том, как она это произнесла, — тоном вдруг настолько фальшивым, что даже посторонний, окажись он там, это почувствовал бы. Я вздохнула с раздражением:

— Рут, перестань валять дурака! Забыть про это ты никак не могла. Ты знаешь, что этим путем нам запрещали ходить.

Может быть, у меня вышло и резковато. Рут, так или иначе, упорствовала — продолжала прикидываться, что ничего не помнит, и я раздражалась все сильней. Тут-то она и сказала:

— Какое, не пойму, это имеет значение? При чем тут вообще заросли ревеня? Давай рассказывай дальше, не отвлекайся.

После этого мы, насколько помню, продолжали разговор более или менее дружески и вскоре уже шли в сумерках вниз по тропинке обратно в Коттеджи. Но атмосфера так полностью и не разрядилась, и расстались мы у Черного амбара без обычных наших легких прикосновений к рукам и плечам.

Вскоре после этого я приняла решение и, приняв, уже не колебалась. Просто встала однажды утром и сказала Кефферсу, что хочу отправиться на курсы помощников. Все это было на удивление просто. Он шел через двор с куском трубы в своих покрытых грязью сапогах и что-то ворчал себе под нос. Я подошла к нему, сказала, и он посмотрел на меня таким же взглядом, как если бы я стала докучать ему по поводу, скажем, дров. Потом пробормотал что-то в том смысле, чтобы я пришла во второй половине дня заполнить бумаги. Только и всего.

Дело, конечно, заняло еще какое-то время, но процесс был запущен, и внезапно я стала смотреть на все — на Коттеджи, на их обитателей — другими глазами. Я была теперь одной из отъезжающих, и вскоре об этом уже знали все. Может быть, Рут предполагала, что мы будем долгие часы проводить в разговорах о моем будущем; может быть, она считала, что от ее мнения будет зависеть, передумаю я или нет. Но я держалась от нее, как и от Томми, на некотором отдалении. По-настоящему мы в Коттеджах так больше ни разу и не поговорили, и я сама не заметила, как настало время прощаться.

Часть третья

Глава восемнадцатая

В целом работа помощницы очень хорошо мне подошла. Можно даже сказать — выявила лучшее, что во мне есть. Бывает, что человек просто-напросто к ней не приспособлен, и для него все это становится колоссальным испытанием. Первое время может справляться и неплохо, но потом многие часы, проведенные около боли и удрученности, начинают сказываться. И рано или поздно наступает момент, когда один из твоих доноров не выкарабкивается, хотя, предположим, это всего-навсего вторая выемка и никто не ждал осложнений. Когда донор вот так, ни с того ни с сего, завершает, тебя не очень-то может утешить ни то, что говорит тебе потом медперсонал, ни письмо, где сказано, что ты, несомненно, сделал все возможное и они ценят твою добросовестность. Какое-то время (по меньшей мере) ты деморализован. Некоторые довольно быстро учатся с этим справляться. Но другие — Лора, к примеру, — так и не могут научиться.

Потом еще одиночество. Ты растешь вместе со всеми, в густой массе, ничего другого не знаешь — и вдруг становишься помощником. Час за часом сидишь за рулем сам по себе, ездишь по стране от центра к центру, от больницы к больнице, ночуешь в мотелях, о заботах своих поговорить не с кем, посмеяться не с кем. Изредка можешь случайно наткнуться на донора или помощника, знакомого по прошлым годам, но времени на разговор обычно очень мало. Ты вечно спешишь, а если даже и нет — слишком вымотан для нормальной беседы. И вскоре многочасовая работа, разъезды, сон урывками — все это проникает в тебя, становится частью тебя, и это видно каждому по твоей осанке, по глазам, по походке, по манере говорить.

Я не хочу сказать, что ничем таким не затронута, — просто я научилась с этим жить. А иным помощникам само их отношение ко всему не дает держаться на плаву. Многие, это видно, просто тянут лямку и дожи-

даются дня, когда их остановят и переведут в доноры. Мне очень не нравится, помимо прочего, то, как они сплошь и рядом скукоживаются, стоит им переступить порог больницы. С медиками говорить не умеют, замолвить слово за своего донора не решаются. Нечего удивляться, что у них развивается неверие в свои силы и склонность винить себя, когда что-то идет не лучшим образом. Я лично стараюсь не возникать по мелочам, но если нужно — умею сделать так, чтобы мой голос услышали. Если случается провал, я, конечно, бываю расстроена, но по крайней мере чувствую, что старалась как могла, и не теряю трезвого взгляда на вещи.

Даже в одиночестве я начала находить свою прелесть. Я не хочу этим сказать, что не рада буду возможности побольше общаться с людьми после конца года, когда я уже не буду помощницей. Но мне нравится садиться в мою маленькую машину, зная, что впереди два часа дорог, бескрайнего серого неба и мечтаний. И если в каком-нибудь городке у меня выдается несколько свободных минут, я с удовольствием хожу от магазина к магазину и смотрю на витрины. В квартирке у меня четыре настольные лампы, каждая своего цвета, но все одного дизайна — абажур на рифленой "шее", которая гнется как угодно. Можно, скажем, поискать магазин с другой подобной лампой на витрине — не чтобы купить, а просто чтобы сравнить с теми у меня дома.

Иной раз настолько погружаюсь в себя, что если вдруг встречаю знакомого, то это для меня своего рода шок, с которым я не сразу справляюсь. Так было, например, в то ветреное утро, когда я шла через автостоянку у станции обслуживания и увидела Лору, сидящую за рулем припаркованной машины и глядящую пустым взором в сторону шоссе. Я была на некотором расстоянии, и на секунду, хоть мы и не виделись все семь лет после Коттеджей, у меня возникло искушение идти дальше, как будто я ее не заметила. Странная реакция, я знаю, — ведь она была из ближайших моих подруг. Как я сказала уже, отчасти это, может быть, объясняется тем, что мне тяжело так резко пробуждаться от своих мечтаний. Но кроме того, я думаю, по виду Лоры в машине, по ее сгорбленной фигуре мне мигом стало понятно, что она из тех помощников, о которых я только что говорила, и какая-то часть во мне попросту не хотела дальнейших выяснений.

Но я преодолела себя, конечно. Пока шла к ее хэтчбеку[1], стоявшему в стороне от других машин, холодный ветер дул мне в лицо. На Лоре была мешковатая синяя куртка с капюшоном, и волосы ее — она их сильно укоротила, — казалось, прилипли ко лбу. Когда я постучала в стекло, она не вздрогнула и даже не выглядела удивленной после стольких лет. Можно подумать — сидела и ждала если не меня лично, то кого-нибудь из прошлого вроде меня. И когда она меня увидела, ее первой мыслью, похоже, была: "Наконец-то!" Потому что ее плечи поднялись и опустились, как при вздохе, после чего она немедленно протянула руку и открыла мне дверь.

Мы проговорили минут двадцать; я тянула с отъездом до последнего. Большей частью все крутилось вокруг того, как она измучена, вымотана, какой трудный ей попался донор, как она ненавидит такую-то медсестру и такого-то врача. Я ждала проблеска прежней Лоры с ее ехидной ухмылкой и непременной шуточкой — но не дождалась. Речь у

1. Хэтчбек — автомобиль с открывающейся вверх задней дверью.

нее стала какой-то торопливой, и хотя она, я думаю, была мне рада, иногда создавалось впечатление, что главное для нее — выговориться, и не так уж важно, кто сидит рядом.

Судя по тому, что мы очень долго избегали всякого упоминания о старых временах, мы обе видели в разговоре о них какую-то опасность. Под конец, однако, речь все-таки зашла о Рут, которую Лора несколькими годами раньше, когда Рут еще была помощницей, встретила в одной из клиник. Я пустилась в расспросы, но выжать толком ничего из Лоры не могла и в конце концов воскликнула:

— Слушай, ну о чем-нибудь же вы говорили!

Лора тяжко вздохнула.

— Ты знаешь, как это бывает, — сказала она. — Я торопилась, Рут тоже. — Помолчав, добавила: — Да и расстались мы тогда в Коттеджах не лучшим образом. Так что, может быть, не слишком уж и рады были друг другу.

— Я не знала, что и ты с ней раздружилась.

Она пожала плечами.

— Естественно. Ты ведь помнишь, какая она тогда была. А после твоего отъезда стала еще хуже. Только и знала, что учила всех уму-разуму. Поэтому я старалась пореже иметь с ней дело, вот и все. Не то чтобы мы там сильно поцапались, ничего такого. А ты, значит, ее с тех пор так и не видела?

— Нет. Странно, но ни единого разочка.

— Да, странно. Мне казалось, мы все будем часто друг с другом сталкиваться. Ханна вот мне попадалась уже несколько раз. И Майкл Х. тоже. — После паузы она сказала: — До меня доходил слух, что у Рут неудачно прошла первая выемка. Слух есть слух, но мне не раз это говорили.

— Я тоже слышала, — подтвердила я.

— Бедная Рут.

Мы немножко помолчали, потом Лора спросила:

— Это правда, Кэти, что они теперь позволяют тебе выбирать доноров?

Тон у нее не был обвиняющим, как у некоторых, поэтому я кивнула и ответила:

— Не всегда. Просто у меня с некоторыми донорами все получилось неплохо, и после этого они иной раз идут мне навстречу.

— Если так, — сказала Лора, — то почему бы тебе не стать помощницей Рут?

Я пожала плечами.

— Я думала об этом. Но не уверена, что это будет правильно.

Взгляд Лоры стал озадаченным.

— Но вы же были такие близкие подруги!

— Да, были. Но со мной — как и с тобой, Лора. Под конец все изменилось к худшему.

— Верно, но это было *тогда*. Сейчас ей тяжко пришлось. И я слышала, что у нее и с помощниками все шло не гладко. Ей много раз их меняли.

— Не удивительно, — заметила я. — Представь себе: ты — помощница Рут.

Лора засмеялась, и на мгновение глаза у нее стали такие, что я подумала: сейчас наконец что-нибудь отмочит. Но огонек тут же погас, и она просто продолжала сидеть с усталым видом.

Мы еще чуть-чуть потолковали о ее трудностях — большей частью об одной медсестре, которая, судя по всему, имела на нее зуб. Потом мне настало время уезжать, и я потянулась было к ручке двери, говоря, что мы побеседуем еще при следующей встрече. Но мы обе к тому моменту отчетливо сознавали, что обошли одну вещь молчанием, и, мне кажется, обе чувствовали, что расстаться вот так будет неправильно. Я сейчас более или менее уверена, что в мыслях у нас в ту минуту было в точности одно и то же. Потом Лора сказала:

— Как чудно́. Думать, что там ничего уже нет.

Я опять повернулась на сиденье к ней лицом.

— Да, странное чувство, — сказала я. — Я все никак поверить не могу.

— Просто чудно, — повторила Лора. — Казалось бы — какая мне разница сейчас? А есть почему-то разница.

— Я хорошо тебя понимаю.

Только после этих фраз, где речь шла о закрытии Хейлшема, мы вдруг стали наконец по-настоящему близки, и в каком-то порыве мы обнялись — не столько чтобы утешить друг друга, сколько ради Хейлшема, словно бы подтверждая, что он жив в памяти у нас обеих. Потом мне пора уже было бежать к своей машине.

Слухи о том, что Хейлшем закрывается, начали доходить до меня примерно за год до этой встречи с Лорой. Доноры и помощники спрашивали меня об этом мимоходом, словно бы думая, что я все должна знать доподлинно: "Ты ведь из Хейлшема, да? Правду говорят или нет?" В таком вот духе. Потом однажды, выходя из клиники в Суффолке, я столкнулась с Роджером К. — тоже из Хейлшема, на год младше меня, — и он сказал, что это совершенно точно должно вот-вот произойти. Хейлшем закроют со дня на день, и имеется план продать землю и строения какой-то сети отелей. Помню мою первую реакцию на его слова. Я спросила: "Но что же теперь будет со всеми воспитанниками?" Роджер подумал, что я имею в виду тех, кто сейчас находится там, — детей и подростков, нуждающихся в опекунах, — и с обеспокоенным видом начал рассуждать о том, что их придется переводить в другие заведения по всей Англии, иные из которых не идут с Хейлшемом ни в какое сравнение. Но мой вопрос, конечно, был не об этом. Я имела в виду *нас* – меня и всех, с кем я выросла, доноров и помощников, разбросанных по стране, обособленных, но каким-то образом связанных местом, откуда мы явились.

Ночью после этого разговора, пытаясь уснуть в мотеле, я долго думала о том, что произошло несколько дней назад. Я была тогда в одном приморском городке на севере Уэльса. Все утро шел сильный дождь, но во второй половине дня перестал, и немножко выглянуло солнце. Я возвращалась к своей машине по одной из этих длинных прямых дорог вдоль берега. Людей кругом видно не было, и ничто поэтому не разрывало тянувшуюся вдаль цепочку мокрых плит, на которую я смотрела. Потом вдруг подъехал фургончик, остановился шагах в тридцати впереди меня, и из него вышел мужчина в клоунской одежде. Он открыл багажное отделение и достал связку наполненных гелием детских шариков, десяток или чуть больше; какое-то время он стоял наклонившись, шарики держал одной рукой, а другой копался в машине. Подойдя ближе, я увидела, что у каждого шарика имеются нарисованное личико и торчащие уши, и вся эта семейка словно бы ждала сейчас хозяина, пританцовывая над ним в воздухе.

Потом клоун выпрямился, закрыл машину и пошел в ту же сторону, что и я, на несколько шагов впереди меня — в одной руке чемоданчик, в другой шарики. Берег был длинный и прямой, и я шла за этим человеком, казалось, целую вечность. Порой мне становилось из-за этого неловко, и я даже думала, что клоун может обернуться и сказать что-нибудь неприятное. Но мне надо было именно туда, других вариантов я не видела, поэтому так мы и шли, клоун и я, дальше и дальше по пустой мощеной дороге, еще не высохшей после утреннего дождя, и шарики все время толкались и улыбались мне сверху вниз. Я то и дело переводила взгляд на кулак мужчины, куда сходились бечевки всех шариков, и чувствовалось, что он крепко их держит, надежно скрученные воедино. И все равно я беспокоилась, как бы одна из бечевок не вырвалась и шарик не улетел в дождевые облака.

Лежа без сна в ту ночь после разговора с Роджером, я все время видела опять эти шарики. Закрытие Хейлшема представлялось мне так, словно подошел кто-то с ножницами и перерезал бечевки чуть выше места, где они сплетались над кулаком клоуна. С этого момента не осталось бы ничего, что реально соединяло бы шарики между собой. Делясь со мной новостью насчет Хейлшема, Роджер заметил, что не видит для таких, как он или я, особой разницы, и в каком-то смысле, может быть, он и прав. И все же мне как-то не по себе стало от мысли, что там уже не будет как раньше; к примеру, что опекунши вроде мисс Джеральдины не будут больше водить группы малышей вокруг северного игрового поля.

Я упорно, месяц за месяцем размышляла потом о закрытии Хейлшема и о всех его неявных последствиях. И, похоже, мне стало приходить в голову, что многое, к чему я думала приступить когда-нибудь позже, надо делать сейчас, иначе это не будет сделано вовсе. Не то чтобы я прямо запаниковала; но было отчетливое ощущение, что ликвидация Хейлшема сдвинула все вокруг со своих мест. Вот почему слова Лоры о том, чтобы я стала помощницей Рут, так на меня подействовали, хоть я вначале и не проявила энтузиазма. Словно какая-то часть меня приняла такое решение раньше и разговор с Лорой просто открыл мне на это глаза.

Я приехала первый раз в реабилитационный центр Рут в Дувре — современный, с белыми кафельными стенами — всего через несколько недель после встречи с Лорой. С момента первой выемки у Рут, которую, как сказала Лора, она перенесла неважно, прошло месяца два. Когда я открыла дверь палаты, она сидела на краю кровати в ночной рубашке; увидев меня, она просияла и встала, чтобы обняться, но почти сразу ей пришлось снова сесть. Она сказала, что я отлично выгляжу, что прическа мне очень идет. Я не осталась в долгу, и все полчаса, что длился разговор, нам обеим, думаю, было действительно хорошо друг с другом. Беседовали о самом разном — о Хейлшеме, о Коттеджах, о том, чем мы занимались дальше, — и казалось, что мы можем так до бесконечности. Словом, обнадеживающее начало — намного лучше, чем я ожидала.

Тем не менее во время той первой встречи ни слова не было сказано про то, как мы расстались. Кто знает — может быть, затронь мы эту тему сразу, все потом было бы у нас по-другому? Мы просто обошли это молчанием и, поговорив сколько-то, словно бы согласились считать, что ничего между нами тогда не произошло.

Для первого раза это, вполне допускаю, было и здорово, но с тех пор как я официально сделалась ее помощницей и мы начали видеться

регулярно, все отчетливей становилось ощущение, что у нас что-то не складывается. Я завела обычай приезжать три-четыре раза в неделю с минеральной водой и пакетом ее любимого печенья, и все, казалось, должно было идти как нельзя лучше — но не тут-то было. Принимались о чем-нибудь говорить, о чем-нибудь вполне нейтральном — и вдруг без всякой видимой причины умолкали. Или, делая над собой усилие, поддерживали разговор, но чем дальше, тем он становился натужней и искусственней.

Потом я однажды шла к ее палате по коридору и услышала, что в душевой напротив ее двери кто-то есть. Я догадалась, что это Рут, и поэтому решила войти в палату и в ожидании встала у окна, за которым открывался далекий вид поверх множества крыш. Минут через пять появилась Рут, завернутая в полотенце. Честно говоря, я приехала примерно на час раньше обычного, и все мы, я думаю, чувствуем себя немножко беззащитными после душа, когда на нас нет ничего, кроме полотенца. И все-таки меня поразило, какая тревога возникла у нее на лице. Попробую объяснить это получше. Разумеется, я предполагала, что она будет немного удивлена. Но все дело в том, что, когда она уже сообразила, что к чему, и узнала меня, была буквально секунда, может, чуть больше, когда она продолжала смотреть на меня если не со страхом, то уж точно с подозрением. Словно она долго-долго ожидала от меня чего-то нехорошего и теперь подумала, что наконец этот момент настал.

В следующую секунду ничего такого в ее взгляде уже не было, и все у нас пошло как обычно, но мы обе в тот день испытали встряску. Мне стало очевидно, что Рут мне не доверяет, и, насколько я могу судить, сама она, может быть, именно тогда вполне это поняла. Как бы то ни было, атмосфера после той встречи ухудшилась еще больше. Словно мы выпустили что-то на свободу и не только ничего этим не прояснили, но и волей-неволей сильней прежнего почувствовали то, что стояло между нами. Дошло до того, что, прежде чем подняться к ней, я по нескольку минут сидела в машине и собиралась с духом. После одного такого посещения, когда мы, пока я проводила с ней все контрольные процедуры, даже рта не раскрыли и потом просто сидели в гробовом молчании, я чуть было не доложила им, что не справляюсь, что мне лучше отказаться от роли помощницы Рут. Но тут все опять изменилось — теперь из-за лодки.

Кто его знает, как такое получается. Иногда начнется с какой-нибудь шутки, иногда со слуха. В считаные дни распространяется от центра к центру по всей стране, и вот уже про это толкуют все доноры до единого. На сей раз — лодка. Впервые я услышала о ней от двух своих доноров в Северном Уэльсе. А через несколько дней на эту тему завела разговор Рут. Я была очень рада, что у нас нашлось о чем поговорить, и стала ее расспрашивать.

— Тут донор один есть этажом выше, — сказала Рут. — Его помощник ездил туда смотреть. Говорит, недалеко от дороги, так что спокойно можно подойти. Эта лодка сидит там на мели, а вокруг болото.

— Как она туда попала?

— Откуда я знаю? Может, владелец решил вот так от нее избавиться. Или в какой-нибудь год, когда все было затоплено, она прибилась туда и

застряла. Неизвестно. Говорят — старая рыбацкая лодка. С кабинкой на двух рыбаков, чтобы укрыться в непогоду.

В следующие мои несколько посещений она всякий раз находила случай упомянуть про лодку. Потом однажды, когда она заговорила о том, что одного донора из ее центра помощник возил туда смотреть, я сказала:

— Это не очень близко, как ты понимаешь. Час, а то и полтора езды.

— Я ведь ни о чем тебя не прошу. Я прекрасно знаю, что на тебе и другие доноры.

— Но я же вижу — ты хочешь. У тебя есть желание взглянуть на эту лодку?

— Пожалуй, да. Есть желание. Сидишь тут день за днем... Хорошо бы что-нибудь такое увидеть.

— А как ты считаешь, — спросила я мягко, без тени насмешки, — если мы решим туда отправиться, не подумать ли о том, чтобы заехать к Томми? Потому что его центр совсем недалеко от места, где вроде бы находится эта лодка.

Лицо Рут поначалу ничего не выразило.

— Подумать, наверно, можно, — сказала она. Потом засмеялась: — Честное слово, Кэти, я не только из-за этого все уши тебе прожужжала насчет лодки. Я действительно хочу на нее взглянуть. Столько времени по больницам, потом здесь взаперти сидишь. Такие вещи теперь больше значат, чем когда-то. Но ладно уж, не буду скрывать: я знала. Я знала, что Томми в кингсфилдском центре.

— Ты уверена, что хочешь с ним повидаться?

— Да, — ответила она без колебаний, глядя мне в глаза. — Да, хочу. — Потом тихо добавила: — Я ведь очень давно его не видела. С самых Коттеджей.

И тогда-то мы наконец заговорили про Томми. По-крупному ничего, впрочем, обсуждать не стали, нового я узнала очень мало. Но нам обеим, мне кажется, стало легче уже от того, что мы перестали о нем молчать. Рут сказала мне, что ко времени ее отъезда из Коттеджей (она простилась с ними осенью, вскоре после меня) они с Томми, по существу, разошлись.

— На курсы нас с ним так или иначе определили в разные места, — продолжала она, — и разрывать отношения по всем правилам особого смысла не было. Так что мы продолжали считаться парой, пока я не уехала.

Дальше мы на той стадии в тему не углублялись.

Что касается лодки, я в тот день не сказала насчет поездки ни "да", ни "нет". Но Рут недели две потом всякий раз об этом заговаривала, и план сам собой становился все более определенным, пока наконец я через знакомого не послала весточку помощнику Томми, где говорилось, что если Томми не будет против, то мы заедем в кингсфилд в определенный день на следующей неделе.

Глава девятнадцатая

Мне в то время почти не приходилось бывать в Кингсфилде, поэтому мы по дороге туда несколько раз останавливались поглядеть на карту и, несмотря на все старания, на несколько минут опоздали. По сравне-

нию с другими этот реабилитационный центр не очень хорошо оборудован и неудачно расположен, и если бы не ассоциации, которые у меня теперь есть, Кингсфилд не был бы сейчас для меня таким местом, куда хочется поехать. Центр находится на отшибе, добираться туда неудобно, а ощущения настоящего спокойствия и тишины там все равно не возникает. Постоянно слышно движение по большому шоссе за забором, и все время такое чувство, что переоборудование здесь не доведено как следует до конца. Во многие донорские палаты не въезжает кресло-каталка, вдобавок в одних там душно, в других, наоборот, гуляют сквозняки. Очень мало ванных комнат, а какие есть, те трудно содержать в чистоте, зимой в них холодно, и расположены они в целом слишком далеко от палат. Словом, Кингсфилд очень сильно уступает, например, дуврскому центру, куда поместили Рут, с блестящим кафелем и двойными окнами, которые плотно закрываются одним поворотом ручки.

Позднее, когда Кингсфилд уже стал мне знаком и дорог, я увидела в одном из его административных зданий черно-белую фотографию в рамке, сделанную до переоборудования, когда здесь еще был кемпинг для обычных семей. Снимок относится, вероятно, к концу пятидесятых или началу шестидесятых, и на нем виден большой прямоугольный плавательный бассейн с беззаботной отдыхающей публикой: дети, родители — все плещутся и весело проводят время. Вокруг бассейна сплошь бетон, но люди поставили себе шезлонги и большие круглые тенты. Когда я впервые это увидела, я не сразу узнала то, что доноры сейчас называют Площадью, — место, где ставят машины все посетители центра. Бассейн, конечно, засыпан и забетонирован, но контур его остался, и у одного края — кстати, пример незавершенности, о которой я говорила, — они сохранили металлический остов вышки для прыжков. Только когда я взглянула на фотографию, мне стало понятно, что это за остов и зачем он здесь, и с тех пор всякий раз, как я его вижу, мне невольно представляется ныряльщик, которого встретит не вода, а бетон.

Я бы вообще, может быть, не распознала эту Площадь на снимке, если бы не белые казарменного типа двухэтажные строения на заднем плане по сторонам бассейна. Там, судя по всему, отдыхающие ночевали, и хотя внутри все наверняка сильно изменилось, внешний вид строений остался почти неизменным. В каком-то смысле, я думаю, Площадь сегодня играет примерно такую же роль, как в то время бассейн. Это здесь главное место общения: доноры выходят сюда подышать воздухом и поболтать. На Площади стоит несколько деревянных скамеек, но доноры, особенно в жару и в дождь, предпочитают собираться под навесом, в который переходит плоская крыша корпуса отдыха, расположенного с дальней стороны за старой вышкой для прыжков.

В тот день, когда я повезла Рут в Кингсфилд, было пасмурно и прохладно, и Площадь была пуста, если не считать шести-семи неясно видимых фигур под этим навесом. Когда я остановила машину в прямоугольнике бывшего бассейна (о чем я тогда, конечно, не знала), одна из фигур, отделившись от группы, двинулась к нам, и я увидела, что это Томми. На нем была выцветшая зеленая тренировочная куртка, и он заметно отяжелел за прошедшие годы.

Рут, сидевшую около меня, вдруг охватила паника:

— Слушай, что нам делать — выйти? Нет, нет, не надо. Тут остаемся, тут.

Не знаю, как я собиралась поступить, но когда Рут это сказала, я почему-то, не раздумывая толком, взяла и вышла из машины. Рут осталась сидеть, и поэтому Томми, когда приблизился, посмотрел вначале на меня и обнял меня первой. От него шел слабый запах чего-то медицинского, чего именно — я не могла разобрать. Потом, хотя между нами еще ничего не было сказано, мы оба почувствовали, что Рут смотрит на нас из машины, и отстранились друг от друга.

Ветровое стекло было полно отраженным небом, и видеть Рут я поэтому могла не очень хорошо. Но мне показалось, что лицо у нее серьезное и неподвижное, словно она смотрит спектакль, где мы с Томми — актеры. Что-то странное было в ее взгляде, и мне из-за этого стало чуточку не по себе. Томми прошел мимо меня к машине, открыл заднюю дверь, сел на сиденье, и я в свой черед увидела через стекло, как они здороваются, обмениваются короткими фразами, потом вежливо чмокают друг друга в щеки.

Через Площадь из-под навеса на нас смотрели другие доноры, и хотя никакой враждебности я в них не почувствовала, мне вдруг захотелось как можно скорее уехать. Но я заставила себя не спешить с возвращением в машину, чтобы Томми и Рут могли немножко побыть наедине.

Вначале мы петляли по узким извилистым дорожкам, потом выехали на почти пустое шоссе среди открытой, лишенной примет сельской местности. Об этой части поездки к застрявшей лодке вспоминаю, что впервые бог знает за сколько времени сквозь серую пелену пробилось слабое солнце; и, поглядывая на сидевшую рядом Рут, я всякий раз видела у нее на лице еле заметную тихую улыбку. Что же касается разговоров, мне помнится, мы во многом вели себя так, будто виделись регулярно и не имели нужды обсуждать ничего такого, что не имело бы отношения к нашей прямой цели. Я спросила Томми, видел ли он уже лодку, и он ответил, что нет, но многие доноры из его центра видели. У него были возможности, но он их не использовал.

— Не то чтобы я не хотел, не в этом дело, — сказал он, наклонившись к нам с заднего сиденья. — Трудновато было, только и всего. Собрался даже однажды с двумя донорами и их помощниками — но тут как раз у меня кровотечение, и я не смог. Это было давно, сейчас ничего такого со мной не случается.

Мы ехали дальше через пустую местность, и в какой-то момент Рут повернулась на сиденье лицом к Томми и просто стала на него смотреть. Слабая улыбка с ее лица не сходила, но она молчала, и я видела в зеркальце, что Томми сделалось неуютно. Он то отворачивался и смотрел в окно, то опять на нее, то опять в окно. Немного погодя Рут, по-прежнему глядя на него, принялась рассказывать довольно-таки бессвязную историю про какую-то доноршу из ее центра, о которой мы ни разу не слышали, — и все время она не сводила с Томми глаз и продолжала улыбаться этой мягкой улыбкой. То ли из-за того, что мне наскучил ее рассказ, то ли желая выручить Томми, я вскоре ее перебила:

— Рут, нам не обязательно знать о ней все до мелочей.

Я сказала это без малейшей досады и ничего особенного в виду не имела. Но тут вдруг, не дожидаясь, когда умолкнет Рут, и едва позволив мне окончить фразу, Томми фыркнул, чего я раньше никогда от него не слышала. И проговорил:

— Вот-вот, я то же самое хотел сказать. Я давно уже нить потерял.

Я смотрела на дорогу, поэтому мне трудно было понять, ко мне он обратился или к Рут. Как бы то ни было, Рут перестала рассказывать и медленно повернулась обратно — лицом вперед. Очень уж огорченной она не выглядела, но уже не улыбалась, и взгляд ее был устремлен куда-то вдаль — в небосклон перед нами. Но скажу честно: не о Рут я тогда думала в первую очередь. Томми заставил мое сердце екнуть: одного его коротенького смешка, выражавшего согласие со мной, хватило, чтобы я почувствовала новую близость с ним после всех этих лет.

Нужный поворот я увидела минут через двадцать езды. Дальше — по узкой извилистой дороге, стесненной живыми изгородями, до купы платанов. Оттуда в направлении леса мы двинулись пешком, я — впереди, но там, где тропа среди деревьев разделялась натрое, мне пришлось остановиться и достать бумажку с объяснениями. Стоя и с трудом разбирая почерк, я вдруг почувствовала, что за спиной у меня Рут и Томми молчат и ждут, почти как дети, когда я скажу, какой дорогой идти.

Мы вошли в лес, и хотя тропа была довольно ровная, я заметила, что Рут дышит все тяжелее и тяжелее. А вот Томми, судя по всему, трудностей не испытывал — правда, намек на хромоту в его походке все же ощущался. Потом впереди показался забор из ржавой колючей проволоки, сильно провисшей и раздерганной, на покосившихся столбах. Увидев его, Рут встала как вкопанная.

— Ну что же это такое! — воскликнула она с отчаянием в голосе. Потом повернулась ко мне: — Ты ничего про это не говорила. Ты не говорила, что надо продираться через колючую проволоку!

— Тут очень легко будет подлезть, — сказала я. — Только надо ее немножко придержать друг для друга.

Но Рут вконец расстроилась и не двигалась с места. Вот тут-то, когда она стояла и плечи ее ходили ходуном от одышки, Томми, похоже, в первый раз понял, как она стала слаба. Может быть, смутно ощущал и до этого, но гнал от себя такую мысль. Теперь он уставился на нее и долго смотрел — секунду за секундой. А потом — хотя полной уверенности, что он подумал именно это, у меня, конечно, нет — мы оба, Томми и я, вспомнили, что в машине, можно сказать, ополчились на нее вдвоем. И тогда почти непроизвольно мы подошли к ней с разных сторон, я взяла ее под руку, Томми подхватил под локоть, и мы осторожно повели ее к забору.

Я отпустила Рут только для того, чтобы подлезть самой. Потом я держала проволоку так высоко, как только могла, и мы с Томми помогли Рут пройти. Оказалось не так уж и трудно — все более или менее сводилось к ее неуверенности в себе, и с нашей помощью она, в общем, справилась со страхом. Перейдя на ту сторону, она даже потянулась, чтобы помочь мне придержать проволоку для Томми. Он легко преодолел препятствие, и Рут сказала ему:

— Вся проблема — наклониться. Мне что-то гибкости иногда не хватает.

Вид у Томми был немного смущенный — то ли из-за теперешнего, то ли он опять вспомнил, как мы обошлись с Рут в машине. Он показал кивком на деревья впереди:

— Я думаю, нам туда. Правильно, Кэт?

Я еще раз взглянула на бумажку и повела их дальше. В глубине леса было сумрачно, и почва становилась все более топкой.

— Надеюсь, мы не заблудимся, — со смешком сказала Рут у меня за спиной, обращаясь к Томми; но я уже видела впереди прогалину. И теперь, получив чуточку времени подумать, я сообразила, почему меня так обеспокоило случившееся в машине. Дело было не столько даже в том, что мы напали на Рут, сколько в ее безответности: в прежние времена немыслимо было, чтобы она услышала такое и не дала отпора. Когда это до меня дошло, я остановилась, подождала Рут с Томми и одной рукой обняла ее за плечи.

На сентиментальничанье это вряд ли могло быть похоже. Обычное поведение помощника, вот и все, потому что теперь походка ее действительно сделалась нетвердой, и я задумалась, не переоценила ли я ее силы, планируя эту поездку. Чем дальше, тем более затрудненным было ее дыхание, и, когда мы пошли рядом, она стала то и дело ко мне приваливаться. Но вот мы уже миновали деревья, вышли на прогалину — и увидели лодку.

Прогалиной, впрочем, это нельзя было назвать: редкий лес, через который мы шли, кончился, и впереди, сколько хватало глаз, простиралось болото. Бледное небо казалось огромным и отражалось в лоскутах стоявшей там и тут воды. По торчащим из топи мертвым стволам-призракам, многие из которых обломились на небольшой высоте, видно было, как отступил здесь лес. А за этими стволами, ярдах примерно в шестидесяти, освещенная слабеньким солнцем — она самая. Лодка, увязшая в болоте.

— Ой, правда, она точно такая, как мне описывали, — сказала Рут. — Красиво как.

Мы двинулись дальше к лодке, и в тишине, которая нас окружала, под ногами послышалось чавканье. Вскоре я почувствовала, что подошвы слегка утягивает вниз, под пучки травы, и скомандовала:

— Стоп, ребята, дальше не идем.

Рут и Томми, шедшие за мной, возражать не стали; я оглянулась и увидела, что он опять взял ее под руку. Ясно было, впрочем, что он помогает ей идти, ничего больше. Широкими шагами я добралась до ближайшего мертвого ствола, под которым почва была тверже, и взялась за него для равновесия. Рут с Томми выбрали обломок ствола чуть сзади и левее, пустой и еще более трухлявый. Они пристроились на нем каждый со своей стороны и замерли. Мы все стали рассматривать лодку. Теперь было видно, что краска на ней сильно облупилась, что деревянный каркас кабинки рушится. Когда-то лодка была выкрашена в небесно-голубой цвет, но сейчас казалась под этим небом почти белой.

— Не понимаю все-таки, как она сюда попала, — сказала я, повысив голос, чтобы они услышали. Я ожидала эха, но прозвучало на удивление глухо, как в обитой ковром комнате.

Потом у меня за спиной Томми проговорил:

— Может быть, примерно так и Хейлшем сейчас выглядит. Вы не думаете?

— С какой стати он будет так выглядеть? — Голос Рут был непритворно озадаченным. — Он не может превратиться в болото только из-за того, что его закрыли.

— Не может, не может. Брякнул не подумав. Почему-то я его теперь все время себе таким представляю. Логики никакой. Честно говоря, все это здесь очень похоже на картинку у меня в голове. Кроме лодки, конечно. Я даже был бы доволен, если бы в Хейлшеме было так же.

— Забавно, — сказала Рут. — Тут мне недавно сон приснился под утро. Будто бы я наверху в классе 14. Я знаю, что Хейлшем уже закрыли, но зачем-то нахожусь в классе 14, смотрю в окно — а там снаружи все затоплено. Огромнейшее озеро. А под окнами плавает мусор — пустые пакеты из-под сока, всякое такое. Но никакого там ощущения тревоги, паники — все тихо-мирно, в точности как здесь. Я знала, что никакой опасности для меня нет — просто Хейлшем закрыли, вот и все.

— Между прочим, — сказал Томми, — в нашем центре какое-то время была Мег Б. От нас ее на север куда-то отправили на третью выемку. Понятия не имею, как она. Может, кому-нибудь из вас говорили?

Я покачала головой, а потом, не услышав ничего от Рут, обернулась к ней. В первый момент мне показалось, что она по-прежнему разглядывает лодку, но потом я увидела, что она смотрит на серебристый след дальнего самолета, медленно поднимающегося по небу. Помолчав, она сказала:

— Мне другое говорили. Мне говорили про Крисси. Что она завершила во время второй выемки.

— Я тоже слышал, — подтвердил Томми. — Видимо, так оно и есть. Я слышал в точности то же самое. Безобразие. Только на второй. Я вот проскочил — мне радоваться надо.

— Я думаю, это происходит гораздо чаще, чем нам говорят, — сказала Рут. — Вон помощница моя сидит, наверняка знает. Знает — но молчит.

— Да нет никакого тут особенного заговора молчания, — возразила я, опять повернувшись к лодке. — Иногда такое случается. Крисси очень жалко, конечно. Но это нечастое явление. Они довольно аккуратны сейчас.

— А я уверена, что это происходит куда чаще, чем они говорят, — повторила Рут. — Потому-то нас и переводят между выемками в другие места.

— Я тут как-то увидела Родни, — вспомнила я. — Вскоре после того как Крисси завершила. Я встретила его в клинике в Северном Уэльсе. Он был ничего.

— Наверняка ведь он был в тоске из-за Крисси, — сказала Рут. Потом обратилась к Томми: — Вот видишь — они половину говорят, половину скрывают.

— Нет, убиваться он не убивался, — не согласилась я. — Опечален — да, был, конечно. Но в общем состояние ничего. Они же не встречались, наверно, года два. Он сказал, он думает, что Крисси приняла это спокойно. Кому знать, как не ему.

— Откуда он может знать? — вскинулась Рут. — Как он мог выведать, что чувствовала Крисси, чего ей хотелось? Ведь не он лежал на этом столе и цеплялся за жизнь. Так откуда ему знать?

Эта вспышка напомнила мне прежнюю Рут и заставила опять к ней повернуться. Мне показалось — хотя, может быть, это был только блеск в ее глазах, — что она смотрит на меня жестко, сурово.

— Хорошего мало, — сказал Томми. — Завершить на второй выемке. Ничего хорошего.

— Не верю, что Родни принял это как должное, — продолжала Рут. — Ты, наверно, всего несколько минут с ним говорила. Что ты за это время могла понять?

— Это так, конечно, — сказал Томми. — Но Кэт говорит, они давно расстались...

— Не имеет значения, — перебила его Рут. — В каком-то смысле это только все утяжеляет.

— Я видела массу людей в таком же положении, как Родни, — сказала я. — Свыкаются, примиряются.

— Откуда ты знаешь? — спросила Рут. — Откуда ты можешь знать? Ты пока только помощница.

— Помощникам много чего приходится видеть. Ужас как много.

— Не знает она — правда, Томми? Что это на самом деле такое.

Какое-то время мы обе смотрели на Томми, но он продолжал разглядывать лодку. Потом сказал:

— В моем центре был парень один. Страшно беспокоился, что не вытянет вторую. Говорил — нутром это чувствует. Но все прошло отлично. Ему сейчас уже сделали третью, и он в полном порядке. — Томми прикрыл ладонью глаза от солнца. — Я помощник был никакой. Даже машину водить не научился. Вот почему, наверно, меня так быстро вызвали на первую. Да, хоть они и говорят, что одно с другим не связано. В общем-то я не в претензии. Донор я неплохой, а помощник был паршивый.

Все немного помолчали. Потом Рут, теперь уже более спокойным голосом, сказала:

— Я думаю, я прилично справлялась, когда была помощницей. Но пяти лет с меня хватило. Примерно как у тебя, Томми: когда пришло время донорства, была к этому готова. Чувствовала, что так и должно быть. В конце концов, нам же *положено* ими становиться, правда?

Я не была уверена, что она ждет от меня ответа. Не было ощущения, что она к чему-то клонит, и вполне вероятно, она произнесла эти слова просто по привычке — ведь доноры говорят такое друг другу сплошь и рядом. Когда я снова к ним повернулась, Томми по-прежнему держал ладонь над глазами.

— Жаль, что нельзя ближе подойти к этой лодке, — сказал он. — Может, удастся выбраться сюда еще раз, когда будет суше.

— Я рада, что увидела ее, — мягко промолвила Рут. — Очень красивая. Но вообще-то хочется уже назад. Здесь ветер, прохладно.

— По крайней мере мы бросили на нее взгляд, — сказал Томми.

Идя к машине, мы беседовали куда более непринужденно, чем по дороге к лодке. Рут и Томми обсуждали условия в своих центрах — еда, полотенца и прочее, — и я все время участвовала в разговоре, потому что они то и дело спрашивали меня, что в порядке вещей, а что нет, если сравнивать с другими центрами. Походка Рут была теперь намного тверже, а когда мы подошли к забору и я приподняла перед ней проволоку, она почти не замешкалась.

Мы сели в машину — Томми опять сзади, — и вначале атмосфера в ней была превосходная. Когда я теперь вспоминаю эту часть пути, мне, может быть, и чудится намек на что-то невысказанное, но вполне допускаю, что на мое нынешнее восприятие влияет случившееся чуть позже.

Началось примерно так же, как в тот раз. Мы выехали обратно на длинную, почти пустую дорогу, и Рут сделала какое-то замечание о рекламном щите, который мы проезжали. Что на нем было, я сейчас даже и не помню — в общем, одно из этих огромных рекламных полотнищ на обочинах шоссе. Рут обратилась почти что сама к себе, явно не имея в виду ничего особенного. Сказала примерно вот что:

— Боже мой, ну что это такое. Могли бы хоть *попытаться* изобразить что-нибудь новенькое.

Но Томми возразил ей с заднего сиденья:

— А мне лично нравится. Это и в газетах было. Что-то, по-моему, в этом есть.

Может быть, я захотела вернуть возникшее было между мной и Томми ощущение близости: ведь, хотя вылазка к лодке была сама по себе очень хороша, я начинала чувствовать, что, помимо наших первых объятий и того эпизода в машине, нас с Томми мало что сегодня по-настоящему связывает. И как-то так получилось, что я сказала:

— Мне тоже нравится этот плакат. Чтобы такое сделать, нужно куда больше усилий, чем кажется.

— Точно, — подтвердил Томми. — Мне говорили, что не одна неделя на это уходит. Может, и не один месяц. Люди ночами трудятся иногда, вкалывают и вкалывают, пока все не выйдет как надо.

— Очень легко, — сказала я, — критиковать, когда просто промахиваешь мимо.

— Легче всего на свете, — согласился Томми.

Рут, ничего не говоря, все смотрела и смотрела вперед на пустую дорогу. Потом я сказала:

— Кстати, о плакатах. Я тут заметила еще один, когда мы ехали из Кингсфилда. Вот-вот он опять будет — теперь на нашей стороне. В любой момент может появиться.

— Что за плакат? — спросил Томми.

— Увидишь. Скоро он опять будет.

Я посмотрела на Рут, сидевшую сбоку от меня. Сердитыми ее глаза мне не показались — только настороженными. В них даже и надежда, пожалуй, читалась — надежда на то, что плакат, когда он возникнет, окажется совсем безвредным. К примеру, напоминанием о Хейлшеме, в таком вот роде. Я видела все это по ее лицу: оно блуждало от выражения к выражению и ни на одном не могло остановиться. Взгляд при этом был все время устремлен вперед.

Я сбросила скорость и затормозила, свернув на неровную, поросшую травой обочину.

— Почему мы встали, Кэт? — спросил Томми.

— Потому что отсюда лучше всего видно. Ближе будет слишком высоко.

Мне слышно было, как Томми сзади нас ерзает, стараясь разглядеть все как следует. Рут не шевелилась, и я даже не могла понять, смотрит ли она на плакат вообще.

— Да, конечно, это не совсем то же самое, — сказала я чуть погодя. — Но похоже все-таки. Офис с открытой планировкой, динамичные сотрудники, улыбки на лицах.

Рут молчала, но Томми сзади отозвался:

— Я понял. Ты про офис, на который мы тогда ездили смотреть.

— Не только, — сказала я. — Еще и про рекламную картинку. Мы ее нашли на дороге. Вспоминаешь, Рут?

— Что-то не очень, — тихо ответила она.

— Да ладно тебе. Ты знаешь, о чем я говорю. О журнале, который валялся на дороге. Около лужи. Он тебя страшно заинтересовал. Забыть ты не могла, не прикидывайся.

— Да, кажется, было такое.

Голос Рут упал почти до шепота. Тяжелый грузовик, проезжая, заставил нашу машину завибрировать и на несколько секунд заслонил рекламный щит. Рут наклонила голову, словно надеялась, что грузовик сотрет изображение навсегда, и не подняла взгляда, когда плакат опять стал хорошо виден.

— Странно сейчас обо всем этом думать, — сказала я. — Помнишь, сколько ты рассуждала на эту тему? Что будешь когда-нибудь работать в таком вот офисе.

— Да, точно, потому-то мы тогда и поехали, — сказал Томми, как будто только что вспомнил. — В Норфолк, искать твое "возможное я". Женщину, которая работала в офисе.

— Тебе не кажется, — спросила я Рут, — что тебе стоило попробовать это выяснить? Да, ты была бы первая. Первая, о ком мы знали бы, что ей такое разрешили. Но чем черт не шутит. Ты ни разу не задумывалась, что было бы, если бы ты попыталась?

— Как я могла попытаться? — Рут было еле слышно. — Это мечта у меня такая была. Вот и все.

— Но попробовать хотя бы выяснить. Мало ли — а вдруг разрешили бы?

— Правда, Рут, — сказал Томми. — Попытку сделать, может, и стоило. Ты ведь все время об этом рассуждала. Кэт, по-моему, права.

— Я не *все время* об этом рассуждала, Томми. Во всяком случае, я такого не помню.

— Нет, Рут, Томми верно говорит. Попытаться хотя бы следовало. Тогда при виде такого плаката ты сразу вспомнила бы, что хотела этого и выясняла по крайней мере...

— Как, скажи на милость, я могла это выяснить?

В первый раз за весь разговор голос Рут отвердел, но потом она вздохнула и опять опустила взгляд. После этого Томми проговорил:

— Ты часто высказывалась в том смысле, что к тебе может быть особое отношение. Оно и правда могло, наверно, быть. Спросить по крайней мере надо было.

— Так, допустим, — сказала Рут. — Ты говоришь — спросить. Но как? Куда я должна была обратиться? Не могла я ничего ни спросить, ни выяснить.

— А все-таки Томми прав, — не уступала я. — Если ты считала, что заслуживаешь особого отношения, тебе следовало хотя бы спросить. Разыскать Мадам и спросить.

Едва я это сказала — едва упомянула про Мадам, — я поняла, что совершила ошибку. Рут подняла на меня глаза, и я увидела на ее лице вспышку торжества. Это бывает иногда в фильмах: один навел на другого пистолет и заставляет его делать всякие вещи, потом вдруг какая-то оплошность, борьба — и пистолет уже у второго. И этот второй, еще не до конца веря своему счастью, пронзает первого сияющим взглядом, который сулит все виды отмщения. Примерно так вдруг посмотрела на меня Рут, и, хотя я ничего не сказала об отсрочках, я произнесла слово "Мадам", и мне ясно было, что теперь мы находимся на совершенно иной территории.

Рут увидела, что я в панике, и повернулась на сиденье ко мне лицом. Я готовилась отразить ее атаку, говорила себе, что мне все равно, с чем она на меня двинется, ведь времена, когда она могла вить из меня верев-

ки, давно прошли. Я говорила себе все это и потому совершенно не ожидала услышать то, что услышала.

— Кэт, — сказала Рут, — я никак не могу рассчитывать, что ты меня простишь. Я даже думаю, что тебе не надо этого делать. Но все равно я прошу у тебя прощения.

Я была так этим поражена, что ничего не сумела вымолвить, кроме слабенького:

— За что?

— За что? Ну, для начала, за то, что я все время лгала тебе насчет твоих желаний. Помнишь — ты тогда мне говорила, что иной раз готова этим заниматься чуть не с кем угодно.

Томми опять пошевелился на заднем сиденье, но Рут теперь, подавшись вперед, смотрела на меня в упор, как будто в машине не было никого, кроме нас двоих.

— Я видела, как ты этим обеспокоена, — продолжала она. — И я должна была тебе объяснить. Должна была сказать, что со мной происходит в точности то же самое. Сейчас, конечно, ты все это и так понимаешь. Но тогда не понимала, и я обязана была тебе сказать. Что, несмотря даже на отношения с Томми, я иногда не могла удержаться и делала это с другими. С тремя по меньшей мере, пока мы были в Коттеджах.

Говоря все это, она по-прежнему не смотрела в сторону Томми. Но как пренебрежение это не выглядело — просто она все силы бросила на то, чтобы ее слова до меня дошли, и прочее потеряло значение.

— Несколько раз это на языке у меня вертелось, — сказала она. — Но я промолчала все-таки. Даже тогда, в то время я сознавала, что когда-нибудь ты все это вспомнишь, поймешь и обвинишь меня. Сознавала — но ничего тебе не говорила. Нет никаких причин, чтобы ты когда-нибудь простила меня, но я все же прошу тебя об этом, потому что...

Она внезапно умолкла.

— Почему? — спросила я. Она засмеялась:

— Да так, нипочему. Я хотела бы получить от тебя прощение, но не рассчитываю на него. В любом случае это еще далеко не все, это только малая часть. Главное — что я помешала вам с Томми быть вместе. — Ее голос снова превратился чуть ли не в шепот. — Это было самое плохое, что я сделала.

Она немного повернулась и в первый раз боковым зрением посмотрела на Томми. Потом, почти сразу, опять направила взгляд на меня одну, но теперь ощущение было такое, что она обращается к нам обоим.

— Это было самое плохое, что я сделала, — повторила она. — За это я даже не прошу у вас прощения. О господи, я столько раз повторяла это про себя, что теперь поверить не могу, что говорю по-настоящему. Надо было, чтобы это были вы с Томми. Я не собираюсь делать вид, что только потом это поняла. Разумеется, всегда понимала, с самых ранних пор, какие могу вспомнить. И все-таки не давала вам сойтись. Я не прошу у вас прощения, я не для того сейчас завела этот разговор. Я хочу, чтобы вы это исправили. Исправили вред, который я вам причинила.

— Что-то я не пойму тебя, Рут, — сказал Томми. — Как это — исправили вред?

Его голос был мягким, и в нем звучало какое-то детское любопытство. Это-то, я думаю, и заставило меня разрыдаться.

– Кэти, выслушай меня, – сказала Рут. – Вам с Томми надо попытаться получить отсрочку. Если это будете вы, то шанс есть. Реальный шанс.

Она положила мне на плечо ладонь, но я резко ее сбросила и гневно посмотрела на Рут сквозь слезы.

– Поздно пытаться. Время упущено.

– Нет, Кэти, совсем даже не поздно, ничего не упущено. Да, у Томми было две выемки. Но разве это что-нибудь меняет?

– Поздно, поздно все это затевать... – Я зарыдала с новой силой. – Даже думать об этом глупо. Так же глупо, как мечтать о работе в том офисе. Поезд давно уже ушел.

Но Рут качала головой.

– Да нет же, не поздно. Томми, скажи ей ты.

Я сидела, сильно наклонившись к рулю, и поэтому не видела Томми вовсе. Раздалось его озадаченное мычание, но слов никаких он не произнес.

– Послушайте меня, – снова заговорила Рут, – послушайте оба. Мне надо было, чтобы мы все втроем сюда отправились, потому что я хотела сказать то, что сказала. Но еще я должна вам кое-что дать. – Говоря, она шарила в карманах куртки и теперь держала в руке смятый клочок бумаги. – Томми, возьми лучше ты. Смотри не потеряй. Потому что вдруг Кэти еще надумает.

Томми просунул руку между спинками сидений и взял бумажку.

– Спасибо, Рут, – сказал он так, словно получил от нее шоколадку. Потом, через несколько секунд, спросил: – Что это? Я не понимаю.

– Это адрес Мадам. Помнишь, как вы меня оба сейчас уговаривали попытаться? Вот сами и попытайтесь.

– Где ты его откопала? – спросил Томми.

– Не так-то просто было. Времени потратила уйму, даже без риска не обошлось. Но в конце концов раздобыла – для вас. Теперь все в ваших руках, найдите ее и попытайтесь.

Я тем временем перестала плакать и запустила мотор.

– Ладно, хватит, – сказала я. – Пора везти Томми обратно. Потом еще самим ехать и ехать.

– Но пожалуйста, подумайте об этом, оба подумайте, хорошо?

– Сейчас я просто еду назад, – сказала я.

– Томми, ты сохранишь адрес? На случай, если Кэти решится.

– Сохраню, – пообещал Томми. Потом, тоном гораздо более серьезным, чем в первый раз, промолвил: – Спасибо, Рут.

– Так, лодку мы посмотрели, – сказала я, – и все, надо двигаться. До Дувра нам добираться два часа, если не больше.

Я снова вырулила на шоссе, и, насколько помню, мы до самого Кингсфилда почти не разговаривали. Под навесом, когда мы въехали на Площадь, по-прежнему тесной кучкой стояли несколько доноров. Я развернулась и выпустила Томми. Ни я, ни Рут не обняли его и не поцеловали, но, идя к группе доноров, он на полдороге обернулся, широко улыбнулся нам и помахал.

Это может показаться странным, но на обратном пути к дуврскому центру мы, по существу, ничего из сегодняшних событий не обсуждали. Отчасти потому, что Рут очень устала – разговор на обочине, казалось, лишил ее всяких сил. Но еще, я думаю, мы обе чувствовали, что

хватит серьезных бесед для одного дня, что от попыток продолжить пользы не будет. Что испытывала Рут по дороге домой, я толком не знаю, но я лично, когда сильные переживания улеглись, когда стемнело и зажглись огни вдоль шоссе, была в очень даже неплохом состоянии. Словно ушло что-то, очень долго надо мной нависавшее, и хотя сказать, что все уладилось, конечно, было нельзя, открылось по крайней мере окошко к чему-то лучшему. Не то чтобы я ощущала подъем или что-нибудь в этом роде. Отношения между нами тремя представлялись мне тонкими и сложными, я была напряжена — но напряжена как-то по-хорошему.

Мы даже Томми не стали обсуждать — согласились только, что выглядит он нормально, и попытались прикинуть, сколько он прибавил в весе. Потом потянулись большие отрезки пути, когда мы обе просто молча смотрели на дорогу.

И только через несколько дней я увидела, какую перемену вызвала эта поездка. Вся закрытость, вся подозрительность между мной и Рут испарилась, и мы, казалось, вспомнили все, что значили друг для друга. Тут-то и началась у нас эта пора — близилось лето, здоровье Рут наконец-то стабилизировалось, я приезжала под вечер с минеральной водой и печеньем, и мы сидели бок о бок у ее окна, смотрели, как солнце опускается за крыши, и говорили про Хейлшем, про Коттеджи, про все, что взбредало нам на ум. Когда я думаю о Рут сейчас, мне, конечно, печально из-за того, что ее не стало, но я и благодарность испытываю — благодарность за этот вот последний период.

Была все же одна тема, которую мы по-настоящему никогда не затрагивали, — а именно то, что Рут сказала нам тогда в машине. Время от времени, правда, она на это намекала. Говорила примерно так:

— И все-таки ты не думала больше о том, чтобы стать помощницей Томми? Ты ведь знаешь, что сможешь это устроить, если захочешь.

Вскоре эта идея — чтобы я сделалась его помощницей — заместила все остальное. Я говорила ей, что думаю об этом, но в любом случае даже мне не очень-то легко такое организовать. После чего мы обычно принимались обсуждать что-нибудь другое. Но я чувствовала, что далеко из сознания Рут это не уходит, и потому, придя к ней в последний раз, я, хоть она и не могла произнести ни слова, знала, что она мне хочет сказать.

Это было через три дня после ее второй выемки — меня наконец пустили к ней очень ранним утром. Она была в палате одна — все, похоже, решили, что сделали для нее максимум возможного. По поведению врачей, координатора и сестер мне к тому времени уже стало ясно, что на поправку рассчитывать не приходится. Первого же взгляда на нее, лежащую на кровати при тусклом больничном свете, мне хватило, чтобы узнать это выражение, которое я не раз видела на лицах доноров. Словно она заставила глаза смотреть внутрь тела, чтобы они помогали ей хоть как-то управляться с несколькими источниками боли в организме, — так беспокойный помощник мечется между тремя или четырьмя тяжко страдающими донорами в разных частях страны. Формально говоря, она еще была в сознании, но пробиться к нему я, стоя у ее металлической кровати, возможности не имела. Как бы то ни было, я пододвинула стул, села, взяла ее руку в свои и бережно сжимала всякий раз, когда при очередном приступе боли она в судороге отворачивалась от меня.

Я пробыла около нее столько, сколько мне позволили, — часа три, может, немного дольше. И, как я уже сказала, почти все время она была далеко внутри себя. Но один раз — всего один, — когда она, корчась от боли, принимала пугающие, неестественные позы и я готова была уже позвать медсестер, чтобы ей дали новую дозу обезболивающего, она каких-нибудь несколько секунд, не больше, смотрела на меня в упор и хорошо понимала, кто я такая. Это было одно из тех крохотных просветлений, что случаются иногда у доноров в разгар их кошмарных битв, и в эти секунды она только глядела на меня, ничего не говоря, но я понимала, что означает этот взгляд. И я сказала ей: "Да, Рут, я это сделаю. Я стану помощницей Томми, как только смогу". Я произнесла эти слова вполголоса, зная, что, прокричи я их даже, она все равно ничего не услышит. Но в этот короткий промежуток, когда мы смотрели друг другу в глаза, она, я надеялась, смогла все прочесть по моему лицу так же отчетливо, как я — по ее. Потом момент миновал, и она опять стала недоступна. Наверняка я, конечно, никогда этого не узнаю, но мне кажется, она поняла. А даже если и нет, я думаю сейчас, что скорее всего ей сразу, даже раньше, чем мне, стало ясно, что я буду помощницей Томми и мы сделаем попытку, о которой она так настойчиво говорила нам в машине в тот день.

Глава двадцатая

Я стала помощницей Томми почти точно через год после поездки к лодке. Незадолго до этого ему сделали третью выемку, и хотя восстанавливался он хорошо, ему все еще нужно было много отдыхать, и не так уж плохо, как выяснилось, было начать этот новый этап вместе. К Кингсфилду я вскоре привыкла, даже прониклась к нему нежностью.

Большинство кингсфилдских доноров получают отдельную палату именно после третьей выемки, и Томми дали одну из самых больших одноместных. Некоторые потом предположили, что это я подсуетилась, но они ошибаются — везение в чистом виде, и к тому же очень роскошной эту палату назвать, так или иначе, было трудно. Во времена кемпинга она, похоже, служила ванной: единственное окно из матового стекла располагалось под самым потолком. Выглянуть наружу можно было, только встав на стул и открыв окно, и, кроме густого кустарника, там все равно ничего нельзя было увидеть. Палата имела форму буквы Г, и поэтому, кроме обычного набора из кровати, стула и шкафа, здесь смогли поставить еще и маленькую школьную парту с откидной крышкой — ценный предмет, как будет видно из дальнейшего.

Я не хочу создавать неверное представление об этом периоде в Кингсфилде. Во многом он был спокойным, умиротворенным, почти идиллическим. Я приезжала чаще всего после ланча и, поднявшись, находила Томми лежащим на узкой кровати, всегда при этом одетым, потому что он не хотел выглядеть "как пациент". Я садилась на стул и читала ему какую-нибудь привезенную с собой книжку — например, "Одиссею" или "Тысячу и одну ночь". Или мы просто разговаривали, иногда о старых временах, иногда о чем-нибудь другом. Ближе к вечеру он часто задремывал, а я писала за его партой свои отчеты. Я поистине поражена была тем, как растаяли прошедшие годы, как легко нам было друг с другом.

Не все, конечно, было в точности как раньше. Начать с того, что у нас с Томми наконец возникли половые отношения. Я не знаю, много ли он думал на эту тему до того как они начались. Ведь он все еще восстанавливался после выемки, и, вполне возможно, это не было для него на первом плане. Я не хотела ничего ему навязывать, но, с другой стороны, мне казалось, что, если мы слишком долго будем тянуть, нам чем дальше, тем труднее будет сделать это естественной частью жизни. И другой моей мыслью, насколько помню, была та, что если мы пойдем по пути, который предложила Рут, и попытаемся получить отсрочку, отсутствие секса может всерьез ухудшить наши шансы. Не то чтобы я думала, что нас непременно спросят. Но меня беспокоило, что это как-нибудь да проявится — недостатком интимности, что ли.

Поэтому однажды я решила попробовать, но так, чтобы ему легко было отказаться, если он не захочет. Он лежал, как обычно, на кровати днем и глядел в потолок, а я читала ему вслух. Потом перестала читать, подошла к нему, села на край кровати и скользнула рукой ему под футболку. Через некоторое время рука пошла вниз, к его мужскому хозяйству, и хотя возбудился он не сразу, мне было ясно, что он обрадован, что ему хорошо. В тот первый раз нам еще нельзя было забывать о его швах, и в любом случае после всех этих лет, когда мы знали друг друга, но полностью близки не были, нужен был какой-то промежуточный этап. Поэтому я сделала ему тогда все руками, а он просто лежал, не пытался ласкать меня в ответ, не пытался даже словами, звуками ничего выразить — выглядел умиротворенным, и только.

Но даже в тот день наряду с ощущением, что это начало, переход к чему-то новому, было еще что-то, еще какое-то чувство. Я долго не хотела себе в этом признаваться, и даже когда призналась, старалась убедить себя, что это пройдет вместе с его разнообразными болями и недомоганиями. Я имею в виду вот что: уже в первый раз поведение Томми было слегка окрашено печалью — он словно бы говорил: "Да, мы делаем это сейчас, и я рад, что мы это делаем. Но очень жаль, что так поздно".

И впоследствии тоже, когда у нас уже был настоящий секс и мы были от него в восторге, — даже тогда это гнетущее чувство постоянно давало о себе знать. Я всеми силами старалась от него защититься. Старалась, чтобы мы любили друг друга на полную катушку — так, чтобы все плавилось в жарком исступлении и ни для чего постороннего не оставалось места. Если он был сверху, я высоко поднимала колени, в любой другой позе я говорила ему все, делала все, что должно было, как мне казалось, добавить огня и самозабвения, — но неприятное чувство так никогда и не уходило совсем.

Может быть, тут сыграла роль палата: солнечный свет, проникая через матовое стекло, даже в разгар лета казался осенним. Может быть — то, что случайные звуки, долетавшие до нас, когда мы лежали вдвоем, исходили от доноров, которые слонялись вокруг или шли через территорию по своим делам, а не от воспитанников, спорящих на траве о романах и стихах. Может быть — то, что порой, даже когда мы отдыхали друг у друга в объятиях после острейшего наслаждения, когда пережитые только что моменты еще плыли в памяти, Томми говорил что-нибудь вроде такого: "Раньше я легко мог два раза подряд. А теперь не получается". Тогда это чувство разом выступало на первый план, и мне приходилось прикладывать к его рту ладонь, чтобы мы могли просто тихо полежать рядом. Томми, я уверена, тоже его испытывал: всякий

раз после чего-то подобного мы оба очень крепко стискивали объятия, словно надеялись благодаря им избавиться от этого чувства.

В первые несколько недель мы по существу обходили молчанием и Мадам, и наш разговор с Рут в машине. Но уже само то, что я стала его помощницей, напоминало: слишком уж медлить нельзя. О том же, конечно, напоминали и рисунки Томми.

На протяжении лет я часто про них думала, и даже в тот день, когда мы поехали смотреть на лодку, мне хотелось спросить его об этих животных. Рисует ли он их еще? Сохранил ли тех, что нарисовал в Коттеджах? Но задать вопрос мне помешала та давняя история, что случилась у нас в связи с его рисунками.

Потом однажды — я ездила к Томми уже примерно месяц — я поднялась к нему в палату и увидела его за партой. Он тщательно что-то вырисовывал, едва не касаясь лицом бумаги. Перед тем как открыть дверь, я постучала, он пригласил меня войти — но даже не повернул ко мне головы и не прекратил своего занятия. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять: он рисует одно из своих воображаемых существ. Я остановилась в дверях, не зная, идти дальше или нет, но в конце концов он поднял голову, посмотрел на меня и закрыл тетрадь — она, я заметила, ничем не отличалась от черных тетрадей, которые он выпрашивал тогда у Кефферса. Я вошла, мы заговорили о чем-то совсем другом, и какое-то время спустя он убрал тетрадь, о которой ни он, ни я не сказали в тот день ни слова. Но впоследствии я, приходя, часто видела ее лежащей на парте или небрежно брошенной около подушки.

Потом один раз мы сидели у него в палате, и до начала кое-каких контрольных процедур у нас оставалось несколько свободных минут. Тут я заметила в его поведении что-то странное, какую-то стеснительность и нарочитость, и подумала, что, может быть, ему хочется секса. Но услышала вот что:

— Кэт, я хочу, чтобы ты мне сказала. Только честно.

И он достал черную тетрадь, положил на парту и показал мне три эскиза, изображавшие некое подобие лягушки — только длиннохвостой, словно отчасти она осталась головастиком. Такое впечатление создавалось, если держать тетрадь на расстоянии. А вблизи каждый рисунок был нагромождением мельчайших подробностей — во многом как те животные, что я видела в Коттеджах.

— Эти два я рисовал — представлял себе, что она металлическая, — сказал он. — Всюду поэтому блестящие поверхности. А вот тут я ее превратил в резиновую. Видишь? Чуть не в кляксу какую-то. Теперь я хочу сделать нормальный вариант, по-настоящему хороший, но не могу выбрать из двух способов. Кэт, честно скажи — что ты думаешь?

Не помню, что я ответила. Помню только охватившее меня чувство — сильное, но смешанное. Мне мигом стало ясно, что таким способом Томми ставит точку на всем, что произошло в Коттеджах вокруг его рисунков, и я испытала облегчение, благодарность, чистый восторг. И я знала вместе с тем, почему эти животные опять возникли, и понимала всю возможную подоплеку его вопроса, заданного, казалось бы, вскользь. По меньшей мере Томми, я видела, показывал мне, что ничего не забыл, хоть мы и не говорили на эти темы прямо; он давал мне понять, что вовсю занят своей частью подготовки — никакой самоуспокоенности.

Но это не все, что я почувствовала, глядя в тот день на его странных лягушек. Потому что опять оно было тут — вначале на заднем плане, еле заметное, но чем дальше, тем более сильное, так что впоследствии я думала об этом и думала. Я ничего не могла тогда с собой поделать: смотрела на эти страницы — и мысль крутилась у меня в голове, хоть я и пыталась схватить ее и выбросить. Дело в том, что рисунки Томми показались мне не такими свежими. Да, во многом лягушки были похожи на то, что я видела в Коттеджах. Но что-то определенно ушло, рисунки выглядели какими-то вымученными, чуть не скопированными. Так что ощущение явилось снова, как я ни старалась его отогнать, — что мы делаем все слишком поздно, что было время, но мы его упустили, — и в наших теперешних мыслях и планах я увидела что-то нелепое, даже предосудительное.

Сейчас, когда я обдумываю это опять, мне представляется, что могла быть и другая причина тому, что мы так долго не говорили с ним о наших планах впрямую. Никто из остальных доноров Кингсфилда, безусловно, ни разу не слышал об отсрочках и чем-либо подобном, и мы, видимо, испытывали смутное замешательство — почти что такое, как если бы у нас был общий постыдный секрет. Возможно, мы даже боялись чего-то, что могло произойти, узнай об этом другие доноры.

Но скажу еще раз: я не хочу изображать это кингсфилдское время в слишком мрачном свете. В основном, особенно после того как он спросил меня о своих животных, оно не было омрачено никакими тенями, оставшимися от прошлого, и нам было действительно хорошо, спокойно друг с другом. И хотя он никогда больше не спрашивал у меня совета насчет рисунков, он с удовольствием работал над ними в моем присутствии, и мы часто проводили послеполуденные часы так: я сижу на кровати, иногда читаю вслух; Томми рисует за партой.

Я думаю, мы были бы счастливы, если бы можно было растянуть это время надолго и гораздо больше таких дневных часов провести за болтовней, сексом, чтением вслух и рисованием. Но лето шло к концу, Томми набирался сил, вероятность получить извещение о четвертой выемке все увеличивалась, и мы понимали, что надолго ничего откладывать нельзя.

У меня было как никогда много работы, и я не появлялась в Кингсфилде почти неделю. Приехала утром, и, помню, лило как из ведра. В палате у Томми была тьма, и слышно было, как из желоба за окном хлещет вода. Он только что ходил в общий зал завтракать с другими донорами, но уже вернулся и теперь сидел на кровати с безучастным видом, ничем не занимаясь. Я вошла измученная — нормального ночного сна у меня не было бог знает сколько — и просто-напросто рухнула на его узкую койку, отодвинув его к стене. Я лежала так, лежала и точно уснула бы, если бы Томми не теребил все время мои колени пальцем ноги. Наконец я села с ним рядом и сказала:

— Томми, я вчера видела Мадам. Не говорила с ней, нет. Но видеть видела.

Он посмотрел на меня, но по-прежнему молчал.

— Я видела, как она идет по улице и входит к себе в дом. Рут все правильно написала. Улица, дом — все сходится.

И я рассказала ему, что накануне под вечер, поскольку так и так была на южном побережье, заехала в Литлгемптон и, как и предыдущие

два раза, прошла по длинной приморской улице мимо домов, стоящих сплошными рядами и носящих такие названия, как "Гребень волны" или "Морской вид", до скамейки у телефонной будки. Я села и, как и те два раза, стала ждать, не сводя глаз с дома напротив.

– Прямо как в детективном фильме. В прошлые приезды я по полчаса и больше так просиживала – и ничего, совсем ничего. Но вчера было какое-то чувство, что мне повезет.

Я была так вымотана, что едва не отключилась прямо на этой скамейке. Но потом подняла голову – и сразу ее увидела, она шла по улице в мою сторону.

– Просто что-то потустороннее, – сказала я. – Она была в точности такая же. Может, только лицо чуть постарело, а так – никакой разницы. Даже одежда не изменилась. Тот же элегантный серый костюм.

– Это не мог быть *именно тот* костюм.

– Не знаю. Выглядел как тот.

– Поговорить с ней, значит, не попыталась?

– Конечно нет, глупенький. Тише едешь – дальше будешь. Она не очень-то к нам была добра, если помнишь.

Я сказала ему, что она прошла мимо меня по той стороне, ни разу не повернув ко мне голову; на секунду мне показалось, что она минует и дверь, на которую я смотрю, – что Рут дала неверный адрес. Но Мадам резко повернулась у калитки, в два-три шага промахнула коротенькую дорожку и скрылась в доме.

Когда я договорила, Томми некоторое время молчал. Потом спросил:

– Ты уверена, что не нарвешься на неприятности? Ездишь и ездишь куда тебе не положено.

– А ты думаешь, почему я такая уставшая? Моталась круглыми сутками, чтобы успеть и туда и сюда. Но мы нашли ее теперь хотя бы.

Дождь за окном лил и лил. Томми лег на бок и положил голову мне на плечо.

– Рут здорово о нас позаботилась, – тихо сказал он. – Все без ошибки.

– Да, это правда. Теперь дело за нами.

– Ну, и какой же план, Кэт? Есть он у нас?

– Просто поехать к ней. Поехать и спросить. На следующей неделе, когда я повезу тебя на анализы. Я устрою так, что тебя отпустят на весь день. На обратном пути заедем в Литлгемптон.

Томми вздохнул и глубже зарылся лицом мне в плечо. Со стороны могло бы показаться, что он не испытывает большого энтузиазма, – но я-то знала, что́ он чувствует. Сколько времени мы все это обдумывали – отсрочки, его теорию насчет Галереи и прочее, – и теперь вдруг пожалуйста. Само собой, это немножко пугало.

– Если у нас получится, – сказал он наконец. – Предположим. Вот она нам дала три года – делайте что хотите. И что мы тогда? Понимаешь, Кэт, о чем я? Куда мы отправимся? Здесь оставаться нельзя, здесь донорский центр.

– Не знаю, Томми. Может быть, она пошлет нас обратно в Коттеджи. Хотя лучше бы еще куда-нибудь. В Белый особняк, например. Или, может, у них есть какое-нибудь другое место. Совсем отдельное – для таких, как мы. Посмотрим, что она скажет.

Еще несколько минут мы тихо лежали, слушая дождь. Потом я начала теребить его ступней, как он меня раньше. В конце концов он ответил тем, что скинул мои ноги с кровати.

— Если мы и правда едем, — промолвил он, — надо решить насчет животных. Ну, выбрать лучших, каких мы возьмем. Может быть, шесть или семь. Надо с умом к этому подойти.

— Хорошо, — сказала я. Потом встала и потянулась. — Я думаю, больше стоит взять. Пятнадцать, даже двадцать. Да, поедем и спросим ее. Ведь не съест же она нас. Поедем и поговорим.

Глава двадцать первая

От дней перед тем, как мы отправились, у меня сохранилась в воображении эта картинка: мы с Томми стоим перед ее дверью, набираемся смелости нажать кнопку звонка, потом с колотящимся сердцем ждем. Но вышло так, что от этой особой муки мы были избавлены.

Немножко удачи нам по справедливости полагалось, потому что день до этого складывался не очень удачно. На анализы мы опоздали на час — забарахлила машина. Потом из-за неразберихи в клинике три анализа пришлось переделать. В результате Томми почувствовал головокружение и слабость, и в машине, когда мы ближе к вечеру отправились наконец в Литлгемптон, его укачивало, и я то и дело останавливалась, чтобы он мог выйти и подышать.

Приехали почти в шесть часов. Я поставила машину за бинго-холлом, Томми вынул из багажника сумку со своими тетрадками, и мы пошли к центру города. Погода весь день стояла отличная, и хотя магазины уже закрывались, около пабов было людно: жители сидели за столиками, беседовали, выпивали. От ходьбы Томми становилось все лучше, и в какой-то момент он вспомнил, что из-за анализов пропустил ланч, и сказал, что хочет подкрепиться перед предстоящим. Мы начали было искать место, где можно купить сандвич на вынос, — и вдруг он так ухватился за мой локоть, что я испугалась, не приступ ли у него какой-нибудь. Но он тихо сказал мне на ухо:

— Вон она, Кэт. Идет мимо парикмахерской.

Это и правда была она. В своем аккуратном сером костюме, точно таком же, как те, что всегда носила, она шла по другой стороне улицы.

На разумной дистанции мы двинулись следом — сначала через пешеходную зону, потом по почти пустой Главной улице. Мы оба, кажется, вспомнили, как в другом городке шли за женщиной, которую считали "возможным я" для Рут. Но на сей раз все было куда проще, потому что вскоре Мадам вывела нас на эту свою длинную приморскую улицу.

Из-за того, что улица была совершенно прямая и вечернее солнце освещало ее всю до конца, оказалось, что мы можем отпустить Мадам, не рискуя ее потерять, очень далеко. Она уменьшилась чуть ли не до точки, но стук ее каблуков все время был слышен, и глухие ритмические удары сумки Томми о его ногу казались своего рода отзвуком.

По этой улице, застроенной одинаковыми домами, мы следовали за ней довольно долго. Потом дома на той стороне кончились и вместо них появились ровные лужайки, за которыми виднелись крыши киосков, стоящих вдоль моря. Хотя самой воды видно не было, по большому небу и крикам чаек чувствовалось, что она близко.

Но по нашей стороне дома все тянулись, и спустя какое-то время я сказала Томми:

— Скоро уже. Видишь вон ту скамейку? На ней я тогда сидела. Дом — напротив.

До этого момента Томми был довольно спокоен. Но теперь что-то с ним случилось, и он пошел гораздо быстрее, как будто хотел ее нагнать. Между Мадам и нами никого не было, Томми все уменьшал интервал, и мне пришлось потянуть его за руку, чтобы он не спешил. Я все время боялась, что она оглянется и увидит нас, но она не оглядывалась и вот уже вошла в свою калитку. У двери дома остановилась и стала искать в сумочке ключи, а мы между тем подошли к калитке, встали и смотрим. Она по-прежнему не оборачивалась, и у меня возникла мысль, что она с самого начала знала про нас и только делала вид, что не замечает. И еще я подумала, что Томми вот-вот крикнет ей что-нибудь и это будет неправильно. Поэтому я быстро, без особых раздумий сама окликнула ее от калитки.

Это было всего лишь вежливое "Простите, пожалуйста", но она так крутанулась вокруг своей оси, будто я чем-нибудь в нее запустила. И когда она на нас посмотрела, на меня повеяло стужей — примерно так же, как много лет назад, когда мы подстерегли ее у главного корпуса. Ее глаза были такими же холодными, как прежде, лицо — может быть, еще более суровым. Узнала ли она нас сразу, сказать не могу, но, без сомнения, в первую же секунду ей стало ясно, *что мы такое*: видно было, как она вся оцепенела — словно к ней нацелились ползти два больших паука.

Потом что-то в выражении ее лица изменилось. Не то чтобы оно смягчилось по-настоящему — но отвращение отошло куда-то на второй план, и она внимательно вгляделась в нас, щурясь от низкого солнца.

— Мадам, — сказала я, перегнувшись через калитку. — Не бойтесь нас, мы не хотели вас напугать. Мы — воспитанники Хейлшема. Я — Кэти Ш., может быть, вы меня помните. А это Томми Д. Мы пришли не для того, чтобы причинить вам беспокойство.

Она сделала несколько шагов назад в нашу сторону.

— Из Хейлшема, — повторила она, и теперь на ее лице даже возникла чуть заметная улыбка. — Что ж, это сюрприз. Если не для того, чтобы причинить беспокойство, то для чего вы здесь?

Вдруг Томми выпалил:

— Мы хотели бы с вами поговорить. Я тут принес кое-что. — Он приподнял сумку. — Может быть, это вам пригодится для Галереи. И хотелось бы поговорить с вами.

Мадам стояла на месте, освещенная закатным солнцем, почти не двигаясь и чуть склонив голову набок, точно прислушивалась к чему-то доносящемуся с берега. Потом опять улыбнулась, но теперь словно бы не нам, а себе.

— Понятно. Тогда прошу в дом. Послушаем, что вы хотите сказать.

Входная дверь у нее, я заметила, была с цветными стеклами, и когда Томми закрыл ее за нами, в коридоре, где мы очутились, стало довольно темно. Коридор был такой узкий, что можно было коснуться локтями сразу двух противоположных стен. Мадам остановилась перед нами и неподвижно стояла к нам спиной, опять как будто прислушиваясь. Через ее плечо я видела, что тесный коридор дальше делился надвое: слева — лестница наверх, справа — еще более узкий проход в глубину дома.

Следуя примеру Мадам, я тоже стала прислушиваться, но в доме вначале было тихо. Потом — кажется, откуда-то сверху — донесся еле слышный глухой стук. Похоже, он что-то означал для Мадам: она сразу же повернулась к нам и, показывая в темный проход, сказала:

— Подождите меня там. Я сейчас спущусь.

Она начала подниматься по лестнице, но, видя нашу нерешительность, перегнулась через перила и опять показала в темноту.

— Туда, туда, — скомандовала она и исчезла наверху.

Мы с Томми двинулись вперед и оказались в комнате, которая, судя по всему, служила гостиной. Впечатление было, что какой-то слуга приготовил здесь все к темному времени суток и ушел: шторы были задернуты, горели тусклые настольные лампы. Пахло старой мебелью — может быть, викторианской. Камин закрывала доска, и с того места, где раньше горел огонь, на тебя смотрела вытканная на манер гобелена странная птица, похожая на сову. Томми тронул меня за плечо и показал на картину в раме, висевшую в углу над маленьким круглым столиком.

— Хейлшем, — прошептал он.

Мы подошли ближе, но я не была уверена. Чувствовалось, что это довольно милая акварель, но стоявшая под ней настольная лампа с кривым абажуром, на котором различались следы паутины, не столько освещала картину, сколько давала отблеск на мутном стекле, и толком увидеть, что изображено, было трудно.

— Около утиного пруда, — сказал Томми.

— Не понимаю, — прошептала я ему. — Никакого пруда здесь нет. Просто сельская местность.

— Да ведь пруд же сзади тебя. — Голос Томми был очень раздраженным, странно даже. — Ты должна помнить. Если стоишь спиной к пруду с дальней стороны и смотришь на северное игровое поле...

Тут мы умолкли, потому что где-то в доме послышались голоса. Сначала мужской, доносившийся вроде бы сверху. Потом — определенно голос Мадам, спускавшейся по лестнице:

— Да, вы совершенно правы. Совершенно.

Мы думали, что Мадам сейчас войдет, но звук ее шагов миновал дверь и направился в заднюю часть дома. В голове у меня мелькнуло, что она хочет приготовить чай с булочками и ввезти на столике-подносе, но я сразу же отмела эту мысль как идиотскую и подумала, что она, вполне вероятно, вообще о нас забыла и в любой момент может вспомнить, войти и прогнать нас. Потом наверху послышался низкий, хриплый мужской голос — так приглушенно, что казалось, он прозвучал двумя этажами выше. Шаги Мадам вернулись в коридор, и она крикнула наверх:

— Я же вам объяснила. Делайте как я сказала, вот и все.

Мы с Томми прождали еще несколько минут. Потом задняя стена комнаты пришла в движение, и стало понятно, что это не настоящая стена, а двустворчатая раздвижная дверь, которой была выгорожена половина длинного помещения. Мадам раздвинула створки не полностью и теперь стояла в проеме и смотрела на нас. Мне хотелось увидеть, что находится за ее спиной, но там была полная тьма. Я подумала, что она, может быть, ждет от нас объяснений, зачем мы явились, но в конце концов она сказала:

— Вы говорите, вас зовут Кэти Ш. и Томми Д.? Я не ошиблась? И как давно вы были в Хейлшеме?

Я ответила ей, но понять, помнит ли она нас, было невозможно. Она просто стояла и стояла на пороге, как будто не решалась войти. Но вот опять подал голос Томми:

— Мы не собираемся надолго вас задерживать. Но хотелось бы поговорить с вами кое о чем.

— Понимаю. Ну что ж. Тогда прошу садиться.

Она положила руки на спинки двух одинаковых кресел, стоявших перед ней. Что-то странное было в этом ее жесте — как будто она не приглашала нас садиться на самом деле. У меня возникло подозрение, что, если мы послушаемся и сядем в эти кресла, она по-прежнему будет стоять сзади, даже рук не уберет со спинок. Но едва мы шагнули в ее сторону, она, в свою очередь, двинулась вперед, и мне показалось — хотя, может быть, это воображение, и только, — что, проходя между нами, она вся как-то сжалась. Когда мы повернулись, чтобы сесть, она уже была у окон, перед массивными бархатными шторами, и смотрела на нас глазами учительницы, стоящей перед классом. Таким, во всяком случае, было мое впечатление в тот момент. Как говорил мне потом Томми, ему почудилось, что она вот-вот запоет, а шторы у нее за спиной распахнутся, как занавес, и вместо улицы и ровного поросшего травой участка земли между ней и берегом мы увидим большую сцену с декорациями наподобие того, что бывало у нас в Хейлшеме, и даже хор увидим, выстроившийся, чтобы подпевать солистке. Забавно было после всего обсуждать это с ним в таком ключе, и Мадам будто возникла снова у меня перед глазами: пальцы сплетены, локти растопырены, ну точно собирается запеть. Впрочем, я сомневаюсь, что такое могло прийти Томми в голову прямо там, на месте. Помню, я заметила, что он весь напряжен, и испугалась, как бы он не ляпнул что-нибудь глупое и неуместное. Поэтому, когда она спросила нас, вполне доброжелательно, какое у нас к ней дело, я недолго думая заговорила первая.

Вначале, вероятно, у меня выходило довольно путано, но потом, когда я поняла, что она, скорее всего, меня дослушает, я успокоилась и начала изъясняться гораздо более внятно. Вообще-то я не одну неделю прокручивала в голове то, что я ей скажу. Я обдумывала это во время долгих поездок на машине, обдумывала, сидя за тихими столиками кафе на станциях обслуживания. Объяснение казалось мне тогда таким трудным, что в конце концов я сделала вот как: ключевые вещи запомнила дословно, а потом нарисовала мысленно схему перехода от пункта к пункту. Но сейчас, когда она стояла передо мной, подготовленное показалось мне большей частью либо ненужным, либо совершенно неверным. Странное дело — кстати, Томми, когда мы потом это обсуждали, со мной согласился: хотя в Хейлшеме Мадам была для нас враждебной личностью, вторгавшейся извне, теперь, не проявив ни словами, ни делами сколько-нибудь участливого отношения к нам, она тем не менее внушала доверие, представлялась человеком куда более близким, чем все новые знакомые, появившиеся у нас за последние годы. Вот почему все, что я вызубрила, разом вылетело у меня из головы, и я заговорила с ней откровенно и просто — почти что так, как в давние годы могла говорить с опекуншей. Я рассказала ей, какие слухи ходили по поводу отсрочек для воспитанников Хейлшема, и оговорилась, что особых расчетов у нас нет — ведь ясно, что слухи могут быть и ложными.

— И даже если это правда, — сказала я, — мы понимаем, что вы, наверно, устали от всего этого, от всех пар, которые к вам приходят и за-

являют, что у них любовь. Мы с Томми никогда бы не решились вас побеспокоить, если бы не были полностью уверены.

— Уверены? — Это было первое слово, что она произнесла за долгое время, и мы оба от неожиданности даже чуточку вздрогнули. — Вы говорите — вы *уверены?* Уверены, что любите друг друга? Но как вы можете это знать? Вы думаете, любовь — такая простая вещь? Значит, вы влюблены. Очень сильно влюблены, так? Вы ведь это хотите мне сказать?

Ее интонация была почти саркастической, но потом я, к своему изумлению, увидела в ее глазах, смотревших то на меня, то на Томми, маленькие слезинки.

— Вы убеждены, да? Что очень сильно друг друга любите. И вот пришли просить об этой... отсрочке. Но почему? Почему ко мне?

Если бы тон, которым она задала вопрос, показывал, что она считает всю затею полным идиотизмом, я наверняка почувствовала бы себя уничтоженной. Но она задала его не так. Скорее — как проверочный вопрос, на который она знает ответ; и даже можно было подумать, что она много раз уже вела с парами такие разговоры. Вот что меня обнадежило. Но Томми не вытерпел и вмешался:

— Мы пришли к вам из-за вашей Галереи. Нам кажется, мы знаем, зачем она существует.

— Моя галерея? — Она прислонилась к подоконнику, всколыхнув сзади себя шторы, и медленно вздохнула. — Моя галерея. Вы имеете в виду мою коллекцию. Все эти картины, стихи, все ваши произведения, которые я собирала год за годом. Это стоило мне больших трудов, но я в это верила, мы все тогда верили. Итак, вы думаете, что знаете, зачем она была нужна, зачем мы этим занимались. Что ж, интересно будет послушать. Потому что этот вопрос, должна признаться, я все время задаю. — Внезапно она перевела глаза с Томми на меня. — Не слишком далеко я зашла?

Я не знала, что отвечать, и просто сказала:

— Нет-нет.

— Наверно, слишком, — промолвила она. — Извините. Я часто забываюсь, когда говорю на эти темы. Выбросьте из головы то, что я сейчас сказала. Итак, молодой человек, вы хотели что-то мне объяснить про мою галерею. Пожалуйста, я слушаю.

— Она для того, чтобы вы могли определить, — сказал Томми. — Чтобы иметь на что опираться. Иначе как вам понять, правду говорит пара или нет?

Взгляд Мадам опять перешел на меня, но ощущение было такое, что она смотрит на какую-то точку у меня на руке. Я даже опустила глаза проверить, не попал ли мне на рукав птичий помет или что-нибудь подобное. Потом я услышала ее голос:

— И вы считаете — поэтому я собирала плоды вашего творчества. Пополняла мою *галерею*, как вы все ее называли. Я очень сильно смеялась, когда узнала, что мою коллекцию обозначили этим словом. Но со временем сама стала так о ней думать. Моя галерея. Но растолкуйте мне, молодой человек. Как именно моя галерея может помочь разобраться, действительно ли вы любите друг друга?

— По ней видно, кто мы такие есть, — сказал Томми. — Потому что...

— Потому, разумеется, — перебила его Мадам, — что ваши работы раскрывают вашу внутреннюю суть! Вы ведь это имели в виду? Потому

что они показывают, какие у вас *души*! — Тут внезапно она опять посмотрела на меня со словами: — Я не слишком далеко захожу?

Она уже задавала этот вопрос, и снова мне показалось, что она глядит куда-то на мой рукав. Но к тому моменту легкое подозрение, возникшее у меня, когда она сказала это в первый раз, уже начало усиливаться. Я пристально взглянула на Мадам, но она, похоже, почувствовала мою пытливость и вновь повернулась к Томми.

— Ну хорошо, — промолвила она. — Продолжаем. Итак, что вы мне начали говорить?

— Дело в том, — сказал Томми, — что у меня тогда в голове была неразбериха.

— Нет-нет, вы говорили о вашем творчестве. О том, что искусство обнажает душу художника.

— А сейчас я вот что хочу сказать, — гнул свое Томми. — У меня в то время была такая путаница в голове, что я никаким творчеством не занимался. Ничего не делал вообще. Теперь-то я понимаю, что должен был, но тогда неразбериха в голове была полная. Поэтому ничего моего в вашей Галерее нет. Я знаю, что это моя вина и поезд, скорее всего, давно ушел, но все-таки я кое-что принес вам сейчас. — Он поднял с пола сумку и начал расстегивать молнию. — Тут одно нарисовано недавно, другое уже долго лежит. А что касается Кэт, ее вещи у вас должны быть. Вы их много взяли к себе в Галерею. Правда ведь, Кэт?

Несколько секунд они оба смотрели на меня. Потом Мадам еле слышно сказала:

— Несчастные создания. Что же мы с вами сделали? Мы — со всеми нашими проектами, планами...

Продолжать она не стала, и мне опять почудилось, что в ее глазах стоят слезы. Потом, глядя на меня, она спросила:

— Стоит ли вести этот разговор дальше? Или хватит?

Именно после этих слов смутная мысль, которая у меня была, превратилась в нечто более определенное. "Не слишком далеко я зашла?" А теперь: "Стоит ли дальше?" Я поняла, чуть похолодев, что вопросы задавались не мне и не Томми, а кому-то другому, находящемуся за нашими спинами в темной половине комнаты.

Медленно-медленно я повернулась и уставилась в темноту. Разглядеть ничего было нельзя, но я услышала звук, механический и на удивление далекий: темная часть дома простиралась намного дальше, чем я думала. Потом в глубине что-то возникло, стало приближаться, и женский голос произнес:

— Да, Мари-Клод. Продолжим.

По-прежнему глядя в темноту, я услышала, как Мадам фыркнула, и большими шагами она пронеслась на неосвещенную половину. Потом — новые механические звуки, и Мадам появилась, толкая кресло на колесах, в котором кто-то сидел. Она опять прошла между нами, и в первые секунды из-за того, что Мадам загораживала кресло спиной, я не видела, кого она везет. Но потом Мадам повернула кресло к нам и обратилась к сидящей в нем фигуре:

— Лучше вы с ними говорите. Это к вам они пришли на самом деле.

— Я тоже так думаю.

Фигура в кресле была сгорбленная и немощная, и узнала я, кто это, прежде всего по голосу.

— Мисс Эмили, — очень тихо промолвил Томми.

— Лучше вы с ними говорите, — повторила Мадам, словно бы умывая руки. Но по-прежнему стояла за креслом и смотрела на нас блестящими глазами.

Глава двадцать вторая

— Мари-Клод права, — сказала мисс Эмили. — Это ко мне вам следовало обратиться. Мари-Клод очень много сил отдала нашему проекту. И когда все кончилось так, как кончилось, у нее наступило разочарование. Что касается меня, то при всех неудачах очень уж горького чувства я не испытываю. Я думаю — то, чего мы достигли, заслуживает некоторого уважения. Взять хотя бы вас двоих. С вами все в итоге очень неплохо. Я уверена — вы могли бы рассказать мне много такого, чем я бы гордилась. Как, вы говорите, вас зовут? Нет, нет, постойте. Попробую вспомнить сама. Вы — мальчик с трудным характером. С трудным характером и большим сердцем. Томми. Верно? А вы, конечно, Кэти Ш. Из вас вышла отличная помощница. Мы слышали о вас очень много хорошего. Видите — я кое-что помню. Осмелюсь сказать, что помню вас всех.

— Какая польза от этого вам и им? — спросила Мадам и от инвалидного кресла решительно прошла между мной и Томми в темноту, судя по всему — чтобы занять место, где раньше была мисс Эмили.

— Мы очень рады снова вас видеть, мисс Эмили, — сказала я.

— Очень мило с вашей стороны. Я вас узнала, но вам, наверно, узнать меня было трудновато. Между прочим, не так давно, Кэти Ш., я проехала мимо вас, когда вы сидели на той скамейке, и вы, конечно же, меня не узнали. Вы больше глядели на Джорджа, который меня вез, — крупный такой нигериец, помните? Вы внимательно на него посмотрели, а он — на вас. Я не произнесла ни слова, и вы не поняли, что это я. Но сегодня, в иной обстановке, нам легче узнать друг друга. Вас обоих, кажется, немного шокировало мое состояние. Я не вполне здорова последнее время, но надеюсь, это приспособление — не навсегда. К сожалению, мои дорогие, я не смогу сегодня беседовать с вами так долго, как мне бы хотелось, потому что скоро сюда приедут забирать мой прикроватный шкафчик. Вещь просто великолепная. Джордж обмотал его защитным материалом, но я все равно настояла на том, что буду сопровождать его до места. С ними ни в чем нельзя быть уверенной. Обращаются с предметами грубо, швыряют в машину как попало, а потом их работодатель заявляет, что так все и было. У нас уже есть такой опыт, и на этот раз я настояла, что поеду с ними вместе. Шкафчик — прелесть, он был со мной в Хейлшеме, и я твердо намерена получить за него хорошую цену. Поэтому, когда они явятся, мне, боюсь, придется вас оставить. Но я вижу, мои дорогие, что вы пришли сюда по велению сердца. Должна признаться — меня воодушевляет эта встреча. И Мари-Клод она тоже воодушевляет, хотя по ее лицу не скажешь. Не правда ли, милая моя? Она делает вид, что это не так, но я-то знаю. Она тронута тем, что вы нас разыскали. Вообще-то она сейчас хандрит, так что не обращайте на нее внимания, воспитанники, не обращайте. А теперь я, как могу, постараюсь ответить на ваши вопросы. Этот слух доходил до меня множество раз. Когда у нас еще был Хейлшем, к нам приезжали, пытались встретиться и поговорить по две-три пары в год. Одна пара даже нам написала. Я думаю, тем, кто готов был нарушить правила, нас нетрудно

было найти: Хейлшем не такое уж глухое место. Так что, как видите, слух существует давно, не вы первые.

Она умолкла, поэтому я сказала:

– Мы хотели бы знать, мисс Эмили, правда это или нет.

Несколько секунд она по-прежнему молча смотрела на нас, потом глубоко вздохнула.

– Внутри самого Хейлшема, едва начинались такие разговоры, я делала все, чтобы положить им конец. Но на то, что обсуждали между собой воспитанники после отъезда, я, конечно, влиять не могла. В конце концов я пришла к мысли – и Мари-Клод тоже так думает, правда, дорогая? – что этот слух не индивидуальное явление. То есть я полагаю, что он раз за разом зарождается с чистого листа. Добираешься до источника, искореняешь, но не можешь помешать тому, чтобы слух опять возник в другом месте. Поняв это, я перестала волноваться. А Мари-Клод – та вообще никогда не волновалась на этот счет. Она рассуждала так: "Ну и пусть себе верят, раз они настолько глупы". Да, да, и не надо делать сейчас кислую мину. Таким было ваше мнение с самого начала. После многих лет я не пришла в точности к такому же выводу. Но я стала думать: пожалуй, мне не следует беспокоиться. Не я же в конце концов этот слух распускаю. Пар, которые приходится разочаровывать, очень мало, а остальные так или иначе никогда до проверки дело не доводят. Это для них всего-навсего мечта, маленькая фантазия. Какой от нее вред? Но к вам двоим, признаю, это не относится. Вы настроены серьезно. Вы хорошо подумали. Вы *надеялись* всерьез. По поводу таких воспитанников, как вы, я испытываю сожаление. Мне очень грустно вас разочаровывать. Но что делать.

Мне не хотелось смотреть на Томми. Я была на удивление спокойна, и хотя слова мисс Эмили должны были, казалось, раздавить нас, в них слышалось что-то такое, что обещало продолжение: она не все еще сказала, самая суть остается пока нераскрытой. Я допускала даже, что она лукавит. И я спросила:

– Правильно ли я поняла, что отсрочек не бывает? И вы ничего-ничего не можете сделать?

Она медленно покачала головой.

– Слух не имеет под собой оснований. Мне очень жаль, поверьте мне.

– А когда-нибудь раньше? – спросил вдруг Томми. – До того, как Хейлшем закрыли?

Мисс Эмили продолжала качать головой.

– Нет, никогда. Даже до скандального дела Морнингдейла, даже когда Хейлшем считали путеводным маяком, примером того, как можно двигаться к чему-то лучшему, к большему гуманизму, – даже в то время ничего подобного не было. Здесь должна быть полная ясность. Этот слух – сладкая иллюзия, ничего больше. О господи, неужели за шкафчиком?

В дверь позвонили, и на лестнице послышались шаги – кто-то спустился открыть. Потом из узкого коридорчика донеслись мужские голоса, и Мадам, покинув темноту за нами, пересекла комнату и вышла. Мисс Эмили, напряженно прислушиваясь, подалась вперед в своем кресле. Потом сказала:

– Нет, это не они. Это опять тот жуткий человек из фирмы, которая занимается интерьерами. С ним все решит Мари-Клод, так что несколь-

ко минут, мои дорогие, у нас имеется. Есть еще что-нибудь, о чем вы хотели бы со мной поговорить? Все это, конечно, строго запрещено, Мари-Клод даже в дом не должна была вас пускать. И, разумеется, мне полагалось бы выставить вас вон в первую же секунду. Но Мари-Клод сейчас не такая уж большая ревнительница правил — как и я, впрочем. Поэтому, если хотите еще ненадолго здесь остаться — милости прошу.

— Если это всегда было только ложным слухом, — спросил Томми, — то зачем увозили наши работы? И что, Галереи тоже никакой не было?

— Галереи? Ну нет, *этот* слух ложным нельзя назвать. Галерея *была* — и, можно сказать, она есть и сейчас. Теперь она здесь, в этом доме. От части вещей мне, правда, пришлось избавиться, о чем я сожалею. Но для всего тут просто не было места. Однако вы, как я понимаю, хотите знать, зачем мы это собирали.

— Не только, — тихо сказала я. — Для чего вообще было нужно все это наше творчество? Для чего нас учили, поощряли, заставляли рисовать, лепить, сочинять? Если впереди у нас были только выемки, а потом смерть, — зачем все эти уроки? Все эти книги, дискуссии?

— И зачем вообще Хейлшем? — подала из коридора голос Мадам и опять прошла мимо нас в темную часть комнаты. — Вот вопрос в самую точку.

Взгляд мисс Эмили последовал за ней и на несколько секунд задержался там, за нашими спинами. Мне хотелось обернуться и увидеть, какими глазами смотрит на нее Мадам, но я не стала: почти как в Хейлшеме нам, я чувствовала, надо было глядеть вперед с полным вниманием. Потом мисс Эмили сказала:

— Да, зачем вообще Хейлшем? Мари-Клод то и дело задает сейчас этот вопрос. Но не так уж давно, до дела Морнингдейла, ей и в голову не пришло бы такое спросить. И присниться бы не могло. Не смотрите на меня так, Мари-Клод, вы прекрасно это знаете! В то время подобный вопрос мог задать только один человек на свете, и этим человеком была я. Задолго до Морнингдейла, с самого-самого начала я спрашивала себя об этом — чем обеспечивала спокойную жизнь всем остальным, Мари-Клод. Всем — не только опекунам, но и вам, воспитанникам. Заботы, вопросы — все это я брала на себя. И пока я была тверда, ни у кого из вас не возникало даже малейших сомнений. Но вы, милый мальчик, кое-какие вопросы нам сейчас задали. Я отвечу на самый простой, и, может быть, это будет ответом и на все остальные. Зачем мы забирали ваши произведения? Зачем мы это делали? Вы интересную вещь сказали, Томми, когда обсуждали это с Мари-Клод. Вы объяснили все тем, что искусство показывает, кто вы такие есть. Что́ у вас внутри. Вы ведь именно это сказали, правда? Что ж, вы были недалеки от истины. Мы потому забирали ваши работы, что они, как мы надеялись, должны были выявить ваши души. Или, точнее говоря, *доказать, что у вас есть души.*

Она замолчала, и мы с Томми впервые за долгое время обменялись взглядами. Потом я спросила:

— Мисс Эмили, а почему понадобилось это доказывать? Разве кто-нибудь считал, что у нас их нет?

На лице у нее появилась слабая улыбка.

— Очень трогательно, Кэти, видеть ваше удивление. Косвенно оно говорит о том, что мы неплохо справились со своим делом. Вы законно спрашиваете: как можно сомневаться, что у вас есть душа? Но должна вам сказать, дорогая моя, что в прежние годы, когда мы только начина-

ли, признать ее существование у таких, как вы, готовы были далеко не все. И хотя мы прошли с тех пор немалый путь, даже сегодня на этот счет нет единого мнения. Вы, воспитанники Хейлшема, хоть вас и выпустили уже в широкий мир, об очень многом не имеете понятия. В эту самую минуту немало воспитанников по всей стране находится в ужасных условиях, которые вам, выросшим в Хейлшеме, трудно даже вообразить. И теперь, когда мы выбыли из игры, положение только ухудшится.

Она снова умолкла и какое-то время внимательно смотрела на нас сощуренными глазами. Наконец заговорила дальше:

— По крайней мере мы позаботились о том, чтобы все наши подопечные росли в очень хорошей обстановке. И еще о том, чтобы, даже и уехав от нас, вы все равно были избавлены от худших из этих ужасов. Хотя бы это мы смогли вам обеспечить. Но что касается вашей мечты о возможности *отсрочить*... Предоставлять такое мы никогда не имели права, даже на пике нашего влияния. Мне очень жаль — я прекрасно понимаю, что мои слова вас не радуют. Но не падайте духом. Надеюсь, вы способны оценить то немалое, что мы *сумели* вам дать. Посмотрите на самих себя! У вас была хорошая жизнь, вы образованны, культурны. Мне жаль, что вы не получили от нас большего, но вам следует понимать, насколько хуже все было в прошлом. Когда мы с Мари-Клод начинали, ничего подобного Хейлшему просто не существовало. Мы были первыми — мы и Гленморган-хаус. Через несколько лет добавился еще Сондерз-траст. Вместе мы образовали маленькую, но очень активную группу, которая оспорила всю прежнюю систему подготовки доноров. Самое важное — мы показали миру, что, если воспитанники растут в гуманной и цивилизованной обстановке, они способны стать такими же восприимчивыми и разумными, как любые обычные люди. До этого все клоны — или *воспитанники*, как мы предпочитали вас называть, — существовали только как материал для медицины. Ничего другого в тот первый послевоенный период большинство в вас не видело. Где-то там какие-то пробирочные объекты. Вы согласны, Мари-Клод? Что-то она тихая у нас сейчас. Обычно как примется на эту тему — не остановишь. Ваше присутствие, мои дорогие, похоже, лишило ее дара речи. Вот и хорошо. Возвращаясь к вашему вопросу, Томми: зачем нам нужны были ваши произведения? Мы отбирали из них лучшие и устраивали специальные выставки. В конце семидесятых, когда наше влияние достигло максимума, мы проводили крупные мероприятия по всей стране. Приезжали министры, епископы, всевозможные знаменитости. Произносились речи, жертвовались круглые суммы. "Вот, смотрите! — заявляли мы. — Взгляните на эти произведения искусства! Как вы смеете утверждать, что их авторы — недочеловеки?" Да, мы пользовались тогда поддержкой, мы были на коне.

Потом несколько минут мисс Эмили вспоминала разные события тех времен, вспоминала многие имена, которые ничего нам не говорили. В какой-то момент даже показалось, что мы опять сидим на одном из тех утренних общих собраний, когда ее заносило неизвестно куда и мы мало что могли понять. Сама она явно получала сейчас удовольствие, на ее лице заиграла мягкая улыбка. Потом внезапно она вышла из этого состояния и сказала другим тоном:

— Но мы никогда не теряли из виду реальность, правда, Мари-Клод? В отличие от наших коллег из Сондерз-траста. Даже в лучшие годы мы

прекрасно понимали, какую тяжелую битву ведем. И пожалуйста: сначала дело Морнингдейла, потом еще пара-тройка событий — и мы глазом не успели моргнуть, как все наши колоссальные труды пошли прахом.

— Но почему, — спросила я, — люди с самого начала стали так обращаться с воспитанниками?

— С точки зрения нынешнего дня ваша озадаченность, Кэти, вполне понятна. Но вы должны попытаться взглянуть на вещи исторически. После войны, в начале пятидесятых, когда одно за другим стремительно делались великие научные открытия, у людей не было времени критически все обдумать, поднять разумные вопросы. Внезапно открылась масса новых возможностей; многие болезни, с которыми врачи до тех пор не могли бороться, стали излечимыми. Это было первое, что мир увидел, первое, чего он хотел. И люди долго предпочитали думать, что все эти человеческие органы являются ниоткуда — ну, в лучшем случае выращиваются в каком-то вакууме. Да, кое-какие споры возникали. Но к тому времени как люди начали беспокоиться из-за... *воспитанников*, к тому времени как их стало интересовать, в каких условиях вас растят и следует ли производить вас на свет вообще, уже было поздно. Дать задний ход не было никакой возможности. Как потребовать от мира, уже привыкшего считать рак излечимым, чтобы он отказался от этого лечения и добровольно вернулся к старым мрачным временам? Нет, назад пути не было. Как бы ни было людям совестно из-за вас, главное, о чем они думали, — чтобы их дети, супруги, родители, друзья не умирали от рака, заболеваний двигательных нейронов, сердечных заболеваний. Поэтому вас постарались упрятать подальше, и люди долго делали все возможное, чтобы поменьше о вас думать. А если все-таки думали, то пытались убедить себя, что вы не такие, как мы. Что вы не люди, а раз так, ваша судьба не слишком важна. Вот как обстояло дело до тех пор, пока не возникло наше маленькое движение. Но вы поняли, против чего мы ополчились? Наша задача была не легче, чем квадратура круга. Мир требовал все новых и новых доноров, все новых и новых выемок. И пока такое положение сохраняется, барьер, мешающий видеть в вас полноценных людей, исчезнуть не может. Мы вели эту борьбу долгие годы и по крайней мере добились для вас многих послаблений — хотя, конечно, вы были всего-навсего избранным меньшинством. Но потом случилось скандальное дело Морнингдейла, потом произошли другие события, и не успели мы опомниться, как обстановка стала совсем иной. Никто больше не хотел, чтобы в нем видели нашего сторонника и спонсора, и наше маленькое сообщество — Хейлшем, Гленморган, Сондерз-траст — было стерто с лица земли.

— Что это за дело Морнингдейла, мисс Эмили? — спросила я. — Вы о нем уже упоминали. Расскажите, мы ничего про это не знаем.

— Вполне естественно, что вы не знаете. В большом мире это не так уж громко прозвучало. Дело касалось одного ученого, Джеймса Морнингдейла, очень талантливого в своем роде. Он проводил свои исследования в отдаленной части Шотландии, видимо рассчитывая, что там к ним будет меньше внимания. Он хотел предложить людям возможность увеличивать способности рождающихся у них детей. Способности как умственные, так и физические. Разумеется, были и другие специалисты со сходными устремлениями, но этот Морнингдейл зашел в своих исследованиях гораздо дальше, чем кто-либо до него, и оставил далеко позади границы закона. О его деятельности стало известно, ей

положили конец, и вопрос, казалось, был закрыт. Закрыт — но только не для нас. Повторяю, очень большого резонанса это дело не вызвало. Но оно создало определенную атмосферу, вот в чем беда. Оно усилило в людях страх, который они всегда носили в себе. Растить доноров для медицины, таких, как вы, — это одно. Но поколение искусственных детей, которые займут лучшие места в обществе? Детей, намного *превосходящих* всех конкурентов? Ну нет. Людей это испугало. Они с ужасом отшатнулись.

— Я не понимаю, мисс Эмили, — сказала я, — какое отношение это имеет к нам? Почему из-за этого пришлось закрыть Хейлшем?

— Мы тоже не видели явной связи, Кэти. Поначалу не видели. И я часто думаю сейчас, что в этом была наша ошибка. Если бы мы были более бдительны и не так погружены в свою деятельность, если бы приложили все усилия на том этапе, когда новость о Морнингдейле только появилась, — возможно, мы сумели бы предотвратить худшее. Мари-Клод, правда, не согласна. Она считает, что это все равно произошло бы, как бы мы ни барахтались, и, может быть, она и права. Ведь Морнингдейл — это только одно. Было и другое. Этот жуткий телесериал, к примеру. Разные обстоятельства сложились вместе — и переменили ход событий. Но главная наша слабость, если уж говорить всерьез, состояла вот в чем. Наше маленькое движение всегда было очень непрочным, потому что зависело от прихотей тех, кто нас поддерживал. Пока климат был благоприятным, пока корпорации и политики могли рассчитывать извлечь выгоду из помощи нам — мы держались на плаву. Но это всегда требовало усилий, и стоило после Морнингдейла климату измениться, как мы потеряли все шансы. Мир не хотел больше напоминаний о том, как в действительности работает программа выращивания доноров. Люди не хотели больше думать о таких, как вы, об условиях, в которых вы находитесь. Иными словами, дорогие мои, они хотели снова упрятать вас как можно дальше. Туда, где вы были до того, как возникли Мари-Клод, я и нам подобные. И все влиятельные люди, которые раньше с такой охотой нам помогали, теперь, конечно, испарились. За год с небольшим мы лишились всех спонсоров одного за другим. Мы держались сколько могли — на два года дольше, чем Гленморган. Но в конце концов и нам, как вы знаете, пришлось закрыться, и сегодня от наших трудов практически не осталось и следа. Ничего подобного Хейлшему сейчас в стране нет. Есть только все те же огромные государственные "дома", и если даже в чем-то они улучшились по сравнению со старыми временами, все равно, дорогие мои, вы надолго потеряете сон, если увидите, что делается в некоторых из них. А мы с Мари-Клод — мы оказались здесь, в этом доме. Наверху гора ваших произведений, больше у нас ничего не осталось на память о нашей работе. Плюс гора долгов, что куда менее приятно. И воспоминания о вас — по-моему, обо всех без исключения. И знание, что мы обеспечили вам лучшую жизнь, чем была бы у вас в ином случае.

— Если ждете от них благодарности, то напрасно, — прозвучал из-за наших спин голос Мадам. — С какой стати они будут говорить нам "спасибо"? Они пришли сюда, надеясь получить куда больше. О том, что мы им дали, обо всех этих годах, обо всей борьбе, что мы вынесли ради них, — какое они имеют об этом понятие? Они думают, что это им от Бога. До приезда сюда они ничего об этом не знали. И теперь испытыва-

ют только разочарование, потому что мы не обеспечили им всего по максимуму.

Какое-то время все молчали. Потом снаружи послышался шум, и в дверь опять позвонили. Мадам вышла из темноты и направилась через комнату в коридор.

— На этот раз *наверняка* они, — сказала мисс Эмили. — Мне надо будет приготовиться. Но вы не торопитесь уходить. Они должны будут снести шкафчик вниз по двум лестничным маршам. Мари-Клод проследит, чтобы они его не повредили.

Мы с Томми не могли до конца поверить, что это все. Мы оба продолжали сидеть, и, как бы то ни было, никто пока не шел извлекать мисс Эмили из инвалидного кресла. На секунду я задумалась, не попытается ли она встать сама, но она никаких движений не делала — сидела подавшись вперед, как раньше, и чутко прислушивалась. Потом Томми сказал:

— Значит, точно ничего такого нет. Ни отсрочек, ничего.

— Томми, — пробормотала я и укоризненно на него посмотрела. Но мисс Эмили мягко промолвила:

— Да, Томми. Ничего такого нет. Ваша жизнь должна и дальше идти по общим правилам.

— Значит, вы говорите, мисс, — спросил Томми, — что все, чем мы занимались, все уроки и прочее — все это было только ради того, о чем вы сказали? И ничего другого?

— У вас, я понимаю, — сказала мисс Эмили, — может создаться впечатление, что вы были только пешками в игре. Да, такая мысль может прийти в голову. Но согласитесь: вы — пешки, которым повезло. Был определенный климат, теперь его нет. В этом мире такое иногда происходит, ничего не поделаешь. Мнения, чувства людей движутся то в одну сторону, то в другую. Так случилось, что вы росли в определенный момент этого процесса.

— Вы говорите, что это одна из тенденций, которые приходят и уходят, — сказала я. — Наверно, это так. Но для нас это — вся наша жизнь.

— Да, вы правы. Но не забывайте: вам было лучше, чем многим до вас. И кто знает, что ожидает тех, кто придет после вас. Мне очень жаль, дорогие воспитанники, но я должна сейчас вас покинуть. Джордж! Джордж!

Но никакой реакции не последовало: в коридоре было довольно шумно, и Джордж, видимо, не расслышал. Вдруг Томми спросил:

— Из-за этого мисс Люси уехала, да?

Сначала мне показалось, что до слуха мисс Эмили, чье внимание было сосредоточено на происходящем в коридоре, вопрос не дошел. Она откинулась на спинку кресла и начала потихоньку двигаться в нем в сторону двери. Но в комнате стояло так много маленьких кофейных столиков и стульев, что проехать не было возможности. Я собралась было встать и расчистить ей путь, но внезапно она остановилась.

— Люси Уэйнрайт, — сказала она. — Как же, как же. У нас была с ней небольшая неприятность. — Она замолчала и снова повернула кресло так, чтобы сидеть лицом к Томми. — Да, маленькая неприятность. Расхождение во мнениях. Но я отвечу на ваш вопрос, Томми. Наши разногласия с Люси Уэйнрайт не связаны с тем, что я вам сейчас говорила. По крайней мере прямо не связаны. Нет, скорее это, скажем так, было наше внутреннее дело.

Я подумала, что она хочет на этом поставить точку, и спросила:

– Мисс Эмили, если вы не против, мы хотели бы узнать, что случилось с мисс Люси.

Мисс Эмили подняла брови.

– С Люси Уэйнрайт? Она так много для вас значила? Простите меня, дорогие воспитанники, я опять отвлеклась. Люси была у нас не очень долго, и поэтому в наших воспоминаниях о Хейлшеме она не занимает центрального места. Счастья эта работа ей не принесла. Но я понимаю вас, вы же росли именно в те годы...

Она усмехнулась – похоже, вспомнила что-то. В коридоре Мадам громко отчитывала мужчин, но теперь мисс Эмили, казалось, потеряла к этому интерес и вся ушла в воспоминания. В конце концов она сказала:

– Люси Уэйнрайт – очень даже симпатичная особа. Просто, пробыв у нас какое-то время, она прониклась некоторыми идеями. Решила, что вас, воспитанников, недостаточно ставят в известность. В известность о том, что вас ждет, кто вы такие, для чего вы нужны. Она считала, что вам надо давать как можно более полную картину. Что в противном случае это пахнет каким-то жульничеством. Мы обдумали ее предложение и пришли к выводу, что она ошибается.

– Почему? – спросил Томми. – Почему вы так решили?

– Почему? Она хотела вам добра, я не сомневаюсь. Я вижу, что вы были к ней очень привязаны. Она имела все задатки первоклассной опекунши. Но ее идеи – они были слишком *теоретическими*. Мы проработали в Хейлшеме много лет и имели представление о том, что дает эффект, а что нет, что лучше для воспитанников в дальней перспективе – не только в хейлшемские годы. В том, что Люси Уэйнрайт была идеалистка, большой беды нет. Хуже, что она не понимала некоторых практических вещей. Видите ли, мы сумели вам кое-что дать, чего даже сейчас никто на свете у вас не отнимет, и сумели мы это прежде всего потому, что предоставляли вам *укрытие*. Иначе Хейлшем не был бы Хейлшемом. И конечно, это означало, что мы кое-что от вас утаивали, иногда даже лгали вам. Да, во многом мы вас *обманывали* – не побоюсь этого слова. Но мы укрывали вас все эти годы, и мы дали вам детство. Люси, повторяю, желала вам добра. Но если бы мы ее послушались, от вашей счастливой жизни в Хейлшеме не осталось бы ничего. Посмотрите на себя сейчас! Я вот смотрю на вас и горжусь вами. Вы построили свою жизнь на том, что получили от опекунов. Вы не стали бы тем, чем стали, если бы мы не защищали вас. Вас не увлекали бы уроки, вы не уходили бы с головой в искусство, в словесность. Чего ради, если бы вы знали, какая участь ждет каждого из вас? Вы заявили бы нам, что все это бессмысленно, и как бы мы могли с этим спорить? Вот почему нам пришлось распрощаться с Люси Уэйнрайт.

Теперь Мадам уже просто кричала на мужчин. Не то чтобы она совсем вышла из себя, но ее голос стал пугающе жестким, и мужчины, которые до сих пор пытались с ней спорить, теперь умолкли.

– Не так уж плохо, наверно, что я осталась тут с вами, – сказала мисс Эмили. – Мари-Клод куда лучше меня справляется в таких ситуациях.

Не знаю, что заставило меня сказать то, что я сказала. Может быть, все дело было в том, что визит, я знала, подходил к концу; может быть, мне любопытно стало узнать, как все же относятся друг к другу мисс

Эмили и Мадам. Так или иначе, я, понизив голос и кивком показав на дверь, проговорила:

— Мадам никогда нас не любила. Она всегда нас боялась — как пауков и тому подобного.

Я готова была к тому, что мисс Эмили рассердится, — мне это было уже не особенно важно. Она и вправду резко повернулась ко мне, как будто я кинула в нее бумажный шарик, и глаза ее блеснули так, что мне вспомнилась она в хейлшемские годы. Но ее голос, когда она мне отвечала, был мягким и ровным:

— Мари-Клод отдала вам *всю себя*. Она трудилась, трудилась и трудилась. Не обманывайтесь на этот счет, дитя мое, — Мари-Клод на вашей стороне и всегда будет на вашей стороне. Боится ли она вас? Да мы *все* вас боимся. Мне самой в Хейлшеме почти каждый день приходилось сражаться с этим страхом. Иной раз я с таким отвращением смотрела на вас вниз из окна своего кабинета... — Она умолкла, но потом в глазах у нее опять что-то блеснуло. — Но я была полна решимости не поддаваться таким настроениям и делать то, что считала правильным. Я боролась с этими чувствами и победила. А теперь очень вас прошу, помогите мне выйти отсюда — Джордж меня ждет с костылями.

Поддерживая ее под локти с двух сторон, мы осторожно вывели ее в коридор, где крупный мужчина в медицинской униформе встрепенулся от неожиданности и мгновенно подставил под нее пару костылей.

Входная дверь была открыта, и меня удивило, что снаружи еще есть какой-никакой дневной свет. Голос Мадам доносился уже с улицы — она говорила с мужчинами теперь более спокойным тоном. Нам с Томми самое время, похоже, было выскользнуть и уйти, но этот Джордж принялся надевать пальто на мисс Эмили, которая стояла неподвижно, опираясь на костыли; протиснуться мимо возможности не было, и поэтому мы просто ждали. Кроме того, мы, видимо, хотели попрощаться с мисс Эмили и, может быть, хотя я не уверена, поблагодарить ее несмотря ни на что. Но ее внимание было полностью отдано шкафчику. Она стала говорить мужчинам, хлопотавшим снаружи, что-то важное и неотложное, а потом вышла в сопровождении Джорджа, не оглядываясь на нас.

Мы с Томми еще постояли немного в коридоре, не зная точно, как нам теперь быть. Когда наконец вышли, я увидела, что вдоль всей длинной улицы уже зажглись фонари, хотя небо еще было довольно светлое. Мотор белого грузового автомобиля, в который погрузили шкафчик, уже работал. Позади виднелся большой старый "вольво" с мисс Эмили на пассажирском сиденье. Мадам стояла рядом, наклонясь к окну, и кивала в ответ на какие-то указания мисс Эмили; Джордж тем временем закрыл багажник и пошел к водительскому месту. Потом белый автомобиль тронулся, и машина мисс Эмили покатила за ним.

Мадам смотрела вслед уезжающим довольно долго. Потом повернулась, чтобы идти обратно в дом, но, увидев нас на тротуаре, резко остановилась — чуть не отпрянула.

— Мы уходим, — сказала я. — Спасибо, что поговорили с нами. Передайте от нас, пожалуйста, мисс Эмили слова прощания.

В вечерних сумерках Мадам смотрела на меня изучающе. Потом промолвила:

— Кэти Ш. Я вас помню. Да, помню.

Она замолчала, но глаз не отвела.

— Мне кажется, я знаю, о чем вы сейчас думаете, — сказала я в конце концов. — По-моему, я догадалась.

— Что ж, отлично. — Ее голос стал задумчивым, взгляд затуманился. — Замечательно. Вы читаете мысли. Ну, так скажите мне.

— Вы думаете о том, что однажды, очень давно, увидели меня в спальне. Больше там никого не было, и я слушала эту кассету, эту музыку. Я танцевала с закрытыми глазами, и вы меня увидели.

— Замечательно. Вы настоящая телепатка. Вам бы на сцену. Я только сейчас вас узнала. Но я действительно помню этот случай. До сих пор иногда о нем размышляю.

— Я тоже. Надо же, как странно.

— Да.

На этом разговор мог бы и закончиться. Мы могли попрощаться и уйти. Но она подошла к нам ближе, все время глядя на мое лицо.

— Вы были намного младше, — сказала она. — Но это и правда были вы.

— Не отвечайте на мой вопрос, если не захотите, — сказала я. — Но я давно уже ломаю над этим голову. Можно я спрошу?

— Вы читаете мои мысли. Но я ваши читать не могу.

— Дело в том, что вы в тот день были... расстроены. Вы смотрели на меня, и когда я это почувствовала и открыла глаза, вы смотрели на меня и, по-моему, плакали. Даже не по-моему, а точно. Смотрели и плакали. Но почему?

Выражение лица Мадам не изменилось, и она по-прежнему разглядывала мое лицо.

— Я плакала потому, — сказала она наконец очень тихо, как будто боялась, что услышат соседи, — что, когда я вошла в домик, там звучала эта музыка. Я подумала было, что какая-то безалаберная воспитанница забыла выключить магнитофон. Но когда заглянула в спальню, я увидела вас, одну, совсем еще девочку, в танце. Глаза действительно закрыты, вся далеко-далеко, сплошное томление. Вы очень прочувствованно танцевали. И еще музыка, сама песня. Что-то такое было в этих словах. Очень много печали.

— Песня, — сказала я, — называется "Не отпускай меня".

И я вполголоса спела ей отрывок:

— *Не отпускай меня... О, детка, детка... Не отпускай меня...*

Она кивнула, словно соглашаясь.

— Да, та самая песня. Я слышала ее с тех пор раза два-три. По радио, по телевизору. И вспоминала девочку, которая танцевала одна.

— Вы говорите, что не умеете читать мысли, — сказала я. — Но мне кажется, в тот день вы их прочитали. И от этого, наверно, заплакали, когда меня увидели. Потому что, о чем бы эта песня ни была на самом деле, в уме у меня, когда я танцевала, была моя собственная версия. Я представила себе, что это о женщине, которой сказали, что она не может иметь детей. Но потом у нее все-таки родился ребенок, и она была очень этому рада, и крепко-крепко прижимала его к груди, потому что боялась, что из-за чего-нибудь они могут разлучиться, и повторяла: "О, детка, детка, не отпускай меня". Песня совсем о другом, но я вообразила себе в тот момент именно эту историю. Может быть, вы прочитали мои мысли и поэтому почувствовали такую грусть. Мне тогда, по-моему, очень уж грустно не было, но теперь я вспоминаю это с печалью.

Я говорила с Мадам, но остро ощущала присутствие Томми, стоявшего рядом со мной, фактуру его одежды, все в нем вообще. Потом Мадам сказала:

— Это очень интересно. Но мысли я все-таки читала тогда не лучше, чем сейчас. Я плакала по совсем другой причине. Глядя на ваш танец, я видела совершенно иную картину. Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный, да, более эффективный. Новые способы лечения старых болезней. Очень хорошо. Но мир при этом жесткий, безжалостный. И я видела девочку с зажмуренными глазами, прижимавшую к груди старый мир, более добрый, о котором она знала в глубине сердца, что он не может остаться, и она держала его, держала и просила не отпускать ее. Вот что я видела. Это не были в точности вы, не было в точности то, что вы делали, я это понимала. Но я смотрела на вас, и сердце обливалось кровью. Я навсегда это запомнила.

Она приблизилась к нам на расстояние шага или двух.

— То, что вы сказали нам сегодня, тоже тронуло меня. — Она перевела взгляд на Томми, потом опять на меня. — Несчастные создания. Я очень хотела бы вам помочь. Но вы теперь сами по себе.

Она протянула руку и, не переставая глядеть мне в глаза, прижала ладонь к моей щеке. Я почувствовала, что по всему ее телу прошла дрожь, но она не убирала руку, и в глазах у нее опять появились слезы.

— Несчастные создания, — повторила она почти шепотом. Потом повернулась и пошла в дом.

На обратном пути мы встречу с мисс Эмили и Мадам почти не обсуждали. Говорили только о второстепенном — о том, сколько им примерно лет, об обстановке их дома и тому подобном.

Дороги я выбирала самые глухие, какие знала, где темноту рассеивали только наши фары. Изредка попадались встречные фары, и тогда мне казалось, что это помощник вроде меня, который возвращается куда-то один или, может быть, со своим донором. Я понимала, конечно, что здесь ездят другие люди, но в тот вечер мне представлялось, что все темные второстепенные дороги страны существуют только для таких, как мы, тогда как для всех остальных — большие яркие автострады с громадными дорожными знаками и первоклассными кафе. Думает ли о чем-нибудь подобном Томми, я не знала. Может быть, он и думал, потому что в какой-то момент заметил:

— Чудны́е, однако, у тебя маршруты бывают, Кэт.

Говоря это, он усмехнулся, но потом опять впал в задумчивость. Немного погодя, когда мы ехали по особенно темной и глухой дороге, он сказал:

— По-моему, права была мисс Люси, а не мисс Эмили.

Не помню, ответила ли я ему. Если и ответила, то наверняка не сказала ничего особенно глубокого. Но именно в тот момент меня что-то смутно встревожило то ли в его голосе, то ли еще в чем-то. На секунду я отвела взгляд от извилистой дороги и посмотрела на него, но он просто тихо сидел, уставившись в темноту перед собой.

Через несколько минут он неожиданно сказал:

— Кэт, можешь остановиться? Прости, мне надо ненадолго выйти.

Я решила, что его опять укачивает, почти сразу же свернула на обочину и остановила машину вплотную к живой изгороди. Место было со-

вершенно неосвещенное, и даже со включенными фарами я боялась, что какая-нибудь машина, вылетев из-за поворота, врежется в нас. Поэтому, когда Томми вышел и исчез в темноте, я осталась за рулем. Вдобавок в том, как он выходил, чувствовалась какая-то целенаправленность, заставлявшая думать, что, если ему и нехорошо, он предпочитает справиться с этим один. В общем, я осталась в машине — сидела и размышляла, не проехать ли еще немного вверх по склону. И тут услышала первый вопль.

Вначале я даже не подумала, что это он: решила, что в кустах засел какой-то маньяк. Я уже выскочила из машины, когда раздался второй крик, за ним третий, и тогда я поняла, что это Томми, но беспокойства моего это почти не уменьшило. Я была, похоже, близка к панике: где Томми — непонятно, кругом тьма, а когда я попыталась двинуться в сторону криков, меня остановили непролазные кусты. Потом я все-таки отыскала проход, перепрыгнула канаву и наткнулась на забор. Кое-как перелезла и шлепнулась в мягкую грязь.

Теперь местность была видна куда лучше. Я стояла в поле, которое невдалеке от меня круто шло под гору — туда, где светились огни какой-то деревушки. Ветер дул здесь со страшной силой — один порыв налетел так, что мне пришлось схватиться за столб забора. Луна была довольно яркая, хотя и не полная, и примерно там, где начинался склон, я увидела фигуру Томми — он бесновался, кричал, махал кулаками, пинал воздух ногами.

Я побежала к нему, но туфли вязли в грязи. Ему грязь тоже мешала: выбросив в очередной раз ногу, он поскользнулся и упал, исчез в черноте. Но поток бессвязной ругани не прерывался, и я смогла добраться до Томми как раз в тот момент, когда он поднялся на ноги. На секунду луна осветила его лицо, вымазанное грязью и искаженное от ярости, потом я поймала его за руки, которыми он размахивал, и стала крепко их держать. Он пытался высвободиться, но я не ослабляла хватку, пока он не умолк, и мне не стало понятно, что бешенство из него выходит. Потом я почувствовала, что он тоже держит меня в объятиях. И так мы стояли на вершине этого поля, казалось, целую вечность, ничего не говоря, только держась друг за друга, а ветер все дул, и дул, и трепал нашу одежду, и на миг мне почудилось, что мы потому ухватились друг за друга, что иначе нас просто унесет этим ветром в темноту.

Когда мы наконец разъединились, он пробормотал:

— Прости меня ради бога, Кэт.

Потом слабо усмехнулся и добавил:

— Хорошо коров в этом поле нет. Вот перепугались бы.

Он, я видела, всеми силами старался уверить меня, что теперь с ним порядок, но его грудь еще ходила ходуном, ноги подкашивались. Держась друг за друга и стараясь не поскользнуться, мы побрели к машине.

— От тебя несет коровьим дерьмом, — сказала я наконец.

— О господи, Кэт. Как я это смогу объяснить? Нам придется просачиваться с заднего хода.

— Все равно тебе надо будет отметиться.

— О господи, — повторил он и опять усмехнулся.

Я нашла в машине тряпки, и мы кое-как обтерлись. В поисках тряпок я вынула из багажника сумку с его рисунками, и когда мы опять поехали, я заметила, что Томми взял ее с собой в салон.

Какое-то время мы почти не разговаривали, сумка лежала у него на коленях. Я ожидала, что он выскажется как-нибудь о своих тетрадках, не исключала даже, что он заводит себя для нового приступа и тогда сумка с рисунками полетит в окно. Но нет – он бережно держал ее обеими руками и не сводил глаз с темной дороги, бежавшей нам под колеса. После долгого молчания он сказал:

– Кэт, я очень жалею, что так себя повел. Правда, Кэт. Я полный идиот.

Потом спросил:

– О чем ты думаешь, Кэт?

– Я думала о том, – ответила я, – как тогда в Хейлшеме ты психовал вроде теперешнего и мы не могли понять почему. Не могли понять, как можно дойти до такого состояния. А теперь вот мне пришла в голову мысль – просто предположение, не больше. Может быть, ты бесился потому, что в глубине души всегда *знал*.

Томми поразмыслил об этом, потом покачал головой.

– Нет, Кэт, напрасно ты так думаешь. Нет, это всегда было только мое, мой идиотизм в чистом виде. Больше ничего.

Потом, чуть погодя, он усмехнулся:

– Хотя идея забавная. Может, я и правда знал – как-то чуял. Что-то, чего вы, остальные, не знали.

Глава двадцать третья

Примерно неделю после этой поездки все у нас шло по-прежнему. Но я тем не менее ожидала перемен, и не напрасно: к началу октября кое-какие мелочи стали заметны. Во-первых, Томми хоть и продолжал рисовать своих животных, теперь избегал заниматься этим при мне. Не то чтобы мы совсем вернулись туда, где были первое время моей работы его помощницей, когда над нами еще висели события в Коттеджах. Но похоже было, что он подумал и решил так: рисовать, когда есть настроение, он будет и дальше, но если войду я – прекращать и убирать тетрадку. Я не была этим очень обижена. В чем-то, пожалуй, даже стало проще: эти существа, глядя на нас, когда мы вместе, только добавляли бы проблем.

Но были и другие перемены, не настолько для меня легкие. Не поймите меня так, что нам никогда больше не было хорошо вдвоем у него в палате. Мы даже сексом порой занимались. Но трудно было не заметить, что у Томми нарастает склонность отождествлять себя с другими донорами центра. Если, к примеру, мы с ним вспоминали слова или поступки какого-нибудь хейлшемского однокашника, он раньше или позже переводил разговор на того или иного своего нынешнего приятеля-донора, который проявил себя похожим образом. Особенно на меня подействовал один мой приезд в Кингсфилд после долгой дороги. Я вышла из машины на Площади, и все здесь выглядело примерно так же, как в тот день, когда я и Рут заехали сюда за Томми, чтобы вместе отправиться к лодке. Стоял хмурый осенний день, и кругом не было никого, кроме кучки доноров под навесом корпуса отдыха. Среди них я увидела Томми. Он стоял, прислонясь плечом к столбу, рядом на ступеньке, сутулясь, сидел другой донор и что-то рассказывал. Я приблизилась немного, потом остановилась и стала ждать под серым открытым небом. Но Томми, хоть и увидел меня, продолжал слушать приятеля, и под конец

он и все остальные разразились смехом. И даже после этого он слушал дальше и улыбался. Он говорил потом, что подозвал меня жестом, – но если такое и было, жест не бросался в глаза. Я увидела только, что Томми рассеянно мне улыбнулся, а потом опять переключил все внимание на рассказ донора. Понятно, что я застала его посреди разговора, и минутку спустя он, конечно, подошел ко мне и мы поднялись в его палату. Но это очень сильно отличалось от того, как бывало у нас раньше. И дело даже не только в том, что он заставил меня ждать на Площади. Одно это я бы куда легче перенесла. Важнее другое: впервые в тот день я почувствовала в нем какое-то нежелание со мной идти, да и потом в палате особого тепла между нами тоже не было.

Во многом, если честно, этот холодок мог быть связан и со мной, с моим состоянием. Потому что, стоя там и глядя, как они разговаривают и смеются, я вдруг ощутила неприятный внутренний толчок: что-то в том, как эти доноры расположились полукругом, что-то в их позах, почти нарочито расслабленных, сидели они или стояли, в том, как они словно бы демонстрировали всему миру, что получают от общения друг с другом массу удовольствия, напомнило мне, как посиживала в хейлшемском павильоне наша маленькая компания. Это сходство, повторяю, было мне неприятно, и я допускаю поэтому, что в тот день в палате у Томми с моей стороны затаенной обиды было не меньше, чем с его.

Такой же укол обиды я чувствовала всякий раз, когда он говорил мне, что я чего-то не понимаю, потому что я еще не донор. Но если не считать одного разговора, который я совсем скоро приведу, подобные уколы не были очень уж болезненными. Обычно он произносил такие вещи полушутя, почти нежно. И даже если возникало что-нибудь посерьезнее, как в тот раз, когда он сказал, чтобы я не носила больше его грязное белье в прачечную, потому что он может делать это сам, ссоры не получалось. Я тогда спросила его:

– Какая разница, кто из нас таскает это белье? Мне так и так идти мимо.

Но он покачал головой:

– Нет, Кэт, давай я уж сам буду за свое отвечать. Была бы ты донором – поняла бы.

Меня задело, конечно, – и все же пережить это я смогла довольно легко. Но был у нас, как я сказала, один разговор, от которого мне стало по-настоящему больно.

Он случился примерно через неделю после того, как Томми пришло извещение о четвертой выемке. Неожиданностью оно для нас не стало, мы обсуждали предстоящее уже много раз. Скажу даже, что самые задушевные беседы, какие у нас были после поездки в Литлгемптон, касались именно четвертой выемки. Реакция доноров на извещение о четвертой бывает самая разная. Некоторые говорят об этом и говорят, бесконечно и бестолково. Другие ограничиваются шуточками, третьи вообще не желают затрагивать эту тему. И есть у доноров странная склонность видеть в четвертой выемке повод для поздравлений. К донору, который "идет на четвертую", пусть даже он и не вызывал раньше больших симпатий, относятся с особым уважением. Не остаются в стороне даже врачи и сестры: когда донор, которого готовят к четвертой, приходит на обследование, медики встречают его улыбками, жмут ему руку. Что касается нас с Томми, мы говорили обо всем – иногда шутливо, иногда серьезно и обстоятельно. Сравнивали всевозможные подходы доноров к этому событию – что

разумно, что не очень. Однажды, когда мы лежали рядом в вечерних сумерках, он сказал:

— Знаешь, Кэт, почему все так беспокоятся из-за четвертой? Потому что не уверены, что действительно завершат. Если знать наверняка, было бы легче. Но они никогда точно не скажут.

Вообще-то я довольно давно ожидала такого поворота и думала, как отвечу. Но вот он заговорил об этом — и мне мало что пришло на ум. Я сказала только:

— Все это чепуха, Томми. Болтовня, пустая болтовня. Лучше выброс это из головы.

Но Томми, я думаю, знал, что мне нечем подкрепить свои слова и что четкого ответа на вопрос, который он поставил, нет даже у врачей. Вы, наверно, тоже слышали эти разговоры: что после четвертой выемки, даже если ты завершил в техническом смысле, какой-то элемент сознания в тебе, может быть, все равно сохраняется, и там, по другую сторону черты, — новые выемки, одна за одной, множество, но никаких уже помощников, реабилитационных центров, приятелей, и тебе только и остается, что смотреть на эти выемки до конца, до полного отключения. В общем, какой-то фильм ужасов, и большую часть времени медики, помощники, да и доноры обычно тоже, отгоняют подобные мысли. Но порой какой-нибудь донор все же начинает об этом, как Томми тем вечером, и я жалею сейчас, что мы не поговорили как следует. Я объявила это чепухой, и мы оба отступили от неприятной темы, но хотя бы я знала теперь, что у Томми есть такие тревоги, и была рада, что он пусть в малой мере, но поделился ими со мной. Как бы то ни было, я считала, что мы вдвоем справляемся с подготовкой к выемке в целом неплохо, и потому-то на меня так сильно подействовал разговор, который он завел, когда мы гуляли по "полю".

Что касается территории, кингсфилдский центр выглядит, надо сказать, довольно бледно. Очевидным местом встреч служит Площадь, а те несколько участков, что имеются позади корпусов, похожи на пустыри. Самый большой из них, который доноры называют "полем", — это заросший высокой травой и чертополохом прямоугольник, огороженный проволочной сеткой. Много было разговоров о том, чтобы превратить его в нормальную прогулочную лужайку для доноров, но этого не сделали даже и по сию пору. Правда, из-за большого шоссе, которое проходит рядом, лужайка, если бы ее разбили, все равно вряд ли была бы таким уж умиротворяющим местом. Так или иначе, доноры, когда им не по себе и надо походить, чтобы успокоиться, идут чаще всего именно на "поле", где продираются через гущу крапивы и куманики. Утро, о котором я хочу рассказать, было очень туманное, и я знала, что "поле" все пропитано влагой, но Томми настойчиво звал меня туда пройтись. Неудивительно, что мы оказались там одни, но это-то, вероятно, ему и нужно было. Побродив несколько минут по зарослям, он встал у забора и устремил взгляд в пустой туман по ту сторону. Потом сказал:

— Кэт, пожалуйста, пойми меня правильно. Я очень много об этом думал, и выходит так, что мне нужен другой помощник.

Нескольких секунд мне хватило, чтобы понять: я вовсе не удивлена, я каким-то странным образом этого ожидала. Тем не менее я была рассержена и ничего ему не ответила.

— Не только из-за того, что скоро у меня четвертая выемка, — продолжал он. — Не только из-за этого. Еще и из-за таких вещей, как на прошлой неделе. Когда пошли все эти неприятности с почками. Потом такого будет еще намного больше.

— Потому-то я и разыскала тебя. Потому-то и стала тебе помогать. Как раз из-за всего, что сейчас начинается. И не забывай, что этого хотела Рут.

— Рут другого для нас хотела, — возразил Томми. — Очень может быть, она была бы недовольна, что ты мне помогаешь на этом последнем отрезке.

— Томми, — сказала я ровным, негромким голосом — хотя, насколько помню, уже была в ярости. — Помогать тебе должна я. Именно я. Вот почему я тебя разыскала.

— Рут не этого для нас хотела, — повторил Томми. — Сейчас совсем другая история. Нет, Кэт, таким тебе меня видеть не надо.

Он смотрел в это время вниз, опершись ладонью о сетку забора, и, когда замолчал, могло показаться, что он внимательно слушает шум транспорта где-то за пеленой тумана. Вот тогда-то он и сказал это, слегка покачав головой:

— Рут меня поняла бы. Она была донором, она бы поняла. Я не о том говорю, что она для себя обязательно пожелала бы такой смены помощников. Обернись у нее все иначе — может, она до конца только твою помощь и хотела бы принимать. Но меня она поняла бы — то, что я хочу устроить это по-другому. Кэт, ты иногда каких-то вещей просто не видишь. Не видишь, потому что не донор.

Услышав такое, я повернулась и ушла. Как я уже сказала, я почти готова была к тому, что он захочет отказаться от моей помощи. Но от чего мне действительно стало больно — после всех этих мелких уколов, после того, как он заставил меня ждать на Площади, и тому подобного — это от последних его слов, которыми он отделил меня еще раз, теперь уже не от себя и других доноров вообще, а от себя и Рут.

В крупную ссору это, однако, не переросло. Уйдя с "поля", я только и могла, что вернуться в его палату, куда и он поднялся несколько минут спустя. Я к тому времени уже пришла в норму, он тоже, и мы смогли теперь поговорить обо всем более или менее спокойно. Дело уладили миром, правда прохладным, и даже обсудили немножко смену помощников с практической стороны. Потом, когда мы в тусклом свете сидели бок о бок на краешке его кровати, он сказал мне:

— Кэт, давай только не будем цапаться по новой. Но мне очень хочется тебя кое о чем спросить. Ты не устала быть помощницей? Ведь нас всех, кроме тебя, перевели в доноры бог знает как давно. Сколько лет ты уже этим занимаешься? Не возникает у тебя желание поскорей получить извещение о выемке?

Я пожала плечами.

— Я не против. Но ведь важно, чтобы у доноров были хорошие помощники. А я считаю себя неплохой помощницей.

— А так ли уж это важно? Я не спорю, приятно, когда помощник у тебя хороший. Но в конечном счете — какая разница? От донора все равно возьмут то, что можно взять, а потом он завершит.

— Разумеется, важно. От помощника очень сильно зависит, какая у донора будет жизнь.

— Но все эти твои разъезды, вечная спешка. Выматываешься, приезжаешь еле живая. Я же вижу. Ведь сколько сил это требует! Наверняка, Кэт, тебе хочется иногда, чтобы они позволили тебе поставить точку. Не понимаю, почему ты с ними не поговоришь, не спросишь их, почему это тянется так долго.

Я молчала, и тогда он сказал:

— Кэт, не бери в голову, это я так просто. Давай не будем больше ссориться.

Я положила голову ему на плечо.

— Хорошо, хорошо, не будем. Может быть, мне так и так уже мало осталось. Но пока что надо продолжать. Пусть ты не хочешь видеть меня около себя, есть другие, которые хотят.

— Да, наверно, ты права, Кэт. Помощница ты действительно очень хорошая. И мне подходила бы на все сто, если бы ты не была ты. — Он усмехнулся и обнял меня одной рукой, по-прежнему сидя со мной бок о бок. Потом сказал: — Мне все чудится река, течение быстрое-быстрое. И двое в воде, ухватились друг за друга, держатся изо всех сил, не хотят отпускать — но в конце концов приходится, такое там течение. Их растаскивает, и все. Так вот и мы с тобой. Жалко, Кэт, ведь мы любили друг друга всю жизнь. Но получается, что до последнего быть вместе не можем.

Тут я вспомнила, как ухватилась за него вечером в поле на жестоком ветру, когда мы возвращались из Литлгемптона. Не знаю, думал ли он об этом тоже, или у него все еще была на уме стремительная река. Как бы то ни было, мы долго еще так сидели на краю кровати, погруженные в свои мысли. Наконец я сказала ему:

— Прости, что взъелась на тебя там внизу. Я с ними поговорю. Постараюсь, чтобы тебе дали кого-нибудь из лучших.

— Жалко, Кэт, — повторил он. И больше мы в то утро, по-моему, об этом не говорили.

Дальнейшие несколько недель, последние перед тем как новый помощник приступил к работе, были, помнится, на удивление безмятежными. Может быть, мы с Томми нарочно старались проявлять друг к другу побольше доброты — так или иначе, время текло у нас едва ли не в полной беззаботности. Кому-то, наверно, наше тогдашнее состояние покажется немножко нереальным, но мы в те дни ничего странного в нем не видели. Мне приходилось делить внимание между Томми и двумя другими донорами в Северном Уэльсе, и на Кингсфилд времени оставалось меньше, чем хотелось бы, но три-четыре раза в неделю все же удавалось приезжать. Становилось холодней, но по-прежнему было сухо и часто солнечно, и мы проводили часы в его палате, иногда занимались сексом, чаще просто разговаривали или я читала ему вслух. Пару раз Томми даже доставал тетрадку и, слушая мое чтение, зарисовывал какие-то новые идеи для своих животных.

Наконец я приехала однажды, и этот визит был последним. Декабрьским днем, в прохладную бодрящую погоду, я вошла в корпус в начале второго. Поднимаясь к нему, краем сознания ожидала какой-то перемены — сама не знаю чего. Может быть, думала, что он украсит к моему приходу палату, что-нибудь в таком роде. Но все, разумеется, было по-прежнему — к моему облегчению, пожалуй. Томми тоже выглядел как обычно, но, когда мы начали беседовать, трудно было делать вид, что это просто очередное посещение. С другой стороны, мы так много о чем перегово-

рили за прошлые недели, что казалось – ничего особенно важного, что надо было бы обсудить, уже и нет. И нам не хотелось к тому же затевать никакого серьезного разговора, чтобы не жалеть потом, что не смогли толком его закончить. Поэтому из всего, что было в тот день между нами сказано, многое, пожалуй, чуть-чуть отдавало легковесностью.

В какой-то момент, впрочем, побродив по палате туда-сюда, я спросила его:

– Томми, ты рад или нет, что Рут завершила раньше, чем выяснилось то, что выяснилось?

Он лежал на кровати и продолжал какое-то время глядеть в потолок, потом сказал:

– Странно – ведь я на днях думал про то же самое. О Рут что́ надо понимать: что она всегда отличалась от нас в таких вещах. Мы с тобой с самого начала, даже в детстве, вечно пытались до чего-то дойти, до какой-то правды. Помнишь, Кэт, все эти наши секретные совещания? Но Рут – она была другая. Ей все время верить хотелось, так она была устроена. Поэтому – да, это, я считаю, к лучшему.

Потом он добавил:

– Насчет Рут все это, конечно, ничего не меняет – то, что мы узнали, мисс Эмили и прочие дела. Она хотела для нас под конец самого хорошего. Она действительно хотела нам добра.

У меня в ту минуту не было желания начинать большой разговор про Рут, поэтому я согласилась с ним, и все. Но сейчас, когда у меня было время подумать, я не могу сказать вполне определенно, что я в связи с этим чувствую. Отчасти мне все-таки хотелось бы, чтобы мы каким-нибудь образом смогли поделиться с ней всем, что нам стало известно. Да, наверно, она огорчилась бы – ведь получается, что вред, который она нам нанесла, нельзя было исправить так легко, как она надеялась. И может быть, если уж совсем начистоту, какую-то малую роль в моем желании, чтобы она, прежде чем завершить, все узнала, это играет. Но в гораздо большей степени, я думаю, тут все же другое – не мстительность моя, не досада. Потому что, как сказал Томми, она хотела для нас под конец самого лучшего, и хотя она заявила в тот день в машине, что я никогда ее не прощу, тут она ошиблась. Злости у меня на нее сейчас уже нет, и если мне в какой-то мере жаль, что она не успела узнать всего, причина скорее в том, что в самом конце она оказалась отделена от меня и Томми. Получилась как бы черта – по одну сторону мы, по другую Рут, и в последнем счете мне печально именно поэтому; она, я думаю, испытывала бы такую же печаль, если бы могла.

Из прощания мы с Томми в тот день ничего особенного устраивать не стали. Когда пришло время, он спустился со мной вниз, чего обычно не делал, и мы двинулись вместе через Площадь к моей машине. Дни были короткие, и солнце уже садилось за здания. Под навесом, как обычно, виднелось несколько смутных фигур, но сама Площадь была пуста. Томми всю дорогу к машине молчал, потом усмехнулся и сказал:

– Кэт, я тут вспомнил, как в Хейлшеме играл в футбол. У меня секрет один был. Когда я забивал гол, я поворачивался вот так – он триумфально вскинул руки – и бежал к своим. Никогда не бесился от восторга, ничего такого, просто бежал с поднятыми руками. – Он подержал руки в воздухе еще несколько секунд, потом опустил и улыбнулся. – И знаешь, Кэт, когда я бежал обратно, я всегда воображал, что шлепаю по воде. Не по глубокой, а так, до щиколоток самое большее. Каждый раз

представлял себе такое. Шлеп, шлеп, шлеп. — Он опять вскинул руки. — Здорово было. Забил, повернулся и — шлеп, шлеп, шлеп. — Он посмотрел на меня и усмехнулся еще раз. — Все эти годы я никому не говорил.

Я тоже засмеялась и сказала:

— Дурачок ты, Томми.

После этого мы поцеловались коротким поцелуем, и я села в машину. Томми, пока я разворачивалась, стоял на месте. Потом, когда я стала удаляться, он улыбнулся и помахал. Я видела его в зеркальце — он стоял там почти до самого конца. Напоследок он неопределенно махнул рукой еще раз и повернулся к навесу. Потом Площадь ушла из зеркальца.

Один мой донор, с которым я говорила несколько дней назад, жаловался, что воспоминания, даже самые дорогие, тускнеют у него удивительно быстро. Но у меня не так: воспоминания, которые я ценю больше всего, остаются такими же яркими, какими были. Я потеряла Рут, потом Томми, но воспоминания о них сохраню.

Хейлшем, судя по всему, я тоже потеряла. Иной раз по-прежнему можно услышать, как тот или иной наш воспитанник пытался его найти — точнее, не его, а место, где он был раньше. И порой доходят слухи о том, во что Хейлшем превратился к нынешнему дню — в отель, в школу, в развалины. Я лично, хоть и много разъезжаю, никогда не пыталась его отыскать. Особого желания его увидеть, чем бы он сейчас ни стал, у меня нет.

Впрочем, хотя на поиски Хейлшема я ни разу не отправлялась, иногда в пути мне вдруг кажется, что я вижу какую-то его часть. Замечаю вдалеке спортивный павильон — и уверена, что это наш. Или ряд тополей и большой раскидистый дуб на горизонте — и секунду-другую я убеждена, что приближаюсь к южному игровому полю с дальней стороны. Однажды серебристым утром на длинном участке дороги в Глостершире я проехала мимо разбитой машины на обочине, и полное впечатление было, что девушка, стоящая перед ней и глядящая пустыми глазами на проезжающий транспорт, — это хейлшемская Сузанна С., она была на два года старше нас и дежурила на Распродажах. Такое случается со мной, когда я меньше всего этого жду — еду себе, и на уме у меня совсем другое. Так что, может быть, подспудно я все-таки ищу Хейлшем.

Но, повторяю, специально я не езжу никуда, чтобы его найти, и в любом случае с конца года я уже не буду так повсюду мотаться. Вероятность, что я увижу Хейлшем, поэтому крайне мала, и если поразмыслить, может быть, оно и к лучшему. С Хейлшемом то же самое, что с моими воспоминаниями о Томми и Рут. Когда у меня настанет более тихая жизнь в том центре, куда меня пошлют, Хейлшем будет там со мной, надежно спрятанный у меня в голове, и отнять его у меня никто не сможет.

Только однажды, недели через две после того как я узнала, что Томми завершил, я разрешила себе вольность: поехала в Норфолк, хотя никаких дел у меня там не было. Я отправилась туда без всякой определенной цели и даже не добралась до побережья. Может быть, мне просто захотелось посмотреть на эти плоские пустые поля и громадное серое небо. В какой-то момент я обнаружила, что еду по дороге, на которой никогда не была, и примерно полчаса я не знала, где нахожусь, и не желала знать. Одно за другим тянулись плоские поля без всяких примет и практически одинаковые — разве что кое-где выпорхнет из борозды, услыхав шум моего мотора, стайка птиц. Наконец я увидела впереди, по-

чти у самой обочины, несколько деревьев и, поравнявшись с ними, остановилась и вышла.

От дороги вдаль простиралась обширная пашня. Меня отделял от нее забор из двух ниток колючей проволоки, и я видела, что этот забор да три-четыре дерева надо мной – единственные препятствия для ветра на мили вокруг. По всей длине забора, особенно вдоль нижней проволоки, застрял всевозможный летучий мусор. Похоже было на обломки, которые волны выбрасывают на морской берег; ветер, видимо, гнал все это очень долго, пока на пути не встретились эти деревья и две нитки проволоки. Наверху, в ветвях деревьев, тоже хлопали на ветру куски пластиковой пленки и обрывки пакетов. Первый и последний раз тогда, стоя там и глядя на весь этот посторонний мусор, чувствуя ветер, пролетающий над пустыми полями, я начала немножко фантазировать, потому что это все-таки был Норфолк и только две недели прошло с тех пор, как я потеряла Томми. Я думала про мусор, про хлопающие пакеты на ветках, про "береговую линию" из всякой всячины, застрявшей в колючей проволоке, и, прикрыв глаза, представила себе, что сюда выброшено все потерянное мной начиная с детства и теперь я стою как раз там, где нужно, и если терпеливо подождать, то на горизонте над полем появится крохотная фигурка, начнет постепенно расти, пока не окажется, что это Томми, и тогда он помашет мне, может быть, даже прокричит что-нибудь. Дальше фантазия не пошла, потому что я ей не позволила, и хотя по моим щекам катились слезы, я не рыдала и, в общем, держала себя в руках. Просто постояла еще немного, потом повернулась к машине и села за руль, чтобы ехать туда, где мне положено быть.

Марко Аугусто Кироа

Рассказы из сборника "Малая седмица"

Перевод с испанского и вступление Юрия Гирина

Имя Марко Аугусто Кироа (1937—2004) неизвестно в нашей стране. Это явная несправедливость и по отношению к гватемальскому писателю, и по отношению к русскому читателю. Возможно, что Кироа в своем творчестве не столь колоритен и экзотичен (обязательное ли это качество для искусства?), как большинство его сотоварищей по перу, составивших всемирно известную плеяду эпохи так называемого латиноамериканского бума. Меняются времена, меняются ценности, и сегодня в Латинской Америке Кироа признан одним из крупнейших мастеров гватемальской культуры XX века. Его перу принадлежат сборники рассказов "Малая седмица" (1984), "Старый кот" (1990), "О том, как написать рассказ, и другие рассказы" (1996), "Донья Анаконда и другие животные" (1998). Книги "Пласа Майор" (1990) и "Мокрый и сухая" (1994) были отмечены самой престижной в стране премией Карлоса Новельи. В маленькой Гватемале, все население которой меньше населения Москвы, Кироа был и остается очень крупной фигурой. Достаточно сказать, что в 2004 году в связи с кончиной М. А. Кироа — не только художника, но и депутата Национального конгресса — в стране был объявлен трехдневный траур.

Художник, писатель, журналист, политик, он родился в 1937 году в местечке Чикакао департамента Сучитепекес. Место рождения определило не только этническую принадлежность Кироа, но и склад его художественного мышления, его поэтику, равно ощутимую и в его живописи, и в рисунках, и в словесном творче-

© Marco Augusto Quiroa, 1994
Рисунки Марко Аугусто Кироа.
© Юрий Гирин. Перевод, вступление, 2006
Редакция благодарна автору за любезно предоставленное право безвозмездной публикации его рассказов на страницах журнала.

стве. Блестящий мастер "малой прозы", Кироа являлся к тому же прекрасным рисовальщиком, выпускавшим свои книги в собственном оформлении, что сообщает им некоторый оттенок лубочности, свойственной и языковой фактуре этих книг. Стиль Кироа-писателя сродни его стилю рисовальщика и живописца: сухой, лаконичный и в то же время экспрессивный, ярко эмоциональный, исполненный суровой нежности; это нарочито наивное письмо, воспроизводящее самую суть народного бытия в его мнимопростодушном выражении.

Игровое начало, горький юмор окрашивают практически все творчество писателя, неотрывно связанное с течением провинциальной жизни гватемальских деревень и городишек, которую он воспроизводит в своих предельно сжатых миниатюрах. Рассказы Кироа созданы в русле сказовой традиции; с фольклором их роднит притчевость, а индивидуальное авторское начало проявляется в сарказме и несколько остраненном ракурсе.

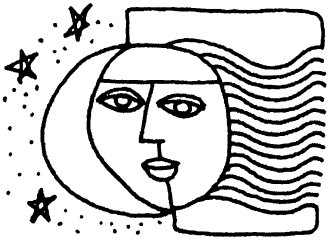
Что же, однако, поднимает его творчество, бытописующее повседневность гватемальской глубинки, над, казалось бы, неизбежной приземленностью, узостью ви́дения? Вероятно, в первую очередь здесь срабатывает непременно для всякого настоящего искусства условие — способность художника "увидеть небо в чашечке цветка", по выражению У. Блейка. Вот почему индейские прибаутки гватемальца Кироа оказываются исполненными вселенских смыслов, они легко совмещают деревенскую обыденность с библейскими сюжетами, порождая новое художественное качество.

Сборник рассказов "Малая седмица", получивший премию "Золотой кетцаль" как лучшая книга года, парафразирует традицию "Великой седмицы", то есть Страстной недели. Кироа выворачивает наизнанку религиозный канон, насыщая его насмешничеством над вековечными сюжетами. Прием приземления высоких сюжетов, сопровождаемый языковым снижением вплоть до обширного введения локализмов и жаргонизмов, оборачивается универсализацией смыслов, соотносимостью вечного и преходящего. Каждый из микротекстов, обыгрывающих то универсальные мифы, то народные побасенки, то литературную классику, но в любом случае нечто освященное традицией, канонически безусловное, Кироа предваряет тонко прорисованным образом, чаще всего портретом, с лубочной непосредственностью иллюстрирующим сюжет.

"Я написал эти рассказы, — признавался Кироа, — для того, чтобы они разбрелись по белу свету сами по себе, не нуждаясь в отцовской опеке. Как только они у меня народились, я выгнал их на улицу — пусть сумеют сами за себя постоять, пусть несут свою правду, какой бы она ни была. И если однажды эти страницы вернутся ко мне, я хотел бы увидеть их грязными и затасканными, с замусоленными краями и загнутыми углами, протертыми до дыр тысячами читавших их глаз".

Теперь с рассказами из книги "Малая седмица" могут познакомиться и российские читатели.

Понедельник



Вавилонский ковчег

Понедельник, когда шел дождь

СКАЗАНО в Писании: "Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями" (Быт. 6:11). И здесь и там. В Содоме и Гоморре. В Нью-Йорке, в Мехико, в Париже, в Паначеле и в Сан-Мигель-Успантане.

И поскольку убоялись люди нового потопа, решили они построить ковчег длиною в триста тысяч метров, шириною в пятьдесят тысяч метров и высотою в тридцать тысяч метров. Один принес доску, другой – гвоздь, третий – молоток. Иоанн набросал общий вид ковчега, а Петр принес смолу для заделки щелей. Кто-то притащил дверь и пару окон. Подошла девушка в зеленом свитере с зеркальцем, горшком герани и попугаем в руках. Дети разбили свои копилки и принесли медные грошики. Пришла гулящая девица со своей подстилкой, черным кружевным исподним и косметичкой и тут же поставила палатку. Они были первыми.

Потом прибыли техники, архитекторы, морские инженеры с рулонами чертежей, карандашами, линейками, циркулями и расчертили все, как положено, куда что: провиантские погреба, каюты, якорные цепи, гальюны, все проходы, ходы и выходы, подъемники грузовые и пассажирские, сигнальные флаги и огни, погребки, санчасть, отделение Красного Креста, рукава и огнетушители на случай возгорания, турбины, вентиляционные люки, газетные киоски, ломбарды, кинотеатры и солярии, катки и бильярдные.

Все, как положено, на своем месте, продуманно и функционально.

Потом нахлынула толпа. Полчища доброхотов со всех краев земли со своими духовными пастырями, вождями народов, пожизненными диктаторами, демократически избранными президентами и просто людьми доброй воли, надежно связанными, дабы предупредить возможность бегств и дезертирств.

И явились депутаты с речами, разогревшими энтузиазм народных масс, и пришли политики с мешками обещаний насчет того, что уже в недалеком будущем появятся ковчеги улучшенной конструкции, более эргономичные и малозатратные, и окна скоро станут больше, и двери выше. А самый смелый из докладчиков, сорвавший бурю аплодисментов (нескончаемые овации и здравицы, долетавшие до небес, убыстрили движение облаков), пообещал, что во время своего правления он не допустит никаких новых потопов и что всякий бурный ливень будет рассматриваться как вредитель, враг народа и чуждый элемент, продавшийся иностранным державам.

И пришли солдаты, гвардейцы, жандармы, полицейские и прочие "блюстители порядка" всех мастей и оттенков. И службу свою они несли как положено, сидючи в холодке да попыхивая едким дымом, сквозь который они наблюдали за истекавшим по́том рабочим людом, да перекидываясь в картишки, хотя следить надлежало не за порядком, а за теми беспорядками, что вспыхивали по заходу солнца на танцульках, в кабаках, в азартном вихре лотерей, игорных столов и веселых домов, пока блюстители вовсю храпели.

Куда ни глянь, раскинулись трактиры да харчевни, китаец открыл лавку, набитую шелками да безделушками, прибыл и бродячий торговец с полусонным удавом вокруг шеи и набором снадобий против немочи и хвори, а также для отбеливания зубов, завивания волос, а кроме того, для поправки дел по части первородного греха, ибо настойка сока папоротника с хвостом гремучей змеи обладала чудесным свойством возвращения сил.

И конечно, прибыл цирк для развлечения работников, а заодно и помощи в строительстве: гимнасты нашли себе дело на верхотуре, выполняя самые опасные работы; женщина-гигант стала управлять слонами, перетаскивавшими опорные балки, столбы и колонны, правда, в возмещение трудов она потребовала себе двойную каюту с вогнутым зеркалом, которое стройнило фигуру. Братья Валенда[1], исполнявшие акробатические трюки, вставали друг на друга, когда надо было в труднодоступных местах вставить штырь, закрепить гайку или ввинтить шуруп. Лилипуты тянули тросы и провода в узких желобах между водопроводными и канализационными трубами.

Ковчег кишел, как муравейник. Кто в охотку, кто силком — всяк трудился, всяк сгодился. Разный там был народец: меж добросовестных трудяг, старавшихся как можно лучше делать свое дело, болтались бездельники, руки в брюки; торговцы марихуаной мило беседовали с держателями подпольных лотерей, сулившими выигрыш наличными и натурой.

По мере того как ковчег строился, балка за балкой, гвоздь за гвоздем, росли и перепалки из-за каждой палки. Сперва были красные юшки, потом засверкали ножи. Шумными развеселыми ночами, пылающими похотью и злобой, в прах разлетались жизни, состояния и девства.

Был ужесточен режим работы, установлены посменные дежурства, отменен воскресный отдых; рабочие почище переключали рукояти, кто почернее, смазывал зубчатки; кто помоложе, те гурьбою подбивали стойки; мужчины пробивали двери, простолюдинки прикрывали окна.

1. Братья Валенда — известная труппа цирковых акробатов, выступавших в США в 30–70-е гг. XX в. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Так, в трудном соработничестве, подвигаемый всеобщей верой взрастал ковчег.

Но вот однажды в понедельник все небо обложило облаками, от края и до края. С утра заморосил невидный дождик, едва прибивший пыль. В обед зарядило сильнее, а к ночи разразился ливень. И в полночь "разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились" (Быт. 7:11). Вот тут и наступил караул и спасайся кто может. Но не утонули нечестивые и не спаслись праведники. Спаслись только те, кто умел плавать.

А остальные нет.

Ноева башня

Понедельник, когда дождя не было

"И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями..." (Быт. 6:13 и далее). Ной, который по причине своего пьянства, немощи и тугоухости, естественных для его шестисот годов, не разобрал толком данные ему инструкции, приступил к делу.

Он не был вполне уверен, что́ именно велел строить Господь – ковчег или башню, – но он отчетливо слышал, ибо в тот момент ветер понес слова в его сторону, что было сказано насчет животных: от всякой плоти по паре.

Касательно ковчега или башни размышлял он, с большим тщанием смакуя лучшее вино собственного урожая из трех пузатых мехов. В конце концов он принял первое соломоново решение: орел или решка. А за неимением монеты обошелся плоским камешком. Выпала башня.

И закипела работа.

В основание поставил он мамонтов, динозавров и гигантских черепах, а также бронтозавров, ленивцев и птеродактилей. И взял он каждой плоти по паре, мужеского пола и женского. Животных мифологических и всяких иных. Единорогов, кентавров, пегасов, медуз... Исключил только тех, кто уж явно был навеян алкогольными парами или оказывался порождением рассудка, немало поврежденного продолжительными и постоянными возлияниями. При этом он дотошно, по пунктам, строчкам, точкам и запятым придерживался учебника зоологии для средней школы второй ступени пера Орестеса Сендреро[1].

1. Орестес Сендреро – известный испанский натуралист начала XX в., специалист в области орнитологии.

Он разделил, подразделил и отделил всех позвоночных и беспозвоночных, млекопитающих и яйцекладущих, змей и мышей, лягушек и рептилий. Стакан за стаканом он систематизировал весь животный мир, вид за видом, род за родом, семейство за семейством. В одну сторону — моллюски: улитки, устрицы, кальмары; туда же — тьма ракообразных: креветки, раки, омары, водяные блохи. В другую — жвачные вместе с грызунами и паукообразными, жесткокрылыми и рукокрылыми.

На фоне непомерной китовьей синевы скромно посверкивает чешуйчатость сардины; куница, норка, горностай, одетые в меха перворазрядной проститутки, соседствуют с непробиваемой кольчугой броненосца.

Одесную ступает зебра в арестантской робе; над зайцем с черепахой, будущими соперниками в беге, колышется морская звезда, обитательница водосвода; ошуюю — бенгальские тигры, пойманные в чащобе тростника, пока им снилось, как желтолицый человечек изобретает порох. Дикобраз и еж между собою заключили пакт о ненападении; бык все пережевывает возможные причины потери мужской силы и сексуального влечения, недоумевая заодно по поводу исключения из списка пассажиров мулицы.

Тяжелая работа досталась Ною. То отделить льва от газели, птиц от насекомых, лягушку от змеи; то развести подальше ястреба и голубку, утихомирить василиска и попытаться вписать в классификационную систему утконоса.

И так день ото дня: гоняться за страусами и сороками, фазанами и соколами, головастиками и аксолотлями[1], саламандрами и квакшами, ящерицами, хамелеонами и игуанами. Ворошить гнилушки, выискивая пары муравьев и уховерток; искать под каждым камнем сверчков, в траве — кузнечиков или стрекоз; рыться в навозе, ловя жуков и жирных мух; копаться в грязи и под корнями, где обитают черви и медведки. При этом не забывать о равновесии на башне со всеми этими кротами, летучими мышами, степными панголинами, болтливыми жако, дурными кенгуру и устрицами с хищным зевом створок.

Но вот настал момент увенчать работу парой клещей, москитов, комаров и блох.

Под конец трудов и в завершение долгих недель мучений, тягот и хлопот Ной с чувством выполненного долга отхлебнул порядочно вина и осмотрел всю башню: основание неоглядно, не видно и вершины, уходящей в заоблачные выси, куда не долетают ни орлы, ни кондоры, ни грифы.

Гораздо выше тех высот, где распускает кетцаль[2] свои радужные перья.

И тут раздался голос Бога:

— Ну, что же, Ной... Ты молодец. Теперь принимайся за ковчег.

1. Аксолотль — личинка хвостатого земноводного, похожа на тритона.
2. Кетцаль — птица, обитающая в лесах Центральной Америки, отличается ярким оперением. Национальный символ Гватемалы.

В *парикмахерской*

Понедельник, самый конец года

В парикмахерскую входит Смерть; бледная и растрепанная, она глядит на себя в зеркало. Волосы пожухли, посеклись и омертвели. Она требует наилучшего шампуня, наисовременнейшей стрижки и наимоднейшей прически.

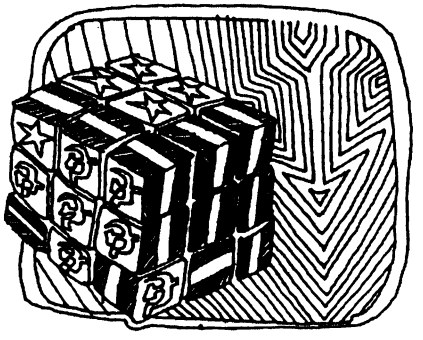
Довольная результатом, она улыбается во весь оскал и говорит парикмахеру в зеркало:

— Ну, пойдем...

В*торник*

Кубик Рубика

Вторник, в год затмения



В кубике Рубика нет ничего нового. Он существовал всегда.

Говорят, что это именно он был причиной тому, что Вавилонская башня так и осталась недостроенной. И дело совсем не в том, что Господь смешал языки, а в том, что эта на вид невинная игрушка вызвала помутнение рассудка у тех, кто пытался сладить с ней.

Уже в Средние века Торквемада отправил сию забаву на костер.

Этот кубик был виновен в том, что за разгадку его секрета владетельные лица отдавали охотничьи угодья, алхимики — магические формулы, девы — свою невинность, а верующие — душу дьяволу.

Недавно агенты ФБР и стратеги Пентагона наконец дознались, что этот кубик вовсе не изобрел какой-то там венгерский математик — он был получен в результате специальных разработок и исследований в Московском институте точных наук и выброшен на рынок с тем, чтобы занять умы трудящихся всех стран, которые должны будут забросить все свои дела, что приведет к упадку западного мира. Как случилось когда-то с Римской империей.

Да здравствует мир

Вторник, весной 2037 года

ВЕЛИКАЯ страна, крупнейшая мировая держава, подписала мирные договоры со всеми государствами мира. Большими и малыми, западными и восточными.

Затем она закопала все свои томагавки и распустила все свои войска — сухопутные, морские и воздушные. И превратились казармы в пекарни, ангары — в амбары, солдаты — в оратаев.

Канонерки и броненосцы вновь ушли в море с сетями и рыболовной снастью, ракеты были демонтированы и останки их погребены в пустыне, дезактивированные атомные бомбы обогатили собой музеи истории науки и техники.

Оборвался посвист пуль, и прекратились грязные военные игры, флаг мира возреял на самом высоком флагштоке, крестьянские парни возвратились домой с далеких заокеанских баз и вновь стали распевать древние песни средь кукурузных полей.

Сотни тысяч людей вернулись к плугу и трактору и превратили свою страну в самую великую житницу во всей мировой истории.

И установили свои цены на зерно и на овощи, на удобрения и на инсектициды.

Теперь эта великая страна, крупнейшая мировая держава, уже не угрожает человечеству оружием.

Она угрожает ему голодом.

Среда

Выборы в Гватемале

Среда, в год, когда победил достойнейший

КАНДИДАТЫ в президенты республики разъезжают по стране, раздавая направо и налево улыбки и рукопожатия. Они выступают на митингах с убранных цветами трибун под аплодисменты сторонников и уважительное молчание противников.

Они обещают возвести мосты над бурными реками, построить школы, больницы и спортплощадки, дабы воплотить в жизнь древнюю максиму "В здоровом теле – здоровый дух", замостить улицы, заасфальтировать дороги, разбить парки с газонами, розовыми клумбами, беседками и установить в почетном месте бюст отца нации, обращенный лицом к мэрии с таким пророчески-вдохновенным видом, что кажется, вот-вот заговорит.

Народ им верит, ведь они люди слова.

Они участвуют в дискуссиях, круглых столах, телефорумах, где дружелюбно и сердечно обсуждают с соперниками проблемы страны, рассматривая их в практическом и реалистическом аспектах.

Без всякой демагогии, не возвышая голоса.

По улицам колоннами шествуют манифестанты, приветствуя своих кандидатов, в то время как в казармах военные глядят через бойницы, чуждые мирской суете, сосредоточенные на своих воинских обязанностях: чистят и смазывают оружие, наводят глянец на сапоги, целыми днями занимаются строевой подготовкой, чтобы научиться искусству одновременного поднимания ног, подобно барышням из кордебалета Радио-сити Рокфеллеровского центра.

На следующий день после выборов, как только стали известны результаты, проигравшие спешат поздравить победителя и вознести хвалу достоинствам демократической системы.

И все довольны и счастливы.

Никаких скандалов, никакого насилия, никаких запрещенных приемов.

Ни победителей, ни побежденных.

На улицах веселый тарарам, все обнимаются со слезами радости на глазах.

И уже образован общественный совет по сбору подписей по всей стране под обращением в Конгресс с просьбой ограничить период президентского правления двумя годами с тем, чтобы народ мог чаще устраивать такой великий праздник гражданских свобод и не ждать очередные долгие четыре года до марта 2086-го.

Аминь.

Завоеванная страна

Среда 2524-го, в баре

РАЗГОРЯЧЕННЫЕ парни громко спорят о событиях, имевших место много-много лет назад. В углу молчит старик, ушедший в свои мысли.

— Вся беда в том, что нашими завоевателями были испанцы, — говорит один с орлиным носом, лицом похожий на маску для ритуальных африканских танцев.

— Да, вот если бы на их месте были англичане, французы или немцы, дело повернулось бы совсем иначе, — поддерживает его курчавый мулат, явно недовольный своим цветом кожи.

Дальше речь идет о жестокостях Педро Альварадо[1], отсутствии духовных ценностей, несправедливости судьбы, сожженных де Ландой[2] рукописях майя, праве первой ночи, энкомьендах[3], религии, языке...

— На кой они нам сдались, уж лучше бы мы были мормонами и говорили по-английски.

— В конце концов нас и так завоевали англичане посредством гринго, а себе зато забрали наш Белиз[4].

В этом духе беседа длится долгие часы.

— И ведь приехали не умники из Саламанки[5], не богословы из Авилы[6], не члены Королевской академии[7], а всякое рванье, неграмотное быдло, шуты гороховые, пьяницы, каторжники да сифилитики.

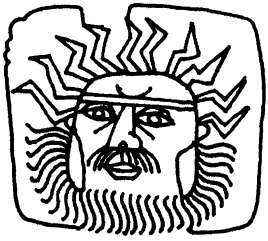
— Ну, чистое отребье, всяческая шваль...

Старик в углу слушает себе и помалкивает.

Он думает о том, что плохи не завоеватели — плохо быть завоеванным.

1. Педро де Альварадо (1490–1541) — испанский конкистадор. Отличался крайней жестокостью.
2. Диего де Ланда (1524–1579) — испанский священник. По его распоряжению были уничтожены ценнейшие рукописи майя. Впоследствии дал обширное описание культуры древних майя в книге "Сообщение о делах в Юкатане" (1566).
3. Энкомьенда — система трудовой повинности и закабаления коренного населения, существовавшая в испанских колониях в Америке преимущественно в XVI–XVIII вв.
4. Белиз — государство в Центральной Америке, бывшее с 1862-го по 1973 год английской колонией под названием Британский Гондурас.
5. Имеется в виду прославленный Университет испанского города Саламанка, основанный в XIII в.
6. Авила — город в Испании, связанный с именами Терезы де Хесус и Сан Хуана де ла Крус, писателей-мистиков.
7. Испанская Королевская академия — важнейший культурный институт Испании, основанный в XVIII в.

Четверг



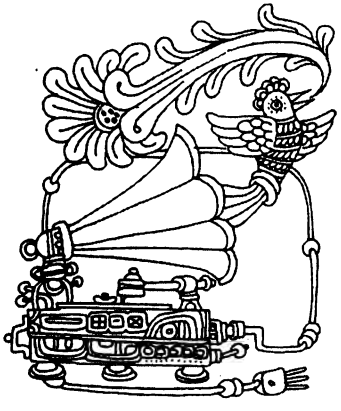
Грегор Замза-младший

Четверг, после дождичка из пепла.
1999 год

ЕДИНСТВЕННОЕ отличие Грегора Замзы-младшего от Грегора Замзы-старшего состоит в том, что сын в результате множественных мутаций, вызванных многочисленными атомными взрывами Третьей мировой войны, превратился в человека.

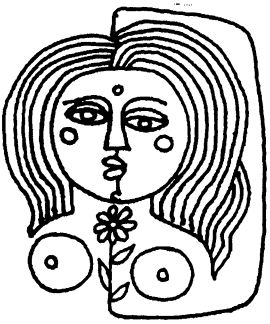
Давным-давно

Четверг, в тот год, когда была комета



КОГДА-ТО жизнь людей была такой счастливой, что они специально изобрели машину, которая рассказывала бы им печальную историю о тех далеких временах, когда жизнь людей была такой счастливой, что они специально изобрели машину, которая рассказывала бы им печальную историю о тех далеких временах...

Пятница



Сын человеческий

Великая пятница, перед снятием с креста

НЕВЕРУЮЩИЕ, скептики и атеисты думают, что я всего лишь деревяшка, приколоченная к грубому кресту работы опытного мастера. Что будто кроткий взгляд моих стеклянных глаз не видит беззаконий и мое сердце глухо к страданиям живых.

Они не ведают, что я забыл о собственных мучениях, о моих гвоздях, о моем терновом венце ради того, чтобы вобрать всю горечь вдовьих слез, которые теперь жгучими каплями бегут по моим венам; что уже моего безмерного милосердия недостает, чтобы утишить боль всех страждущих. Имя мое больше не мед на устах, не покой для души, не бальзам на раны.

Я все чаще думаю, что жертва моя была напрасной, и не решаю молить Его о прощении, ибо многие отлично ведают, что творят.

Но придет день, и кончится мое терпение, и я спущусь с креста, исполненный праведным гневом, мои кроткие глаза будут гореть огнем, и я вновь вышвырну из храма фарисеев. Всех выгоню под зад пинками.

И я восстану на правителей, что именем моим творят всяческие бесчинства, затем, чтобы они не освящали мною свои гнусные делишки, чтобы не делали из своих меркантильных кампаний новых крестовых походов.

Я обращу мое слово к угнетенным, говоря им, чтобы они не столько прибегали ко мне в своих бедствиях и не только молили бы меня при свете свечи, но более вверяли бы себя себе самим же, силе руки своей, силе единения народа.

Конечно, найдутся те, кто увидит во мне возмутителя спокойствия и развратителя человеков, и представят меня на суд новых иродов, консулов нового образца, посланников имперских орлов и пилатов в мундирах с несмываемыми пятнами на руках.

И бросят меня в темницу, и будут меня пытать, и холодным ранним утром распнут меня из пулеметов, и оставят мое мертвое тело в одних портах на дне оврага среди цветов и трав, забрызганных кровью.

Пусть так.

Но теперь я уже не воскресну.

Да пропади они все.

Тернистый путь

Пятница, после благовеста

ИЩА искупить свои многие прегрешения, человек тот, всуе прозванный Сальвадором[1], достиг конца своего пути, с трудом влача изъязвленное тело. Раны сочатся гнилой сукровицею, январский воздух обжигает окровавленную плоть. Он слабо улыбнулся и испустил дух у самого подножия Распятия, что в Эскипулас[2].

Теперь он вновь в аду.

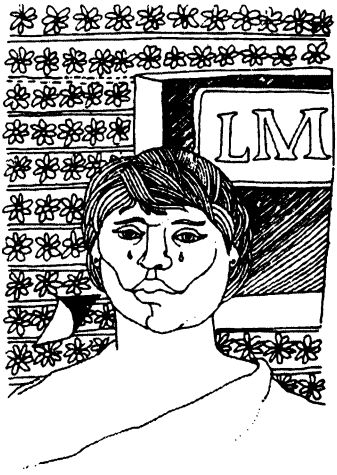
Суббота

Обнаженная на улице

Суббота, день, когда не было уроков

ВОТ ее ежедневный маршрут. Она выходит из автобуса на углу и идет полквартала до школы, где дает уроки по вечерам с понедельника по пятницу. Поскольку смена вечерняя, она заканчива-

1. Сальвадор (*исп.*) – Спаситель.
2. Распятие из Эскипулас (Гватемала) – предмет поклонения в странах Центральной Америки. "Черный Христос" из Эскипулас в Латинской Америке – особо почитаемый образ, наряду со "смуглой" Девой Марией Гваделупской.



ет уже в сумерках, когда зажигаются огни и прохожие торопятся домой.

Уж сколько лет одно и то же.

Эта рутина началась с того дня, как она получила диплом учительницы и нашла работу благодаря своему дяде, который был близким другом министра. Иначе она по сей день обивала бы пороги, заполняла бланки и носилась с бумагами. А в ответ слышала бы "Зайдите в четверг", или "Принесите выписку", или "Ваше дело еще не рассмотрено"...

Но ей повезло.

Ее школа ничем не отличается от других школ, и дети там такие же, как все дети на свете. Не лучше и не хуже. Ученики доводят ее до исступления своими выходками и воплями, но постепенно она проникается к ним любовью и в каникулы грустит по каждому из них.

Самые первые ученики стали совсем взрослыми (у некоторых уже пробивается пушок на верхней губе и ломается голос) и теперь здороваются с ней серьезно и почтительно.

Она всегда выходит из автобуса на одном и том же углу, в одно и то же время, но вот с некоторых пор стала замечать мужчину, всегда стоящего на одном и том же месте на той стороне улицы.

Мужчина как мужчина, ничего особенного.

Серый костюм, черные ботинки, неброский галстук. При виде ее он принимает независимый вид и начинает вертеть в руках сигарету или ключи. Только изредка бросает порой лукавый мимолетный взгляд, в котором, однако, мелькает что-то особенное, правда, всего на долю секунды.

"Как только я пройду мимо него, все изменится. Я чувствую, как он впивается в меня взглядом своих черных глаз, он буквально пронзает взглядом меня всю, все тело. Мои одежды спадают одна за другой, сорванные его жгучими зрачками, и я иду по тротуару вся нагая, между тем как его горячие губы покрывают страстными поцелуями мои бедра, спину, ямочки вверху на ягодицах. Внезапно я чувствую его жаркое дыхание в том месте, где не ожидала, содрогаюсь и сбиваюсь с шага. Кровь заставляет гореть щеки, я почти бегу и чувствую, как постепенно возвращаются мои одежды, как липнут к моей коже, влажной то ли от пота, то ли от его поцелуев".

Она пересекает улицу, почти взбегает по ступенькам школы и входит в класс, взволнованная и запыхавшаяся. Едва остыв, она идет в директорскую и расписывается в журнале.

Несколько раз она меняла маршруты. Выходила из автобуса немного раньше и входила в школу через черный ход.

Безрезультатно.

Вечер протекает в беспокойстве. То и дело она подходит к окну и украдкой глядит сквозь планки жалюзи, как на той стороне улицы он чешет себе затылок, встречая и провожая один автобус за другим. Наконец, потеряв надежду, он покидает свое место и бредет прямо под

зарешеченным балконом, устремив пустой взгляд в свое одиночество, такое же серое, как и его костюм.

"Все пускай будет как прежде, пусть он смотрит, как я прохожу, пусть он раздевает меня взглядом, пусть его жадные поцелуи ласкают меня в самых укромных местах, пусть проникнут в самые заветные, самые сокровенные уголки. Я хочу плавать в его поцелуях, хочу впитывать их всей кожей... Его рот как будто создан для того, чтобы дарить мне наслаждение губами, языком, зубами, всем".

Мужчина, наконец, отважился — заговорил. Такой робкий, глаза опустил. Он грустноватый, несколько потерянный, но взгляд глубокий. Манеры уважительные и даже старомодные. Назвал свое имя, извинился за беспокойство, причиненное преследованиями на улице. Попросил разрешения зайти за ней и проводить ее до дома. Говорил мало и тихо, этакий тихоня, но то, что говорил, приятно слышать любой женщине.

Он стал встречать ее после работы; разговоры за кофе заканчивались прощанием у двери ее дома, где он задерживался, шепча ей на ухо нежные и жаркие слова, которые проникали прямо в душу.

Первый раз, когда он поцеловал ее в щеку, встречая у школы, дети побежали вниз по улице, горланя во все горло: "У сеньоры есть жених! У сеньоры есть жених!"

Он покраснел, а она, чтобы он не заметил, что она это заметила, сделала вид, будто перехватывает книги, но с этого момента поняла, что скоро окажется с ним в постели.

И вот сегодня это случилось в номере отеля. Без особенных преамбул и церемоний, словно бы все уже было сказано и речь шла о необратимом факте. Она прикрылась простыней, он погасил свет и быстро сделал свое дело. И не было медлительного танца губ в скольжении по коже, не было сладкого дрожания поцелуев на выпуклостях, впадинках и в ложбинках, не было замирания и отлета души от тела, не было безумства поверх границ времени, стирающего одиночество и погружающего ее в бездонные глубины, откуда она вновь и вновь всплывала бы, влекомая любовью, переполнявшей каждую кровинку ее плоти.

Ничего этого не было. Она ожидала большего, чем эта заурядная и примитивная встреча двух тел, интересная разве что тем, что она первая. Она чувствовала себя запятнанной, к этому примешивался оттенок жалости и горечи во рту — то был вкус разочарования и досады, как будто вдруг сломались крылья.

Перед тем как заснуть, он говорил о скором браке, о детях, о домике с садом, о будущем в розовых тонах...

"И вот я чувствую безжизненно-тяжелый вес его руки на моем теле и слышу его ровное, спокойное дыхание. Я лежу в темноте с открытыми глазами и вижу на стене розоватый отблеск рекламы сигарет "LM", проникающий через окно, и твердо знаю, что уже никогда в жизни, сколько бы он ни ждал меня там, на улице, пройди хоть целая вечность, никогда уже мне не ощутить его горячих и влажных поцелуев, покрывающих мою спину, целующих мне живот, подмышки, бедра, в то время как я, голая и трепещущая, иду по улице с пылающим лицом, исходя сладостной истомой, которая пронзает меня всю с головы до ног..."

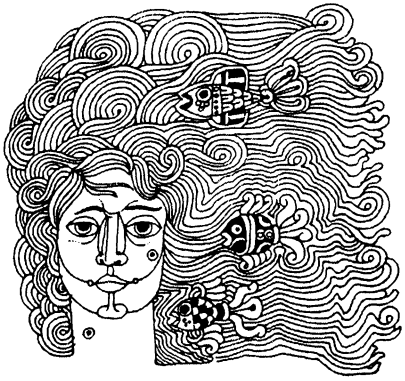
Он спит.

Она неслышно плачет.

Пути воды

Великая суббота, грустный год

НОЧЬЮ шел дождь, ровно и неостановимо, и шум дождя, смешанный с ровным рокотом реки, пропитывал весь дом своей влажной монотонной музыкой, заполнявшей самые далекие уголки, самые неприметные щели в досках.



Поутру мужчина спустился к реке набрать воды и обнаружил на узкой глинистой отмели молодое и прекрасное женское тело.

Он вернулся в дом за накидкой, чтобы прикрыть ее бледные бедра, высокие крепкие груди, гладкий живот и маленькие посинелые ступни.

Затем он пошел в поселок, откуда вернулся вместе с мировым судьей, начальником полиции и кучкой любопытствующих.

До полудня труп успели посмотреть все местные жители, но никто не признал знакомым тонкое и нежное лицо с закрытыми глазами и размытой течением улыбкой.

Остаток дня был заполнен разговорами, сплетнями, догадками и предположениями. Ввечеру судейские выкопали могилу и похоронили женщину.

Это происшествие лишило покоя человека, который некогда построил дом возле реки, среди плакучих ив, опустивших в воду свои жаждущие ветви.

Каждое утро теперь он выходил на берег и подолгу глядел на реку — прозрачную под летними лучами солнца и мутную под свинцовым зимним небом.

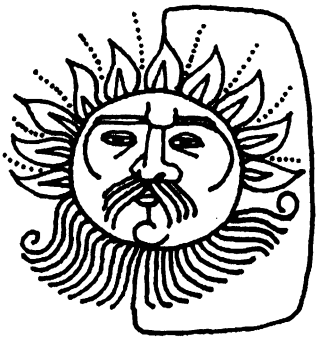
Пока однажды ночью, оглохший от бушующего ливня и грохочущей реки, одержимый воспоминанием о молодой утопленнице, он наконец не бросился в бурлящую пучину темных вод.

Наутро его нагое тело, красивое и молодое, обнаружилось далеко вниз по течению. Его нашла на узкой глинистой прибрежной полосе девушка, спустившаяся набрать воды.

Прибыли начальник полиции, мировой судья и жители, но никто не смог признать знакомым труп, его и схоронили ввечеру.

С того дня девушка лишилась покоя. Она все выходит на берег реки и все пытается восстановить в памяти черты лица того незнакомца, и глаза ее, устремленные на речной поток, наполняются влагой.

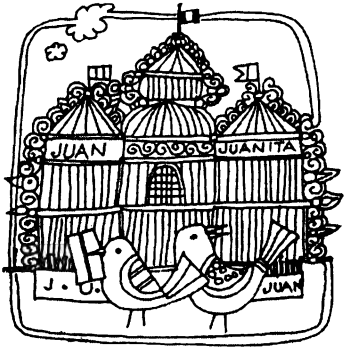
Воскресенье



Судьба на бумажке

Воскресенье, первый ярмарочный день

А вы его, наверное, знаете. Он все ходил по ярмаркам с двумя птичками в клетке, которые вытаскивали бумажки с предсказанием судьбы. Моей невесте выпало выйти замуж за военного. Так, значит, так. А мне были предсказаны проблемы с властями.



Уж эти мне птички со своей правдой в клювике...

Знать бы, на какой ярмарке он сейчас болтается со своей клеткой, выкрашенной в бело-голубое. Я-то здесь, в Сумпанго, все еще валяюсь в тюряге, и никак не заживут две дырки от пуль, которые мне всадил тот вшивый капитанишко.

Непруха

Воскресенье, в тот год, когда накололи дона Немесио Атунеса

КОГДА мы притопали на ярмарку в Атескатемпу, где собирались загнать пару бычков, мы еще не подозревали, что так лопухнемся.

При въезде в поселок мы остановились у поилки.

– Меньше чем за сто двадцать песо не отдаем, – сказал тогда мой дружбан.

Но отдали за восемьдесят, и то слава богу, потому как дело уже шло к закрытию, почти все покупатели поразъехались.

Вот и пришлось поднажать на дона Немесио Атунеса, который все торговался, все долдонил, что, дескать, бычки-то дохловатые, недокормленные да свербежные. Этот старый хрен, даром что подслеповатый, еще и под хвост им норовил заглянуть.

Рассчитался он с нами кучей замусоленных бумажек по одному песо. Сорок песо моему напарнику, сорок мне. Все напополам, чин чинарем. И погнал себе бычков по большаку, лихо поплевывая да посмеиваясь над нами.

Не то чтобы бычки те много чего стоили. Но не восемьдесят же все-таки. Ай да хитрован, ай да бобер. Надо бы хоть за сотню, так чтобы уж ни вашим ни нашим.

Ну и хрен с ним.

С паршивой-то овцы...

Решили мы это дело отметить. Взяли по пивку. Потом еще. И еще. Потом появился Эвелио, тот, что с Агуа-Приета, и понеслось.

Этот самый Эвелио притащил трех молодух, ну, мы с ними еще вмазали, да и оприходовали.

В общем, оттянулись будь здоров.

Ну, и вот, значит, сидим мы в Атескатемпе.

Вернее, лежим в пансионе "Эль-Рекрео". Дружбан мой на одной койке, я на другой. Без гроша в кармане и плохие с похмелону.

В полутьме сверкают красноватым блеском глаза моего напарника; он смотрит на меня так, словно это я виноват в том, что мы прогуляли все вырученные бабки.

А ведь каких трудов стоило выправить ксиву для продажи да вытравить с бычков клеймо NA дона Немесио...

Болеслав Лесьмян

"Телом после я стал, а сперва была рана"

Стихи

Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула

Болеслав Лесьмян родился в 1877 году на Украине. По окончании Киевского университета он эмигрировал во Францию и больше в родные места не вернулся, но зеленая Белоцерковщина с ее степями и перелесками навсегда осталась для него утраченным раем; лесное эхо его детства докатилось до последних, посмертно изданных стихов.

В 1918 году он вернулся в Польшу, уже независимую, и большую часть жизни, незаметной и порой бедственной, провел в глуши, на восточных окраинах нового государства. По иронии судьбы, вообще неласковой к нему, ярчайший польский поэт в миру был провинциальным нотариусом. Неприкаянный, нездешний, он и всюду казался "упавшим с облака", а в захолустной чиновничьей среде был обречен на отчужденность. Щуплый, маленький (острили: "Подъехала пустая пролетка, и с нее спрыгнул Лесьмян"), обаятельный и странный до смешного — казалось, сама внешность уготовила ему роль местечкового чудака, одержимого робостью и фантазиями. "Своей сгорбленной фигуркой, — вспоминал поэт Анатоль Стерн, — своим огромным носом и тихим голоском он напоминал скорее кобольда, заблудившегося в городе, чем современного поэта". Несколько иным видел его Юлиан Тувим: "Крохотный, птичий, голубоглазый... смеялся, как ребенок. Звенело в этом смехе что-то очень похожее на рассыпанный жемчуг, именуемый слезами". И Тувим продолжает: "Сказочная Птица, чудесным и злым велением

© Анатолий Гелескул. Перевод, вступление, 2006

судьбы обреченная на двуногое, бескрылое существование на земле. Лишь когда из безмерной дали приплывал родной его воздух, Дар Поэзии, лишь тогда спадало с сердца страшное бремя изгнания и жизнь становилась простой, своей, родной. А он был у себя дома".

Но и это пребывание у себя не радовало. Нотариусом Лесьмян был неудачливым, да и попросту никудышным; его не раз обкрадывали, и, наконец, обобранный до нитки компаньоном, он погряз в долгах и едва избежал тюрьмы. Каждодневная мелочная борьба, смерть близких, наконец, ощущение катастрофы, надвигавшейся на Польшу, изнурили его душевные силы, но не ожесточили. Его дом в захолустном Замостье был распахнут, как шатер кочевника; городские отщепенцы, нищие и убогие, вошли в стихи Лесьмяна через эти двери.

Не очень-то счастливой была и литературная судьба. Лесьмяна знали и любили поэты (дерзкий бунтарь Юлиан Тувим при встрече целовал ему руку), но у широкого читателя он не был популярен. За редким исключением. Например, городского прокурора в Замостье взволновала баллада "Солдат" — начитанный прокурор потребовал привлечь автора к уголовной ответственности (за глумление над легионером Пилсудского). Вообще лесьмяновскую музу не покидал прокурорский надзор. За год до его смерти реакционная "Польская мысль" все еще размышляла, отправлять ли его в желтый дом или прямо в трибунал — как вражеского агента, который проповедью пессимизма расшатывает бодрость нации.

Умная и печальная поэзия Лесьмяна действительно кое-что расшатывала — тот желудочный обывательский оптимизм, который поэт называл "показом кокетливо надутых мускулов". "Далекий от жизни", как его трактовали прижизненно и посмертно, Лесьмян, к сожалению, видел дальше многих и не страдал обманом зрения.

Он предсказывал: "Грядут года небытия, и гибнут девушки, как птицы". Сам он до этих лет, к счастью, не дожил и не увидел, как угоняли его семью в Маутхаузен. Болеслав Лесьмян умер осенью 1937 года от сердечного приступа после визита члена профашистской молодежной организации. Семья с трудом наскребла денег, и он был похоронен рядом с могилой сестры Александры. "Любимый немногими, забытый всеми".

Его поэзия вернулась в Польшу почти через четверть века. Началось бурное "открытие" Лесьмяна, которое невольно заставляет вспомнить такое же запоздалое открытие Норвида (кстати, в том открытии участвовал и Лесьмян, хотя трудно представить себе двух поэтов, настолько полярных).

Болеслав Лесьмян — поэт многоцветный и многозвучный. Предлагаемая подборка не замахивается на симфоническое богатство его поэзии и затрагивает лишь одну из мелодий, не единственную, но сквозную и незатихающую. Но чтобы у читателя, с творчеством Лесьмяна не знакомого, не возник образ угрюмого поэта с кладбищенским уклоном, нужна некоторая подсказка.

Лесьмян жизнелюбив. Он мог бы, подобно Пастернаку, взять девизом верленовскую строку "Сестра моя жизнь"; кстати говоря, сестрой Верлена была тоска, потому что жизнелюбие и жизнерадостность — не одно и то же. Лесьмян, литературный псевдоним нотариуса Лесмана, звучит по-польски почти как Имя Лесное; лес был для поэта образом самой жизни, такой же многоголосой, единой и изменчивой. Жизнеутверждение доходит у Лесьмяна, особенно в ранних книгах, до экзальтации, растворения себя во всем. И тем не менее его нередко называли "поэтом мертвых". Действительно, многое в его стихах происходит на том свете, и пришельцы оттуда пугающе реальны. Но этот потусторонний мир отрицает саму возможность потустороннего; Лесьмян находит для него странное, почти житейское название — "чужбина".

Считается, что настойчивые мысли о смерти вредны и вообще признак душевного нездоровья. В таком случае человечество, начиная с первобытных мифотворцев, неизлечимо. Смерть — это стержень человеческих раздумий, гордиев узел мыслителей, поэтов и вероучителей, и раздумья о ней — скорей лекарство, чем болезнь.

Пути спасения предлагались и предлагаются доныне. Но, к сожалению, легче убеждать, что смерти нет, чем убедиться самому. Древнеегипетские жрецы разметили дорогу в вечность с дотошностью землемеров и загружали захоронения массой необходимого, даже шахматами, чтобы усопшие не скучали на переходе в параллельный мир и там коротали досуг. Но древнеегипетские эпитафии потрясают — мало что в мировой поэзии может сравниться с ними по безнадежности и отчаянью. Не утешали живых и мертвых ни шахматные доски египтян, ни домашние тапочки, которыми снабжали своих покойников этруски.

С наступлением сумерек, когда отсветы дня тускнеют, на краткое время все обретает свой собственный, природный цвет, как бы просвечивающий изнутри. Странным образом мир на пороге темноты становится отчетливей и достоверней — как жизнь в тени смерти. Эта смерть в сознании, еще не явная, видится и переживается по-разному. Вспомним трагическое недоумение Державина: "Где прах? Он здесь. Где дух? Не знаем", или пушкинское "Я жить хочу" и последнюю в его жизни, неоконченную строку: "Что в смерти доброго!.." Или спокойную горечь Китса:

> Сильна любовь и дружба прежних дней,
> И красота сильна. Но смерть сильней.
>
> *Перевод* С. Я. Маршака

Или тютчевское "О, не кладите меня в землю сырую..." И вспоминать можно до бесконечности, до безымянной надписи на стене турецкой кофейни: "Что смерть — умрем мы все. Вот если б не было разлуки!" Очень по-разному переживается мысль о смерти — возмущенно, мужественно, равнодушно и даже, не только в минуты отчаянья, с какой-то гибельной радостью. Признание Блока: "Я люблю только музыку, детей и смерть" — не литературная декларация, а строки из письма матери.

Для Лесьмяна эта мысль бесконечно печальна. Ирония, которая порой сквозит в его стихах, горька, и горечь в ней преобладает. Перед лицом смерти он не прибегал ни к религиозным, ни к иным самоутешениям. "Умирающий якут, — писал он, — для меня выше Иова и всех богов индийских и не индийских". Создавая свою мифологию смерти, Лесьмян не только утверждал земное, но вложил в нее мучившее его сознание людской разобщенности. Его загробный мир — это как бы жизнь в обратной перспективе: пережитое сопровождает изгнанников в их долгом пути на чужбину, мертвые только начинают умирать и умирают по мере того, как исчезают из памяти живых. Что же противостоит смерти — любовь? Толстой говорил: "Любовь — это Бог, разделенный телами". Казалось бы, Лесьмян готов воскликнуть вслед за пророком Осией — и за Львом Толстым: "Смерть, где жало твое?" Но его останавливает грустное сознание, что нет настолько любимого человека, без которого невозможно жить. Лишь очень редко — и обычно в час беды — людские связи нерасторжимы. Подлинная тоска Лесьмяна не о бессмертии — о человечности. Эту тоску и вложил он в выстраданную им формулу человеческого единства: "Все виновны в смерти каждого человека".

Степь

Степь, одна только степь, ни конца ей, ни края,
И в тиши над моей, над заблудшею тенью
Лунный свет шелестит, холодком обдавая, –
Степь уснула, а я лишь ее сновиденье.

И боюсь, что пробудится эта громада
И пушинкою сна упорхну и растаю.
Но она беспробудна – броди кому надо, –
И бреду, а мерещится, что улетаю.

Тени тянутся в дали зеленого моря,
Где оно оторочено синей каймою,
И на краешке неба в тенетах безмолвья
Стережет бесконечность, набухшая тьмою.

Вечернее небо

В небе вечернем, в небе недужном
Взгляд сиротеет и уплывает.
Сердцем бессонным и безоружным
Сумрак вечерний овладевает.

Вызволить душу, чтобы в полете
Бор озарила, словно зарница,
У твоих окон на повороте
Сном мимолетным себе присниться!

Пыль золотую гонит печалью –
Встречным калинам падаю в ноги
И твои губы не отличаю
От той калины на той дороге.

И твои косы путаю с ивой,
Завороженной сонным теченьем...
Тонет подолгу взгляд сиротливый
В небе недужном, в небе вечернем.

Забытье

Если ночь я встречаю в степном запустенье
И стремлюсь угадать ее облик по тени,
Что-то в памяти будит дорога ночная,
Сокровенное что-то, а что – я не знаю.

Может быть, помолиться пытался я, грешник,
О пределах бескрайних, безвестных, нездешних,
Но слова разметало, как ветром полову,
И молиться не смог — и не помню ни слова?

Или в душу мне смерть заглянула украдкой,
Когда жизнь полагал я особенно сладкой
И забыл умереть — и не ведаю, что там,
За чертой, обозначенной вечным отлетом?

Или, может, душа наказала мне строго
Отчий кров позабыть и пуститься в дорогу,
И куда-то брести все грустней и бездомней,
Но забылось, куда — и уже не припомню?

Это память порой оставляет, тоскуя,
На губах у беспамятства след поцелуя,
Если ночь я встречаю в степном запустенье
И стремлюсь угадать ее облик по тени.

Враги

Надо мной зеленый дуб матерый
И ларец из золота и шелка,
А в ларце том лебедь белоперый
И во рту у лебедя иголка,
А на остром кончике заклята
Жизнь моего злого супостата.

Стоит только надломить иголку —
И конец коварному злодею.
Нынче ли прикончу втихомолку
Или подождать, еще успею?
Но почуял что-то хитрый ворог
И крадется к дубу. Слышу шорох...

Притворяюсь, будто я забылся
Детским сном на луговой постели.
Майский жук мне в волосы забился.
Замер дух, и руки онемели,
Не успею выпростать наружу.
Взгляд убийцы проникает в душу.

И с ножом он надо мной клонится,
Взгляд пытлив, ни мысли о пощаде.
Оплошай на миг я, взмах ресницы
Или трепет жилки — и прощайте!..
Прячусь в сон. Дышать пытаюсь ровно.
Задыхаюсь. Дуб шумит надгробно.

* * *

Мне казалось, что в мир я вбежал из потемок,
Легконог и беспечен, резвясь, как котенок.

Да, пушинка, а все же еще полетаю
И себя сочиню и судьбу подлатаю.

А расплата, казалось, когда-то — не скоро,
Как сова меня выследит в зарослях бора.

И недобрые сны — просто страхи ребячьи,
Все еще впереди... Оказалось иначе.

Надо вслушаться в зло, словно в шелест кипрея,
Легче зло обескровить, чем сделать добрее.

Ворожил по руке моей сумрак осенний,
И еще до удара не стало спасенья.

А на помощь позвал я и понял нежданно —
Телом после я стал, а сперва была рана.

И тоска, наконец-то я понял, напрасна,
Потому что всю жизнь погибал ежечасно.

Дон Кихот

В замогильном саду, в подметенной крылами
Непоседливых ангелов жухлой аллее,
С деревами в наследственном лиственном хламе,
Нелюдимо, с душою свинца тяжелее,
Хоть и сбросившей иго житейского гнета,
На скамейке сутулится тень Дон Кихота,
И задумчиво — зная, что думать не надо, —
Взгляд посмертный, не дальше ладони простертый,
Мерит тьму над песчаной дорожкою сада,
Где следы прожитого старательно стерты.

А из тьмы к нему с ласковым отчим укором
Приглашая к полезным душе разговорам,
Милосердно протянута божья десница,
И, крестясь, ангелок ради гостя хлопочет,
Разгоняя потемки. Но гость сторонится
И как будто не видит и видеть не хочет.

Обращали когда-то весенние полдни
Крылья мельниц в литые мечи великаньи,
А теперь ему кажутся руки господни

Тенью мельничных крыльев в коварном мельканьи,
И с недоброй усмешкой он гонит, отпрянув,
Искушение новых безумств и обманов.

И едва замечает, как, медленно рея,
Ангел алую розу на щит ему ладит,
Знак мадонны, что помнит его в эмпирее
И за верность ему благодарностью платит.
Только рыцарь, недавно еще безупречный,
Оскорбив равнодушьем посланца и даму,

Отвернулся, доверье утратив навечно
И к цветам, и к дурманному их фимиаму.
Белый ангел клонится над жертвой неверья
И стыдливо целует, овеянный светом,
Прошептав: "От нее" — и бесшумные перья
На лету растворяются в небе. И следом
Рыцарь, искоса глянув на вестника рая
И теряя неверье, и вновь умирая,
Забывается смертью последней, такою,
Что и в день воскрешенья оставит в покое.

Горбун

Горбун прощается с полем
И бабьим летом погожим
И смертью своей доволен,
Горбатой, как то, что прожил.

Затих, как перед разгадкой,
Которую жизнь искала.
А что в ней и было, краткой?
Таскала горб и таскала.

Горбом и тешил и клянчил,
Вдвоем мечтали, бывало,
Баюкал его и нянчил,
Собой кормил приживала.

И смерть заработав честно,
О прожитом не жалеет.
А горб, которому тесно,
Живет себе и жиреет.

А горб пережил верблюда
На срок, отмеренный плоти,
И тот глядит ниоткуда,
А он — на птичку в полете.

Грозит носильщику ношей,
Свою навьючив колоду:
"Уткнулся лбом в бездорожье,
Живым не давая ходу?

Лазейки во тьму так колки,
Что медлит нога босая?
На черта брал на закорки,
На полдороге бросая?

Уволь меня, ради бога,
Торчать на тебе, ледащем!
Берись за гуж, лежебока!
Куда поклажу потащим?"

Современный пейзаж

Протрезвеет наш век, когда кровью упьется.
Жить так больше нельзя — и однако живется.
Что нас ждет? Есть гадалка в Париже и где-то.
Все разгадано, нет у загадки ответа.

В кабаре аплодируют так потаскухе,
Что трясутся прилипшие к лысинам мухи,
А в палатах напротив решает собранье,
Как избрать в экономике курс вымиранья.

Душегуб, в темноте поджидая клиента,
Распознал безошибочно интеллигента —
Саданул — и не в душу, витавшую где-то,
А в обличье, что так и просило кастета.

В преисподней питейной под гомон и топот
Безработную дурочку тискает робот,
Ржавый идол в любовном чесоточном зуде
Усмиряет клешнями строптивые груди.

А в кафе выпирает из тесного фрака
Депутатский загривок дородного хряка,
И с торговкою в пудре, как в белой метели,
Крутит танго трибун, наконец-то при деле.

Выступает министр, и еще спозаранку
Озабочен одним — не утратить осанку,
И с улыбкою, впрок заготовленной прежде,
Заверяет, что каждому даст по надежде.

А в серебряной слякоти жертву скитанья,
Злобе дня присягнувшего певчей гортанью

Аритмия двух крылышек мучит поэта
В долгих поисках рифмы, утерянной где-то.

Разлучая слова с бытием бессловесным,
Поскупилось прощание с ликом небесным
На посмертную маску его по затонам.
И поэт копошится в быту фельетонном.

Облегченно разделался с тайной полета
И так рад возвращению с неба в болото,
Но поскольку не греет его мостовая,
Семенит он во тьму, на бегу отставая.

И витрины манят лучезарней утопий,
И деревья горды, что торчат по Европе,
И на крышах луна, ходовая монета,
А над крышами ночь, и не будет рассвета.

Вифлеем

Разбудил меня сон... Явь под звездной порошей
Отоснилась. Зачем было сниться, пугая?..
За волхвами спешу в мир иной и не схожий
Ни с одним из миров. Ни с одним, присягаю!

Не догнать караван! А догнать его надо,
Хоть растет от недобрых предчувствий тревога!
Вот и первые встречные — сонное стадо
И коптилки в оконцах, не видящих Бога.

И пещера. Немедля, не то будет поздно,
Слишком поздно! Не мешкай, недоля земная!
Пастуха одинокого ночью морозной
Я бужу, вифлеемской звездой заклиная.

Где волхвы? — "Ладан, мирра и злато уплыли, —
Чужеземные гости помедлили малость
У корчмы и растаяли облаком пыли
На пути в никуда. Вот и все, что осталось".

Где Мария? — "Не знает никто в этом мире,
У небес и надгробий не спрашивай — глухи".
А Спаситель? — "Давно его нет и в помине.
Да и был ли он? Разные носятся слухи".

Магдалина? "Я пнул ее как-то — стерпела,
Заглядевшись на смерть... Возвращайся, приблуда,
Здешним нет до тебя, запоздалого, дела".
Но зачем он, возврат никуда ниоткуда?

Крылатый день

Озарились две бездны — два мира в едином, —
Мы вошли в них. А день был крылом лебединым.

Никого не отпели, ни над кем не рыдали.
Помню, как размечтались о заоблачной дали,

И не молвив ни слова, понимали друг друга...

Он явился нежданно. И вздохнула округа.

Был таким он невзрачным. И венец был терновым.
На колени мы встали под сосновым покровом.

Под сосновым покровом, у зеленого лога.
И одно нас дивило — что предстал так убого.

Но глядел и глядел он. Мы клонились бурьяном,
Удивленье стихало. Все вокруг было странным...

Так и должно — вдруг поняли мы, замирая,
И что можно без счастья, и что можно без рая.

Умаляйся и никни под безмерной любовью.
Это было ответом и концом суесловью.

Что-то с этой минуты в нас навек замолчало.
Мы вернулись на место. Снова время журчало,

Зачерпнуть, искушая, как детишек обновой.
Но глядел и глядел он. И венец был терновый.

Слова для песни без слов

Вечная жизнь, обернись молодою в могиле
И дохни своим жаром в угасшие зори!
Я безумный рассказчик какой-то несбыточной были,
А к тебе прикасался лишь во сне или в горе.

Не было поля — а горести выросли в поле.
Нет и колдуний — а столько наколдовали...
Отсвет сирени на облаке, как в ореоле,
Ввысь уплывает. Но доплывет едва ли.

В водоворотах ночи все беззащитней тело,
Хоть бы лоскут небес — опоясать чресла.
Что-то в саду стряслось и зашелестело —
Так расшумелось, будто и впрямь воскресло.

Вспомнил ту девушку, что навсегда любима,
Кроткие губы, что не таят секрета.
Кроме улыбки и встречной судьбы помимо,
Не было в ней ничего. И любил за это.

Помню ту душу, что смерть без бумажной розы
Не представляла. Ладить венки привыкла...
Кто мы, откуда и птицы — и чьи-то слезы —
И я — и цветок бумажный — и все возникло?

Ту золотистость помню, что кажется сном небесным.
Лживые сны людские — такая малость...
Гас над рекою вечер. И лодка навстречу безднам
Канула в золотистость. И там осталась.

Изнемогают зори на пустошах неба синих,
Слезы кровавые долго не унимая...
Чем же меня — или озеро — или осинник —
Приворожила вечность глухонемая?

Как расплескал я тайну, ту, что едва пригубил
Ночью, когда твое тело я ласкам вверил?..
Мир меня вдоволь и намытарил, и наголубил,
Вдоволь и я в нем начеловечил и нахимерил.

Мне бы увидеть, как воскресает ракита,
Та, что во сне шумела над обреченным кровом.
Мне бы у звезд дознаться, где та недоля скрыта,
Что суждено мне мыкать, не попрекнув ни словом.

Что после смерти будет со мною — и с белым светом?
Слезы твои затеплю? Мглой засинею?
Тьма без просвета в саду сомкнулась над первоцветом.
Мы в ней были когда-то — и встретимся с нею.

Нищета

Каждый умер иначе, по-своему трудно...
В тусклой памяти меркнут угасшие лица.
Брат, сестра и родители спят беспробудно,
И во сне умирание все еще длится.

Вновь увидеть улыбку сестры не сумею
И как на пол упала она, затихая.
Мельком брат возникает, все реже, смутнее,
И не слышит его моя память глухая.

Словно на небе знаки сквозят водяные...
Вы мертвы и еще раз умрете в могиле,

Обделенные прошлым, уже неродные,
Будто не было вас, будто вы и не жили.

Нет как не было! Пусто! Любил я химеры!
Силюсь боль сохранить еще, вымолить слезно –
Сумасброд, в силу слез не утративший веры!
Нет их. Память мертва. Горевать уже поздно.

Ночь, в небесную твердь всеребренная властно,
Если в сердце свой сумрак нацелила стылый,
Бей наотмашь, безжалостно и безучастно!
Все снесу! Человек я! Померимся силой!

Тот и жгучие слезы в ладонях остудит,
Кто уходит во тьму по следам человечьим,
Тот, кому дорожить на земле уже нечем,
У кого уже нет ничего и не будет.

Любящие

Лишь появилась из лесосеки,
Словно пришла с поминок,
Затрепетали мертвые веки,
Взглядом прожгли суглинок.

"Рад повидаться! Без толку тлею,
Да и не жду свиданья.
Где я – не знаю, но не в земле я,
Здесь лишь мои страданья.

Может, поведаешь над могилой,
Над богадельней гноя,
Где захоронено то, что было
И уж не будет мною?"

В детском испуге она склонилась,
Рухнула и застыла.
Видно, любила сильней, чем мнилось,
И не права могила.

В вечной той осени, где и летом
Страшно цветам и птахам,
Стихло все тело ее ответом
Над уязвленным прахом.

Екатерина Иванова

Измерение мира: о чем писали немецкоязычные литературные издания осенью 2005 – зимой 2006 годов

По материалам "Die Zeit", "Frankfurter Rundschau", "Neue Zürcher Zeitung" и других изданий.

В центре внимания немецкоязычной критики осенью–зимой 2005–2006-го оказался роман Инго Шульце "Новые жизни" (Neue Leben. Die Jugend des Enrico Türmer in Briefen und Prosa; herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Ingo Schulze. – Berlin: Berlin Verlag, 2005). Эта книга (объемом 800 страниц!) в январе входила практически во все списки немецкоязычных бестселлеров, многие критики увидели в ней долгожданный роман об объединении Германии – "тот самый", которого так не хватало! По форме "Новые жизни" – роман в письмах с комментарием автора. Письма, как и рассказы, которые приводятся в приложении, принадлежат перу героя – Энрико Тюрмера.

"Новые жизни: юность Энрико Тюрмера в письмах и прозе; издал и снабдил предисловием Инго Шульце" – таково полное название романа, отсылающее читателя к "Vita nova" – "Новой жизни" Данте. Как и она, роман Шульце построен по принципу сочетания коротких текстов (правда, прозаических, а не поэтических) и комментария к ним. В отсылке к Данте таится ирония: Данте скорбит об утраченной возлюбленной, а герой Шульце чувствует, что с исчезновением ГДР в его жизни образовалась пустота, которую он не может заполнить. Для Тюрмера расставание с ГДР оказалось нелегким. "Меня больше не было", – описывает он свое состояние: вместе с ГДР для него исчезли все "добрые боги". "Что я, писатель, без Стены?" – вопрошает Тюрмер в одном из писем. Если для Данте смерть Беатриче стала толчком для творчества, то Тюрмер, наоборот, с утратой ГДР отказывается от писательства, чтобы впоследствии создать одну из самых влиятельных издательских империй Германии.

"Новые жизни" – роман об изменениях, происходящих с людьми и языком при смене политических режимов, о том, сколь неохотно принимает порой политические перемены человек, со временем делающий благодаря им карьеру и состояние. Во времена ГДР Тюрмер принадлежал к диссидентской среде, однако уже первые демонстрации в защиту свободы слова и за объединение Германии не вызвали у него энтузиазма – он предпочитал отсиживаться дома.

После 1990 года он отбрасывает все, что мешает преуспеванию. Ради издательской карьеры Тюрмер оставляет литературу, театр, любимую

© Екатерина Иванова, 2006

женщину. Целью его жизни становится процветание как таковое. Обозреватель "Die Zeit" не без иронии отмечает, что роман "Новые жизни" повествует о том, как "восточногерманской душой овладела рыночная экономика".

"Новые жизни" называют "лучшим романом об объединении Германии"; правда, Ирис Радиш (еженедельник "Die Zeit") уточняет, что это "лучший среди многочисленных плохих романов" на эту тему.

По мнению "Die Zeit", в "Новых жизнях" практически не реализованы богатые жанровые возможности романа в письмах, позволяющие представить различные точки зрения, передать рефлексию героев, позволить им говорить об интимном. Как отмечает Ирис Радиш, жанр писем используется здесь лишь для того, чтобы оправдать недоработанность книги, ее стилистическую шероховатость.

У Инго Шульце репутация писателя, интересующегося жизнью "маленьких людей", глубоко чувствующего поэзию обыденности и умеющего превращать "беседы, ведущиеся в немецких гостиных, в великолепный джаз" ("Die Zeit"). В "Новых жизнях" Шульце передает "бразды повествования" в руки не очень умелому литератору, начисто лишенному фантазии. Вымысел, как пишет Тюрмер в одном из писем, больше не интересует читателя, и "новая литература" должна быть "литературой труда, сделок, денег". Как отмечает "Die Zeit", роман "Новые жизни" написан в полном соответствии с представлениями Тюрмера о современной словесности.

По мнению Ирис Радиш, нарочито безыскусное произведение Инго Шульце можно считать попыткой "продлить жизнь соцреализма в западных условиях". В своих письмах Тюрмер часто говорит об "утрате искусства письма", о "разрушении 'я'", "потере ориентации". "Новые жизни" — подлинное свидетельство этих утрат, аранжированное долей самоиронии.

О современной "экономической действительности" идет речь и в книге Райнхарда Йиргля "Отщепенцы. Роман невротической эпохи" (Reinhard Jirgl. Abtrünnig. Roman aus der nervösen Zeit. — München: Hanser Verlag, 2005). 26 января 2006 года за роман "Отщепенцы" Йирглю была вручена Бременская литературная премия.

"Отщепенцы" одновременно притягивают и настораживают критиков. "Своя" орфография и пунктуация в духе Арно Шмидта, "темный" стиль, гневные инвективы в адрес современного социума могут показаться утомительными, трудными для читательского восприятия. С другой стороны, об Йиргле пишут как о современном экспрессионисте, а подлинным "главным героем" "Отщепенцев" называют Берлин.

В романе два основных героя: журналист из Гамбурга, влюбившийся в своего психотерапевта, и бывший пограничник из ГДР, который когда-то помог молодой украинке нелегально пересечь границу Германии. Оба приезжают в Берлин ради любимой женщины. Журналист хочет жить в одном городе со своей возлюбленной, а бывший пограничник надеется найти в Берлине поселившуюся там украинку.

Как заметил один из критиков, Йиргль "не стремится облегчить задачу своему читателю". Две сюжетные линии "смонтированы" таким образом, что порой не сразу понимаешь, о ком из героев идет речь в данном эпизоде, сбивает с толку и нарушение хронологии. В книге много мрачных описаний современной действительности, фрагментов снов, отрывков из вымышленных рукописей, афоризмов о социальном устройстве. В романе действует система ссылок вроде той, что использует Кортасар в "Игре в классики", рассчитанная на нелинейное чтение.

Автора "Отщепенцев" называют современным последователем экспрессионизма, потомком раннего Брехта и Дёблина, наследником Генриха Манна. В интонациях Йиргля чувствуется насмешка над современным обществом, как и уверенность в том, что мир зол по своей природе.

Один из критиков назвал "Отщепенцев" "злостью, принявшей форму книги". Отвращение внушают повествователю и он сам, и все вокруг. Как отмечает рецензент "TAZ", здесь "в каждом дворе царит запах гнили, каждое старинное здание — потенциальная руина, а каждая квартира — каменный гроб". В романе и в самом деле нет и страницы без картины распада, смерти, разрушения.

"Мерзость запустения", царящая в мире, "прорастает" сквозь души и судьбы героев. "Frankfurter Rundschau" считает, что это произведение о последних вопросах — о жизни и смерти, начале и конце, гибели и спасении. Как отмечает обозреватель, в книге идет речь "о днях рождения, о днях смерти и обо всем том, что помещается между ними: о рабочих днях. Или, вернее, о днях безработицы". Как пишет Йиргль, быть "отщепенцем" — значит "быть безработным внутренне". Это состояние можно узнать не по "одежде цветам косметике татуировкам & позам", но по тому, что для человека "смерть желаннее необходимости жизни-в-скуке". "Есть только эта = 1 жизнь? И в ней внутренне безработные, вдруг за 1 час, гаснут; люди из пепла. Речи их не Да Да не Нет Нет; они отталкивают сам вопрос. <...> Воистину, им уже ничем не помочь" — так Йиргль описывает суть "внутренней безработицы".

Островком надежды в этом море отчаяния становится слово, письмо, противостоящее всеобщему распаду. Возлюбленная одного из героев, психотерапевт, советует ему писать, потому что упрямство и стойкость текста на бумаге способны спасать. "Книга живет отчаянной попыткой связать черные буквы в красную нить, которая на время чтения соединяет разрозненное 'я'", — пишет рецензент "Frankfurter Rundschau". В такой интерпретации "Отщепенцы" воспринимаются как роман о романе — книга, рассказывающая свою собственную историю.

Новое сочинение Даниэля Кельмана "Измерение мира" (Daniel Kehlmann. Die Vermessung der Welt. — Reinbeck bei Hamburg: Rohwolt Verlag, 2005) — роман совсем иного плана. Кельман развлекает читателя, сообщая ему при этом массу полезных сведений.

Успех "Измерения мира" у публики огромен. В январе книга больше двух недель занимала первое место в списке бестселлеров журнала "Spiegel". Права на ее перевод уже закуплены в 15 странах мира. Триумфальное шествие началось с волны хвалебных рецензий, появившихся практически во всех немецких изданиях. Сочинение тридцатилетнего Кельмана называют "сенсацией", "триумфом современной немецкой литературы", "одним из наиболее успешных романов не только последних лет, но и всего послевоенного периода".

"Измерение мира" — это ироничное, насыщенное историческими фактами, увлекательное повествование о двух великих ученых: Александре фон Гумбольдте и Карле Фридрихе Гауссе, в котором переплетаются, по выражению самого Кельмана, две "романные биографии". Отправной точкой является встреча на конгрессе 1828 года двух людей, абсолютно противоположных друг другу по психическому складу, научным принципам, стилю жизни.

Рассказ о неутомимом путешественнике, эмпирике Гумбольдте соседствует с рассказом о домоседе Гауссе, создающем гениальные математические уравнения. Книга насыщена как биографическими подробностями, так и сведениями из истории науки. Тут и детские годы героев, и пылкие любовные увлечения Гаусса, и тайная склонность Гумбольдта к мальчикам, и экспедиции в экзотические страны, и научные открытия.

Гумбольдт и Гаусс — воплощение не только разных научных подходов, но и разных взглядов на жизнь. Гумбольдтом движет честолюбие — жажда признания и славы, стремление к первенству. Наука для него — коллекционирование фактов, во время путешествий он не открывает

новое, а регистрирует данные, полученные с помощью измерительных приборов. В письмах к брату Вильгельму, посланных из экспедиций, он умалчивает о своих неудачах, желая лишь одного: предстать в самом выгодном свете.

В отличие от Гумбольдта, Гаусс не зависит от эмпирики и техники, его рабочий "инструмент" — феноменальные умственные способности. Иные научные открытия он не публикует и даже не записывает, считая их слишком элементарными: он предоставляет "ослам" возможность сделать их со временем самостоятельно.

Образ Гумбольдта в романе воспринимается как обобщенный портрет современного информационного общества: ученый, нацеленный на архивирование всевозможных фактов и не задумывающийся над смыслом их бесконечного накопления. Он ориентирован на внешнее, его интересует успех. И в самом деле, ему удается привлечь внимание прессы, добиться славы. Гаусс же служит науке бескорыстно, не заботясь об успехе и признании.

Однако чем дальше разворачивается повествование, тем больше сближаются образы главных героев. Ученые не только встречаются (Гаусс, по настоятельной просьбе Гумбольдта, приезжает на конгресс в Берлин и останавливается у него на ночлег), но постепенно их образы сближаются, а голоса как бы сливаются в один — мало-помалу мы начинаем замечать их сходство. Старение, приближение смерти, угасание способностей, слабость и болезненность стирают различия, и в конце романа вдруг становится ясно, что главное тут в том, что оба они — люди.

На последних страницах герои вступают в диалог "на расстоянии": находясь далеко друг от друга, они не прерывают общения, и взаимопонимание их столь велико, что каждый то и дело подхватывает мысли другого. В конце романа они отчасти меняются местами: Гаусс впервые ощущает, что честолюбие ему отнюдь не чуждо, а Гумбольдт, совершая поездку по царской России, начинает понимать никчемность славы.

Политические события в годы наполеоновских войн и в эпоху реставрации служат фоном романа, не лишенного едких намеков на некоторые современные реалии. Так, когда Гумбольдт путешествует по России, за ним, якобы в целях безопасности, устанавливают неусыпный надзор. В результате научная экспедиция превращается в череду светских раутов. Время от времени Гумбольдт видит, как за окном кареты идут колонны заключенных, но его попытки заговорить с кем-нибудь из узников тут же пресекаются:

> В честь Гумбольдта были устроены приемы во всех европейских посольствах. Несколько раз он ужинал с царской семьей. Министр финансов, граф Канкрин, удвоил сумму, выделенную на поездку.
>
> Он благодарен, сказал Гумбольдт, хотя с грустью вспоминает те годы, когда сам финансировал свои путешествия. Нет никаких поводов для грусти, сказал Канкрин. Он может пользоваться полной свободой, а вот — и министр придвинул к Гумбольдту лист бумаги — санкционированный маршрут путешествия. Его будет сопровождать эскорт, будут встречать на каждой станции, все губернаторы получили указание позаботиться о его безопасности.
>
> Он даже не знает, сказал Гумбольдт. Он хотел бы свободно передвигаться: ученому следует импровизировать.
>
> Только в том случае, если он не разработал хорошего плана, заметил Канкрин с улыбкой. А этот план, обещаю, просто превосходен.

Временами описание пребывания Гумбольдта в России напоминает прозу Кафки: например, в одном городе в комнату разболевшегося ученого, непонятно зачем, вселяют двух охранников — редкостных храпунов.

Автор "Измерения мира" откровенно иронизирует и над самим собой. В предпоследней главе романа постаревший Гаусс размышляет: "А то, что происходит сейчас, — всего лишь то, что должно было произой-

ти рано или поздно: мы надоели тому, кто нас придумал". Стареющий ученый под "тем, кто нас придумал", возможно, имеет в виду Создателя, но у читателя есть все основания предполагать, что речь здесь и о создателе данного текста.

Помимо оппозиции "Гумбольдт—Гаусс" в романе есть и противопоставление братьев, Вильгельма и Александра Гумбольдтов. "Нам рано внушили, что жизнь нуждается в публике. <...> Из-за тебя я хотел стать министром, из-за меня ты стремился попасть на самую высокую гору и в пещеры, для тебя я создал лучший университет, для меня ты открыл Южную Америку, и лишь дуракам, которые не понимают, что значит жизнь в удвоении, для обозначения всего этого в голову пришло бы слово 'соперничество': я должен был стать наставником и учителем целого государства, потому что на свете был ты, а тебе необходимо было стать исследователем целой части света, потому что существовал я. Поступать так — что могло быть уместнее! А ведь мы оба всегда безошибочно чувствовали, что уместно, а что нет", — пишет Александру его старший брат. Тема взаимоотношений братьев очень важна для романа. Если Гаусс и Гумбольдт во многом дополняют друг друга и воспринимаются как воплощение различных сторон одной личности, братья Гумбольдты на протяжении всего романа остаются антагонистами.

Жизнь "измерителей мира" написана так изящно и увлекательно, что некоторые немецкие критики задаются вопросом: "А было ли на самом деле все так, как описано в романе?" Некоторым из них даже удается найти ответ на этот вопрос, и ответ — отрицательный. В частности, оказывается, Кельман отправляет в путешествие "не того" сына Гаусса, вообще не упоминает о дочери ученого, которую, согласно источникам, Гаусс безумно любил. Автор "Измерения мира" "играет" в историю, явно допуская сдвиги в исторической "правде".

Несколько сдержаннее, чем прочие издания, оценивает этот роман "Die Zeit". Отмечая его достоинства, еженедельник пишет, что ожидал от молодого и талантливого автора большего. Рецензенту "Die Zeit", очевидно, не понравилось как раз то, что привлекло большинство читателей, не желающих ничего "вымышленного". "Die Zeit" хотелось бы большего погружения в "метафизическое и иррациональное", "вторжения Другого в расчисленный мир". По мнению "Die Zeit", Кельман воссоздает "в романной форме двойную биографию, увлекательную, умно и хорошо сделанную, из которой к тому же можно извлечь кое-что полезное", однако книге не достает "литературной смелости, желания поиграть и пофантазировать, связи с настоящим".

Достаточно резкий отзыв на этот роман принадлежит и Андре Хилле, автору рецензии в интернет-издании "literaturkritik.de". Хилле отмечает, что наиболее сильная сторона книги — стремительное действие, умело создаваемое напряжение. Однако, по мнению рецензента, Кельман ради этого жертвует точностью и тонкостью прорисовки характеров.

Роман "Измерение мира" вошел в шорт-лист Немецкой книжной премии ("Der Deutsche Buchpreis"), присуждавшейся впервые осенью 2005 года. Эта премия задумана как главная литературная награда Германии, сопоставимая по рангу с Гонкуровской или Букером. Она присуждается за лучший немецкоязычный роман. Члены жюри прочитали в общей сложности 150 романов, поданных на конкурс. В августе 2005 года был опубликован лонг-лист премии, а 12 сентября стали известны имена финалистов. Помимо "Измерения мира", в шорт-лист вошли романы Арно Гайгера, Фридерике Майрёкер, Томаса Лера, Герта Лошюца и Гилы Люстигер. Первая премия была присуждена роману австрийца Арно Гайгера "У нас все хорошо" (Arno Geiger. Es geht uns gut. — München: Hanser Verlag, 2005).

"У нас все хорошо" – это нечто большее, нежели просто роман об Австрии и истории одной австрийской семьи. В центре повествования – то, что обычно утаивают, о чем говорят лишь наедине с собой. "'У нас все хорошо' – серьезный роман об упущенных возможностях, о власти мыслей и расхождениях между ними и поступками. Глубокая и удавшаяся книга", – пишет о романе Арно Гайгера "Die Zeit".

История семьи Штерков, ничем особенно не отличающейся от других австрийских семей, предстает в романе как "абсурдная последовательность цепных реакций" ("Die Zeit").

Филипп Эрлах, потомок Штерков, унаследовавший в 2001 году дом своей бабушки Альмы, вынужден разбирать доставшееся ему от предков имущество и приводить в порядок старый семейный дом. На чердаке скопилось столько голубиного помета, что очистить его без респиратора и специальной техники просто невозможно. Для этой работы приглашают наемных рабочих, однако Филипп все равно страдает: запущенным домом приходится заниматься, он властно требует внимания к себе. И покуда рабочие слой за слоем удаляют грязь с чердака, с годами превратившегося в голубятню, герой романа, никогда не интересовавшийся семейной историей, пытается – шаг за шагом – воссоздать утраченное прошлое. Будучи профессиональным литератором, Филипп начинает писать *собственную предысторию.*

Гайгеру важны прежде всего "маленькие", не заметные внешнему наблюдателю, события семьи Штерков. Его интересует расстановка сил между чадами и домочадцами, взаимоотношения сильного отца и свободолюбивой дочери, обманутой жены и изменяющего ей мужа. Из таких "маленьких трагедий" складывается история рода, все эти незначительные на первый взгляд события определяют будущее семьи. При этом автор не теряет из виду и "большой" истории Австрии, и читатель ни на секунду не забывает о том, где, в какой стране разворачивается действие.

"У нас все хорошо" Гайгера некоторые критики сравнивают с книгой Евы Менассе "Вена. Роман", вышедшей в свет весной прошлого года (Eva Menasse. Vienna. Roman. – Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2005). Ева Менассе (сестра известного австрийского писателя Роберта Менассе) – начинающая писательница, ранее занимавшаяся только журналистикой. В ее романе, весьма благосклонно принятом публикой, речь также идет об истории одной австрийской семьи. Глава ее – еврей, и судьба семьи, сложившаяся совсем иначе, заставляет задуматься над совсем другими вопросами, нежели судьба Штерков.

Осенью 2005 года была опубликована новая книга известной австрийской писательницы Ильзы Айхингер – "Невероятные путешествия". Это уже вторая книга Айхингер, опубликованная ею за последние годы после многолетнего молчания. Восьмидесятичетырехлетняя Айхингер, путешествующая по далеким окраинам своих воспоминаний, создает тонкие, поэтичные миниатюры о прошлом. Еврейка по материнской линии, она чудом выжила в Вене во времена национал-социализма – выжила и спасла дочь.

"Путешествуя" от воспоминания к воспоминанию, Айхингер как бы "спасает" многих людей от забвения. Благодаря ее книге гибель родственников со стороны матери, смерть мужа, сына и трагически погибшего в 2004 году сорокатрехлетнего друга и издателя кажутся неокончательными: "погибшее" становится "спасенным".

Айхингер часто возвращается мыслями в годы Второй мировой войны. Отправной точкой ее путешествий в минувшее нередко становится нечто на первый взгляд пустячное: открытки, мелкие вещицы. "Невероятные путешествия" построены на ассоциациях и плавных переходах от одной темы к другой;

не лишены они и горького сарказма — так, Айхингер вспоминает о людях, отказавшихся помочь ее семье в критической ситуации, но впоследствии погибших во время налета.

Одним из центральных событий немецкой литературной жизни осенью 2005 года стало присуждение премии имени Георга Бюхнера писательнице Бригитте Кронауэр. Ее стиль считают "темным" и "герметичным", ее произведения никогда не пользовались спросом у массового читателя. В одном из интервью, которое она дала по случаю присуждения ей этой высокой литературной награды, Кронауэр высказала надежду на то, что благодаря премии Бюхнера ситуация изменится: "темным" могут считать ее стиль только те, кто не прочитал больше одной страницы. Как отмечает один из критиков, читатель, сумевший преодолеть трудное начало, не сможет отложить книгу в сторону.

В 1970 году тридцатилетняя Кронауэр оставила профессию учителя, чтобы полностью посвятить себя литературе. Начинающая писательница решила следовать законам своего внутреннего развития, а не требованиям широкой публики. Успех пришел к ней только в 1980-м, когда вышел в свет ее первый роман "Госпожа Мюленбек в футляре" (Frau Mühlenbeck im Gehäus. — Stuttgart: Klett-Cotta, 1980). Далее последовала трилогия: "Рита Мюнстер" (Rita Münster. — Stuttgart: Klett-Cotta, 1983), "Конный лучник" (Berittener Bogenschütze. — Stuttgart: Klett-Cotta, 1986) и "Женщина в подушках" (Die Frau in den Kissen. — Stuttgart: Klett-Cotta, 1990). В 2000 году был опубликован роман Кронауэр "Чертов мост" (Teufelsbrück. — Stuttgart: Klett-Cotta, 1990), а в 2004 — роман "Тяга к музыке и горам" (Verlangen nach Musik und Gebirge. — Stuttgart: Klett-Cotta, 2004).

"Мир можно вынести лишь в том случае, если воспринимаешь его как неизбежного спутника любви", — читаем мы в "Тяге к музыке и горам". В одном из интервью Кронауэр говорит о литературе как о "мере противодействия действительности". В эпоху массовой культуры Кронауэр отстаивает ценность индивидуального, субъективного взгляда на мир, уникальность и неповторимость каждого человека.

Жюри Бюхнеровской премии назвало Кронауэр "мастером загадочной игры, высокой радости и музыкального письма", мастером, который "все свое умение изобразить мнимую банальность, чувство комического, эротизм письма и способность к сарказму обращает против двусмысленности, свойственной человеческому поведению".

Привычное предстает в романах и рассказах Кронауэр в неожиданном свете, и в то же время мы ощущаем: суть нашего мира именно такова. "Мы еще никогда не видели людей и предметы, ландшафты и пешеходные зоны в таком свете — непривычно и одновременно очень точно, столь приближенно и под таким углом зрения", — пишет о творчестве Кронауэр рецензент "Neue Zürcher Zeitung". Прозу Кронауэр отличает любовь к детали, точность описаний, языковая игра, насыщенность аллюзиями и реминисценциями.

В своих интервью писательница часто обращается к теме превосходства отдельной личности над "людьми толпы" и "людскими толпами". Это же прозвучало и в ее речи на церемонии вручения Бюхнеровской премии: Кронауэр говорила о "феноменальной неповторимости" каждой личности, "бездонной загадочности" людей всех без исключения — "неприкосновенной, как человеческое достоинство".

Лауреатом премии имени Ингеборг Бахман, присуждающейся начинающим авторам, в 2005 году стал Томас Ланг, автор романа "На канате" (Thomas Lang. Am Seil. — München: Verlag C. H. Beck, 2006). Целиком книга была опубликована лишь в начале 2006 года, премия же была присуждена за последнюю ее главу, представленную на конкурс 2005 года.

Роман "На канате" посвящен сложным взаимоотношениям не-

удачливого и слабого сына и авторитарного отца, состарившегося и узнавшего, что такое слабость, на собственном опыте. Сын, из-за скандала вынужденный уйти с работы на телевидении, виновный в водительской ошибке и гибели своей несовершеннолетней подруги, уже десять лет как не виделся с отцом. Он приезжает навестить его в дом престарелых. Отец, бывший учитель физкультуры и в прошлом крепкий фермер, уговаривает сына съездить вместе на их старую ферму. В конце романа отец и сын стоят в большом сарае, обвязанные одним канатом, и впервые в жизни решаются проявить нежность по отношению друг к другу.

Критики особо отмечают ясный и точный стиль книги, в которой все просчитано и продумано до мелочей. Но, как пишет один из рецензентов, Ланг бежит всякой неоднозначности, он все разъясняет — можно сказать, разжевывает. Среди недостатков романа отмечают и слабость пространственных описаний, что особенно заметно в заключительной сцене.

Получив возможность прочитать весь роман, а не только его последнюю главу, удостоенную премии имени Ингеборг Бахман, некоторые критики задались вопросом о том, что же заставило жюри присудить премию именно Томасу Лангу. Иными словами, "полная версия" "На канате" некоторых рецензентов явно разочаровала. Да, это качественная, почти безукоризненная проза. Да, красиво, на современный лад раскрыта вечная тема отношений отца и сына. Автор обещает стать модным и "раскрученным" — у него, например, есть прекрасно составленный интернет-сайт. Очевидно, на выбор жюри повлияли все эти факторы: "ставка", сделанная на такого автора, как Ланг, способна поддержать известность и престиж премии.

Роман "На канате" вошел в список номинантов на премию Лейпцигской книжной ярмарки 2006 года. В прошлом, 2005 году лауреатом этой премии стала Терезия Мора, автор романа "День за днем" (Terézia Mora. Alle Tage: Roman. — München: Luchterhand Literaturverlag, 2004). "День за днем" — о том, как к людям приходит одиночество, о том, как мы порой проходим мимо, не оказав человеку помощи, которая не только необходима ему, но и не может быть оказана никем, кроме нас, в этой конкретной ситуации. Роман о многоязычии и безъязыкости, о молчании и крике. К этой книге особо применимы слова, сказанные о Феллини: она "кричит о том, как нужны человеку сочувствие, понимание. И хоть кроха любви". Автору, венгерке по происхождению, пишущей по-немецки, удается показать амбивалентность этого мира, сложное сочетание светлых и темных сторон в каждом человеке. В 2006-м Терезия Мора вошла в состав жюри Немецкой книжной премии, которая будет присуждаться грядущей осенью. До опубликования лонг-листа премии осталось недолго...

Стивен Фрай

Неполная, но окончательная история классической музыки

Фрагменты книги

Перевод с английского С. Ильина

Введение

НЕУМЕНИЕ правильно напеть хотя бы одну ноту – это и благословение и проклятие сразу. Вернее сказать, ноту, которая входит в состав мелодии. Из-за присущей мне неспособности заставить гортань издать звук, хотя бы отдаленно схожий с чем-то приятным для слуха, я ощущаю себя – и далеко не в одном только смысле – едва ли не человеком палеолита. Очень это меня удручает. Помню один на редкость скверный день, когда размышления о сходстве моих вокальных дарований с теми, что присущи полезным для пищеварения крекерам, довели меня до того, что я еле-еле смог выволочь мои кости из кровати и проволочь их по полу спальни. Но, с другой стороны, как и всякий, кому постоянно приходится выслушивать обвинения в сходстве с первобытным человеком, я ощущаю куда более чем мизерное сродство с тем существом, которое впервые сподобилось испустить – совершенную там или не совершенную, – но, во всяком случае, музыкальную ноту. Разумеется, никто порядком не знает, что это было за существо, – сведения о добром деле, им содеянном, утратились за века, в которые шансы сохранить оригинал какого ни на есть документа были еще даже меньшими, чем в эпоху "Уотергейта". А кроме того, легко со-

© by Stephen Fry, 2004
© С. Ильин. Перевод, 2006
Полностью книга будет опубликована в издательстве "Фантом Пресс".

образить, что это был вовсе и не один человек, но коллектив людей, работавших — кто по отдельности, кто скопом — на царей и цариц, фараонов и императоров, а то и на целые царства и династии.

Так что можно с полной уверенностью сказать, что этому даровитому мужу (а он, увы, почти наверняка был именно мужем), проведшему нас от хрюканья к хорам — от варварского воя к упоительному покою, — места в исторических трудах так никогда и не найдется. "Я, знаете ли, придумал для папы Григория кантус плянус" — такого рода похвальбы, может, и годятся для пивной, но места в Зале славы Евтерпы♪ они вам точно не доставят. И не подумайте, даже на минуту, будто моя книга сможет пролить на этих людей хоть какой-нибудь свет. Не сможет. Она, знаете ли, названа "неполной, но окончательной" историей не просто так. <...>

Рождение

Итак. Официальное начало положено. РОВНОЕ ПЕНИЕ. Прекрасное, на одной, как правило, ноте. На свет появилась музыка — благодаря соединенным усилиям святых Амвросия и Григория. Следующий, на кого стоит полюбоваться в той рубрике истории музыки, что носит название "Фабрика звезд", это человек по имени Гвидон. Нет-нет, царь Салтан тут решительно ни при чем.

Простите за спешку, но мне еще эвон сколько веков придется отмахать. Так что я позволю себе перескочить через несколько сот лет, идет? Во главе ООО "Британия" стоит ныне король Кнут, большой популярностью пользуются палочные наказания. Все замечательно. И вот, не успели мистер и миссис Хайям поместить в "Персидских новостях" крошечное объявление о рождении маленького Омара, как в распоряжение музыкального мира уже поступила новая система, изобретенная человеком по имени Гвидон д'Ареццо. Именно он проложил путь для другого мистически одаренного музыканта, для уже упоминавшейся выше великой Джулии из Эндрюса.

Как позволяет заключить его имя, Гвидон, или Гвидо, провел значительную часть жизни в итальянском городе Ареццо, стоящем примерно в тридцати километрах к северу от Тразименского озера. Он был бенедиктинским монахом, перебравшимся сюда из родного Парижа.

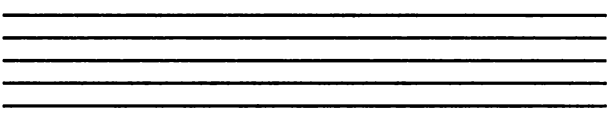
Гвидо придумал слова, отвечавшие каждой из нот, или, как сказала об этом сама королева Джулия: "Начинать надлежит с начала, ибо лучшего почина измыслить не можно. Егда некий человек научается чтению книжному, то первым делом изначальные три знака уразумевает — Аз—Буки—Веди, того для и ты, коегожды петь приступая, починай с 'до—ре—ми'". Э-э, эт цэтэра.

Хотя, если честно... примерно к этому все и сводится. Так что, когда будете в следующий раз беседовать с кем-то о "Звуках музыки", попробуйте-ка обронить: "Ах да, старая тоническая система сольмизации, которую ввел в одиннадцатом веке Гвидо д'Ареццо. Или это была все-таки группа 'Степс'?"

На самом деле, старина Гвидо много чего понаделал. В том же самом году, как раз когда китайцы окончательно довели до ума изобретенную ими симпатичную, пусть и смертоносную смесь древесного угля, серы и нитра-

♪. Евтерпа, между прочим, была одной из девяти муз и специализировалась как раз по музыке.

та калия, она же порох, а по всей Европе только и разговоров было, что о поэме с невразумительным названием "Беовульф" (ну, то есть либо так, либо все они там перепились), наш человек в музыкальном мире придумал еще и маленькую штучку из пяти строк, на которой ныне вся музыка и пишется, штучку, именуемую нотоносцем, или нотным станом. Вот она.



Ни один музыкант, имея ее в руках, с дороги уже не собьется. Если, конечно, он не катает в это время в машине своих развеселых подружек. Как бы там ни было, происхождение нотоносца датируется **1000-м** годом.

Удрученным студентам консерваторий потребовалось еще несколько сот лет, чтобы сочинить мнемонические фразы наподобие "Люди Могут Делать Соль", "Мрачный Соломон Сиротливо Растит Флоксы" или особенно мною любимой "Сопливый Месяц Доит Лысого Рака"♪ и запомнить с их помощью ноты. Вообще говоря, Гвидо не помешал бы собственный пиарщик, поскольку в большинстве своем люди о нем и слыхом не слыхивали. Возможно, ему стоило бы прибавить к своему имени какой-нибудь энергичный инициал... сейчас, постойте: Гвидо Г. д'Ареццо. Могло и сработать. Его бы сразу заметили. Нет сомнений, живи он в наши дни, ему присвоили бы прозвание вроде Гвид-о-ктава – просто для того, чтобы имя его пережило века.

Гвидо д'Ареццо умер в **1050-м**. Ровно сорок восемь лет спустя появился еще один музыкант, подвизавшийся в том же, примерно, мире – проводя дни в молитвах и созерцании. И он тоже внес в музыку значительный вклад – может быть, и не такой осязаемый и долговечный, как у Гвидо с его пятью линейками, но тем не менее важный. Этот человек, родившийся в **1098-м**, воистину поднял музыку на новые высоты, заставил всех обратить на нее внимание. Однако более поражает нас в этом композиторе, аранжировщике, поэте и мечтателе одно редкостное качество... он был женщиной!

От нотного стана к женскому

Из всего, что имело отношение к аббатисе, композитору, "сновидице" и вообще всесторонне эксцентричной даме по имени Хильдегарда Бингенская, мне всегда казалось особенно удивительным одно, а именно – она вовсе таковой не была. Это я насчет "Бингенская". Она и не *родилась* в Бингене, и не *жила* в Бингене, и не в Бингене *умерла*. Если, узнав об этом, вы решите, что можете с не меньшими основаниями именовать ее Хильдегардой Бэйсингстокской или Хильдегардой фон Симондс-Йейт, что ж, дело ваше. Нет, все-таки родилась она в Рейнгессене, а скончалась в Рупертсберге, и по крайней мере Рупертсберг, стоящий в шестидесяти, примерно, километрах к юго-западу от Штутгарта, расположен *рядом* с Бингеном. И отлично. Рад, что так понятно все объяснил.

♪. Что, разумеется, представляет собой нисходящие ступени скрипичного ключа. Далее: "Люди Могут Делать Соль" – это восходящие ступени басового ключа, а "Мрачный Соломон Сиротливо Растит Флоксы" позволяет запомнить восходящие линейки табулатуры. Рад, что мне удалось так понятно все объяснить.

Хильдегарда была женщиной безусловно замечательной, женщиной, с таким же удовольствием помогавшей советами епископам — и даже Папам, — с каким она приготовляла припарку из травяных настоев, смешанных по ее собственному рецепту. С самых юных лет Хильдегарду посещали видения, и из-за них ее совсем еще молодой женщиной определили в "анахоретки". Анахоретки представляли собой что-то вроде гибрида монахини с инструктором спецназа по выживанию, так что Хильдегарда, приняв постриг, тут же попала в одиночное заключение.

В возрасте сорока двух лет ее посетило видение, давшее ей, по ее же словам, полное понимание религиозных текстов, и начиная с этого времени она стала записывать все свои сны и наития. Ныне главными ее достижениями почитаются музыкальные. Она оставила большое число хоралов, слова для которых нередко сочиняла сама — вместо того чтобы перелагать на музыку распространенные в то время тексты. Мне и теперь представляется печальным, что Хильдегарда известна ныне не только потому, что она была одним из первых значительных композиторов, оставивших нам музыкальные записи, но и потому, что она была среди них ЕДИНСТВЕННОЙ женщиной. Ну что же. Как сказал мистер Браун[1], это мужской мир. <...>

Я о чем говорю-то? Давайте возьмем в одну руку портрет Хильдегарды, а в другую наполненный вином кубок, покажем себе крупным планом **1179-й** и поднимем тост за ее ничуть не ведьмячью эксцентричную музыкальность. <...>

Карма–карма–карма–карма–Кармина Бурана... *ты то явишься, то растворишься...*

Напомните мне, чтобы я рассказал вам о carmina burana, и лучше прямо сейчас. Составлена она была году примерно в 1200-м. И представляла собой сборник монастырских песенок, из которых многие имели основой довольно смачные латинские и немецкие стихи, найденные в Бенедиктбейрне, расположенном в той части нынешней Баварии, которая тогда называлась Богемией.

Несмотря на монастырское их происхождение — а скорее всего, по причине монастырского их происхождения, — стихи эти трактуют темы любви и... пьянства, и... как бы это сказать... любострастия! Эти похабные баллады сочинялись примерно в то же время, когда был основан Кембриджский университет, однако оставались относительно малоизвестными добрых восемь столетий с лишком, пока родившийся в Мюнхене композитор и педагог Карл Орф не использовал их в своем сочинении 1937 года, которое назвал просто: "Кармина Бурана". Я тут записал себе для памяти, что надо будет упомянуть о нем, когда мы доберемся до того времени, а пока пойдем дальше.

Эстрадные комики. Они тоже появились примерно в это время. Скорее всего, назначение их состояло в том, чтобы дать музыкантам пе-

1. Американский соул-певец. (*Здесь и далее, кроме сносок, помеченных нотными знаками, – прим. перев.*)

редышку, позволить им принять по рюмочке в баре, что-то в этом роде. Разумеется, называли их тогда придворными шутами, а популярность они начали приобретать где-то в начале XIII столетия. Кроме того, подрастало многое множество кафедральных соборов: работы велись в Реймсе, Солсбери, Толедо, Брюсселе и Бургосе; а заодно сооружались: новый собор в Амьене (старый сгорел — небрежное обращение с огнем!) и фасад Нотр-Дам. В общем и целом, если на твоей визитной карточке значилось: "Кит Дешевка — Строитель кафедральных соборов", ты, сколько я могу судить, даже при столь неказистой фамилии зарабатывал приличные деньги. Что и приводит меня, пусть мне того и не хочется, к **1225-му**, к "следующей большой сенсации".

Острие вдохновения

Первым делом, попробуем помедлить немного в 1225-м и на скорую руку оглядеться. Так вот, Великая хартия выходит третьим изданием. Совсем неплохо для сочинения с таким унылым концом и без стоящей интриги. Что касается знаменитостей этого времени, то, с одной стороны, у нас имеется Франциск Ассизский, которому осталось прожить один год. С другой стороны — что с другой, то с другой, — наличествует мистер Хан, друзья называют его Чингизом. Это время последних крестовых походов, монгольского вторжения в Россию и сыплющихся дождем папских отлучений. Собственно, шагу невозможно было ступить, чтобы вас не отлучили. Стоило вам, скажем, всего-навсего вторгнуться в Шотландию, и тут же — ХРЯСЬ! — отлучение.

Все это лишь кое-какие подробности, касающиеся 1225-го, ну, мы словно бы забрались на самую высокую гору и поозирались по сторонам. А как же само "время"? Каково оно на вкус, на запах? — если вы понимаете, о чем я. И каким оно было в отношении музыкальном? Так ведь я потому и распространялся о том, что, куда ни глянь, везде подрастают кафедральные соборы. Давайте-ка на минутку влезем в шкуру человека Средневековья.

Соборы. О соборах необходимо знать две вещи. Они далеко не дешевы, а возведение их отнимает чертову пропасть времени. Их не продают в разобранном виде — уложенными в плоскую коробку, содержащую составленную какой-то бестолочью инструкцию и неполный комплект шурупов. Возведение соборов растягивалось на сроки жизни нескольких поколений. И это позволяет нам понять, в чьих руках находились в 1225-м все деньги. А также — в каком состоянии пребывал музыкальный бизнес в 1224-м. Дело, видите ли, в том, что для заполнения соборов требуются не только люди, но и музыка. В 1225-м слово МУЗЫКА состояло, по преимуществу, из девяти букв и писалось так: ЦЕРКОВНАЯ музыка. Хотя для уличных охламонов музыка была также и изустной, не лишенной сходства с герпесом — в том смысле, что и она передавалась из уст в уста. Ладно-ладно, сходство не шибко полное, но вы же меня поняли. Разумеется, существовали места, в которых вы могли получить музыку и в записанном виде — если были человеком достаточно состоятельным. Но, вообще говоря, норму составляла в то время компания темных личностей с физиономиями, сильно смахивавшими на коровье вымя, распевающих в продуваемых всеми ветрами зданиях нечто однотональное. Немного похоже на нынешнюю фолк-музыку. <...>

Франко – в генеральном смысле

Другими светилами, которые отбрасывали затухающий свет на ars antiqua, были люди наподобие Франко Кёльнского♪. Франко Кёльнский – я понимаю, звучит это так себе, но хорошо уж и то, что он устоял перед искушением записаться в генералиссимусы, – был человеком, которому приписывают заслугу установления длительности нот. Сейчас об этом и говорить-то, пожалуй, странно, но ведь кто-то же должен был этим заняться. Подобно тому, как Григорий Грандиозный навел порядок в ровном пении, Франко, всерьез взявшись за ноты, постановил, каким образом надлежит указывать длительность каждой. И разложил все это дело по полочкам в небольшой книжке, названной De musica mensurabilis, или, если угодно, "О музыке и мерках": похоже на заглавие утраченной рукописи Джона Стейнбека, не правда ли?

До той поры принятая повсеместно система указания длительности нот отсутствовала. Франко же стандартизировал "бревис" как единицу музыкальных измерений.

Полубревис выглядит так: 𝅜 – и длится четыре доли.

А вот это 𝅗𝅥 минима, она длится две доли.

Ну и так далее, вплоть до ♩, крючок (одна доля), и миловидной, хоть и получившей странное название "полу-деми-семитрель" 𝅘𝅥𝅯 – своего рода фея Тинк среди нот: хотите, верьте, что она существует, хотите нет.

Машо это хорошо

Теперь о трех главных именах в музыке, какой она была после **1300** года. Де Машо, Данстейбл и Дюфаи. Первый – носивший романтическое имя француз, поэт и композитор Гильом де Машо. Опять же прошу простить за очередное отступление, но какое все-таки прекрасное имя. Вот произнесите его сами – Гильом де Машо. Великолепное имя. Де Машо родился в 1300-м и довольно быстро понял, что обладает дарованиями не только поэтическими, но и музыкальными. К году **1364-му**, когда у него впереди было еще добрых четырнадцать лет жизни, его уже вполне можно было простить за то, что он жил себе спокойненько, мирно занимался своим ars nova и вообще получал от жизни удовольствие. Я что хочу сказать: если честно, в те времена дожить до шестидесяти четырех это уже было своего рода достижение, особенно если учесть тогдашнюю новую чернуху... или, как ее, "черную смерть". ("Ух ты, дорогуша, роскошно выглядишь, сдохнуть можно... А... так ты уже сдохла".)

Де Машо был одним из последних великих композиторов, успевших пожить в веке труверов и трубадуров, то есть французского варианта того, что у нас в Англии именовали менестрелями, а у немцев миннезингерами, сиречь певцами любви. Менестрели были хорошо оплачиваемыми свободными музыкантами, ведшими свое родословие от мимов древней Греции и Рима, разогнанных во время вторжения варваров. Изначально они были

♪. Знаете, мне все кажется, что в те времена вы могли выбирать себе имя примерно так же, как в наши дни выбирают себе происхождение новоиспеченные лорды. Сегодня вы можете без труда обратиться в леди Тэтчер Кестевенскую, или лорда Уилсона из Риволкса, или в кого захотите; более-менее то же самое вы могли проделать и тогда, только вам не нужно было дожидаться для этого, когда вы попадете в верхнюю палату Парламента. Этим занимались все и каждый. Лично я, пожалуй, предпочел бы зваться Фраем из Сохо. А может, даже... Фраем с Маршрута 77-го автобуса – опаздывал бы себе куда ни попадя и горя бы не знал.

актерами, бравшимися за музыкальные инструменты лишь для того, чтобы свести концы с концами, даром что в те времена это занятие почиталось довольно сомнительным (впрочем, в этом отношении и сейчас мало что изменилось). Если бы эта книга была Библией, в ней, скорее всего, значилось бы следующее: мимы родили шутов; шуты родили жонглеров; жонглеры родили трубадуров; трубадуры родили труверов; труверы родили деревенских скрипачей, а деревенские скрипачи родили менестрелей.

Если у вас возникало — в этом мире трубадуров, труверов и деревенских скрипачей — желание обнаружить в людской толпе менестреля, вы могли воспользоваться одним полезным правилом: трубадуры поют и читают стихи, деревенские скрипачи играют на танцах, а менестрели тают у вас во рту, но не в руках.

Что касается де Машо, то он, в соответствии с традицией труверов, прославился при жизни своей и стихами, и музыкой. Бывший в буквальном более-менее смысле современником "Декамерона", он родился в Арденнах, однако, ставши и ученым мужем, и священником сразу — а такое, я уверен, возможно, — подолгу и с удовольствием жил при дворах Иоанна Люксембургского и герцогини Нормандской. Но лишь в наваррские свои времена он положил все силы на то, чтобы достичь еще не достигнутого, осуществить еще не осуществленное, сотворить пока еще... несотворенное. Четырехголосную мессу. Никто до него не создавал мессы, которая разворачивалась бы, следуя законам гармонии, а эта еще и звучала как... в общем, хорошо звучала. Для того чтобы создать "правильную" четырехголосную мессу, можно, конечно, в точности следовать принятым правилам, а вот добиться того, чтобы она еще и радовала слух, — это совсем другая история.

Мессовая истерия

Итак, займемся четырехголосной мессой. Может ли композитор добиться того, чтобы четыре разных голоса (т. е. сопрано, альт, тенор и бас, к примеру) пели разные мелодии каждый, создавая при этом совершенную гармонию звучания?

Попробуйте, если получится, представить себе это так. В Реймсе стоит тихий, сырой и теплый вечер — великий миг, в который де Машо взойдет на свой Эверест, уже близок. Он и его команда соперничают с итальянцами за звание первых создателей музыкального святого грааля тех времен — четырехголосицы, — однако путешествие это оказалось опасным. <...> Впрочем, Машо не сдавался. Он знал, что сможет сделать это. Ни один известный истории композитор пока не смог, и стало быть, победителя ждут великие почести. Ну что же, наш выход! И в миг, которому предстояло навсегда войти в анналы истории как "то время, когда Гильом де Машо закончил свою мессу", он, явив себя во всем блеске, единым взмахом пера добавил к своему шедевру последнюю тактовую линию. Дело сделано, он знал это. Ему не требовались репетиции. Не требовалось напевать все сочинение маме. Он ЗНАЛ. То была первая в истории четырехголосная месса! Легенда гласит, что он, наклонившись к своему начальнику отдела кадров, произнес ставшие ныне бессмертными слова: "Bof! J'ai besoin d'une tasse de thé. Ou peut-être quelque-chose plus fort. Allons! Au tête du cheval". Или в переводе: "Уф! Я не отказался бы от чашечки чая. Или от чего покрепче. Не завалиться ли нам в "Конскую голову"?"

Великий миг. Действительно великий. Ars nova в лучшем виде. А сама месса? Ну что же, романтически настроенные хроникеры могли бы заверить вас, что ее в ту же ночь исполнили на коронации Карла V и что тем самым она положила начало недолгому, но обладающему прекрасными формами золотому веку французской музыки♪.

Карл был одним из тех не часто встречающихся монархов, которые любят музыку. При его правлении Франция приобрела положение светоча музыкального мира. С первого же года воцарения Карла и до истечения первых двадцати с чем-то годов XV столетия Франция оставалась центром музыкальной вселенной — ее столичным городом, если угодно, — блеск которого отражался в раздельных, но соотнесенных мирах французской готической архитектуры и учености, символом коей стал Парижский университет.

Ну хорошо, с Францией все понятно, а как же добрая старая Англия? Кто создавал стандарты создания стандартов в мире музыки? Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует обратиться к Данстейблу — городу и человеку.

Первый ритмический метод

Джон Данстейбл почти наверняка родился в Данстейбле, и само имя его является, скорее всего, переделкой Иоанна Данстейблского. Ему принадлежат некоторые из прекраснейших сочинений той поры, пусть даже не все они были созданы в Англии. Многие его произведения отыскались со временем в таких городах, как Тренто, Модена, Болонья, и это наводит на мысль, что присутствие англичан в итальянской музыке было в то время весьма реальным. Впрочем, умер Данстейбл все-таки в Лондоне, успев, однако же, посвятить большую часть жизни пропаганде своего пожизненного causes célèbres[1] — естественным ритмам.

До того времени было по преимуществу принято подбирать слова под музыку. Я что хочу сказать: слова считались не такими уж и важными, поэтому вы просто находили хорошую мелодию и приделывали к ней текст. В результате естественное произношение слов полностью утрачивалось, заодно с большей частью их значения. Чтобы понять, о чем я толкую, представьте, что вы разговариваете, прилаживаясь к играющему граммофону. Все ваши слова искажаются, растягиваются и произносятся в конечном счете так медленно и вычурно, что исконное их значение попросту утрачивается. Так вот, Данстейблу это не нравилось. У него от этого с души воротило. И он посвятил кучу времени борьбе за "естественные ритмы", за музыку, в которой слова выпеваются в обычном их ритме — так, как они произносятся.

Да, можно, конечно, сказать, что он мог бы приобрести и бóльшую известность. Но, если честно, именно люди, подобные ему, и были, как мы еще увидим, теми важнейшими винтиками, без которых колеса музыки вращаться попросту не могли.

Помимо прочего, Данстейбл сыграл приметную роль в сфере контрапункта. Н-да, вот тут мы попадаем в щекотливую ситуацию. Нынче контрапункт может для вас никакого особого значения не иметь, однако в те времена он был в музыке одной из наиболее спорных тем. И не забывайте, раз он был спорным в музыке, значит, был, во всяком случае

♪. Многие полагают, впрочем, что век этот датируется временем куда более поздним.
1. Главное дело (*франц.*).

тогда, спорным и для церкви, а такое положение могло выйти боком всякому, кто лез в возмутители спокойствия. Еще в 1309 году некий Марketто Падуанский обратился к властям предержащим с просьбой допустить контрапункт в музыке, и в 1322-м — с быстротой, поспорить с которой способна лишь телефонная справочная, — получил в виде ответа запрет папы Иоанна XXII. Ну, с другой стороны, не скажешь ведь, что у папы не было времени, чтобы как следует все обдумать. Однако чем уж так нехорош контрапункт? Почему церковь так его невзлюбила? И еще интереснее: что это, собственно говоря, такое — контрапункт? Ладно, хорошо. Займемся контрапунктом.

Что такое контрапункт?

Начнем с конца. Контрапункт появляется, когда композитору надоедает сочинять всего-навсего одну мелодию, и он начинает записывать сразу несколько. Что ж, ему-то хорошо: он, скорее всего, сочиняет их в разное время — одну утром, другую после обеда, а с третьей управляется перед тем, как чайку попить, ну и так далее. Замечательно, классно. Сложности начинаются, когда композитор эти мелодии соединяет, потому что нам-то приходится слушать их все сразу. Слушать, как множество совершенно разных голосов поют разные мелодии — И ВСЕ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ. Это немного похоже на джаз, но только без мучимого газами тромбона. Что и может объяснить нам, почему папа Иоанн XXII так гневался в своей "Docta Sanctorium" на композиторов: "Они рассекают мелодии долгими цезурами♪, затусовывая оные дискантами, а порою втискивая в них вульгарные триплумы и мотеты♪♪." Ну-с, если в сказанном им и присутствовал некоторый резон, его отчасти подпортило неграмотное написание слова "затушевывая". И кстати, триплум и мотет следует в этом случае понимать как сопрано и альт, соответственно — полное четырехголосие состояло в то время из триплума, мотета, тенора и контратенора. И не говорите потом, будто я ничего вам не объяснял.

Впрочем, Иоанн XXII с его "доктами" на Джона Данстейблского большого впечатления не произвел. До самой его кончины в 1453 году контрапункт оставался, если правду сказать, любимым занятием Джона. Он продолжал писать свои мессы и изоритмические мотеты — те, в которых даже при изменениях в самой музыке повторялся все тот же ритмический рисунок — и, возможно даже, был первым, кто написал для церковной мессы инструментальное сопровождение.

Эпоха Данстейбла была в Италии эпохой Донателло, а заодно и Фра Анджелико с Медичи. Португалия могла похвастаться великими путешественниками Гонцало Кабралом и Хуаном Диасом. А что же Англия? Ну что, в Англии опять появилась моровая язва, принесшая с собой малоприятный распространившийся на всю страну карантин. Что касается Данстейбла, его влияние признавалось и два-три столетия спустя. Говорят даже, что человеком, на которого он повлиял в наибольшей степени, был еще один Гильом, вернее Гийом.

Гийом Дюфаи был родом из Геннегау, провинции, входившей тогда в состав Низинных Земель, ныне Нидерландов, однако долгое время

♪. Долгие цезуры — подобие музыкальной икоты, возникающее, когда композитор оставляет прорехи в одном голосе, заполняя их другим. Тем самым создается "колебательный" эффект, что-то вроде обмена теннисными ударами.

♪♪. Мотет — это короткий церковный хорал или просто мелкий растратчик.

прослужил в папской капелле. В то время это было интересной работой, главным образом потому, что двор Папы то и дело переезжал, и в итоге Дюфаи удалось повидать не один только Рим, но и множество иных городов. Он даже провел некоторое время в Камбре, это недалеко от Лилля, что во Франции, — городе, в котором Папе, как говорят, очень понравился хор, а заодно и Нидерланды.

Понравились они Папе настолько, что, вернувшись с двором в Рим, он разработал программу импортирования даровитых людей из Нидерландов. Собственно, какое-то время почти всю папскую капеллу составляли певцы из Низинных Земель (интересно, не называли ль они себя "донцами"?), итальянец в ней насчитывался только один.

В свое время Дюфаи почитался крупнейшим нидерландским композитором, и одно из его обретших долгую жизнь достижений состояло в том, что он оказался предтечей современной организации хора, то есть его разбиения на сопрано, альты, тенора и басы, причем басу у Дюфаи отводилось второстепенное по сравнению с тенором и контратенором место. Попробуйте на скорую руку прослушать что-нибудь вроде "Ecce ancilla domini", это одна из его последних месс, и вы поймете, насколько блестящей была осенившая Дюфаи идея.

По существу, фигура Дюфаи ознаменовала собой и завершение периода, известного под названием средневекового, и первые, робкие шаги эпохи совершенно новой — ну, ладно, почти — вечно поющего и вечно танцующего Ренессанса. Родившийся в тот самый год, когда умер Чосер, в **1400-й**, Дюфаи принадлежал к поколению, ставшему свидетелем битвы при Азенкуре, появления первых печатных книг и сожжения в Руане Жанны д'Арк. С ходом времени он окончательно обосновался в Камбре, который помог обратить в одну из главных — с тех пор как руанский палач произнес незабываемые слова: "Zut! J'ai perdu mes alumettes![1]" — тем для разговоров. Ко времени, когда Дюфаи возвратился в городок Камбре, Данстейбл уже скончался, как и Константин XI, вместе с которым прекратила существование Византийская империя. Довольно интересным, а для кофеманов всего мира, возможно, и более важным является то обстоятельство, что расположенный в юго-западной Аравии порт Мокка обратился к тому же времени в главный центр мирового кофейного экспорта.

А теперь закройте глаза и представьте себе: голоса играющих детей, плеск воды, невнятное рявканье мегафона. "Так, ладно, всем слушать, сейчас **1450-й**. Мне нужна новая эра. Прошу всех, у кого есть на рукавах средневековые красные повязки, покинуть генофонд. Повторяю, сейчас **1450-й**, просьба ко всем, у кого есть на рукавах средневековые красные повязки, покинуть генофонд. Наступает эпоха Ренессанса". И затем в сторону, к помощнику режиссера: "Хорошо, впускайте ренессансную массовку". Да-да, я понимаю, все произошло не так, но по крайней мере у нас теперь имеются стартовые колодки.

Возрождение

Примерно за десять лет до 1450 года, в который людей Средневековья выбросили из генофонда, газета города Конде, провинция Геннегау,

1. Черт! Опять куда-то спички запропастились (*франц.*).

вполне могла сообщить о рождении некоего Жоскена де Пре. ЖДП был, возможно, величайшим талантом своего времени, и в эпоху, когда совсем немногие из таковых обретали почести еще при жизни, его превозносили как своего рода гения – даже Мартин Лютер счел должным отметить: "Он – господин нот; все прочие... их слуги". Сказано немного напыщенно, Мартин, однако я вас понял. В ту пору Жоскена нередко называли не полным именем, а говорили просто: Жози или даже Джозеф. Нечего и сомневаться – живи ЖДП в наши дни, он мог бы пойти чуть дальше и вообще начать обходиться без имени, заменив его какой-нибудь чудной закорючкой. Чем-нибудь вроде: ξ – деятель искусства, официально известный под именем Жоскен.

Вот так. Глупость какая-то, правда? И опять-таки не приходится сомневаться в том, что она привилась бы. Хочется верить, впрочем, что во времена Жоскена на нее смотрели бы косо. Хорошо, теперь контекст: он родился двенадцатью годами позже Леонардо да Винчи и пользовался, по всем вероятиям, большей известностью, чем "Мона Лиза". И уж определенно можно сказать, что умер он человеком в десять раз более счастливым, причем во всех отношениях, чем Леонардо, – скопив немалое состояние и став каноником в Конде. Умер же он через десять лет после того, как Магеллан покинул свой дом в Севилье, сказав на прощание: "Мне только в лавочку сбегать". Еще при жизни Жоскена Микеланджело начал работы в Сикстинской капелле, между тем как в Англии к власти пришли Тюдоры, а в новеньком дворце Хэмптон-Корт устранялись последние недоделки. <...>

ЖДП, мистер де Пре, Жоскен, ξ – называйте его, как хотите – производит лично на меня впечатление человека избранного. Еще в молодости он много странствовал и со временем, году примерно в **1499-м**, поступил на папскую службу, где и провел около тринадцати лет. Во весь срок этой службы, а также в следующие двадцать с чем-то лет – до самой его смерти в **1521-м** – он оказывал огромное влияние на музыку вообще. Его мессы значительны тем, что с них началось освобождение от неукоснительно строгого соблюдения правил. Мессы стали выражать дух слова. Сейчас это может представляться ничего не значащим пустяком, однако в то время музыка была в такой же мере научной дисциплиной, в какой и развлечением. ЖДП отказался от почти педантичного подчинения правилам и – как бы это сказать? – ну, в общем, позволил себе отпустить волосы чуть подлиннее, чем у других. Что же касается оказанного им огромного влияния, то ему повезло и тут – он попал в самое что ни на есть живое и трепетное сердце музыки своего времени. Коим был не двор Людовика XII во Франции, хотя ЖДП пожил и при нем. Как не был им и двор императора Максимилиана I, где ЖДП также провел некоторое время. Как не была им и епархия Конде, каноником которой ЖДП состоял в свои последние годы. Живым и трепетным сердцем музыки того времени была – все очень просто – Церковь.

Ты начальник, я дурак

<...> Обратимся, однако, к 1551-му, нас ждут там большие новости. Некто по имени Палестрина назначен музыкальным директором римского собора Св. Петра. Для двадцатипятилетнего композитора поворот собы-

тий более чем счастливый. Последние семь лет Палестрина работал хормейстером и органистом в кафедральном соборе своего города. А в 1551-м епископ, которому он каждую неделю поставлял по симпатичной маленькой мессе, внезапно лишился места епископа. И получил место папы. Совсем другой коленкор. Через несколько дней новый папа, Юлий III, произвел молодого человека в хормейстеры Юлианской капеллы Ватикана, и Палестрина не уставал повторять всем и каждому: "Мы с ним еще *с детства* дружили". Конечно, теперь эта должность может казаться не такой уж и важной. В конце концов, в послужном списке Палестрины всего-то и значилось: "Служба в церкви". Однако в 1551-м музыка и *была* Церковью, и практически вся она сочинялась не просто *для* Церкви, но *по ее заказу*. Множество композиторов — мужей многоумных и хорошо образованных (а почти все они были *мужами*) — почитали служение Церкви своей обязанностью, решив, что раз Бог наделил их музыкальными способностями, им следует, дабы не остаться в долгу, посвятить ему свои труды, а то и всю жизнь. Добавьте к этому то обстоятельство, что в те времена девизом Церкви было нечто вроде "Scium Quo Habitas" — "Мы знаем, где Ты живешь", — и вы перестанете удивляться тому, что на многих титульных листах стояло "Ad majorem Dei gloriam"[1].

И еще одно: в ту пору истинным было не только тождество МУЗЫКА=ЦЕРКОВЬ, но и МУЗЫКА=ПЕНИЕ. А почему? Почему вся, более-менее, музыка, какую сочиняли преданные Церкви композиторы тех времен, была вокальной?

Рад, как любят говорить политики, что вы задали мне этот вопрос, потому как отвечать на него я не собираюсь. Я лучше ненадолго вернусь к Палестрине.

Заполнение пустоты

На беду Палестрины, после того, как он несколько лет проработал в Риме на одной из высших должностей, его вывели оттуда за ухо, а вернее сказать, новый верховный дож, папа Павел IV, которому сильно не нравился покрой его рясы, прогнал беднягу, да еще и с позором. На счастье же Палестрины, всего через несколько лет время его пришло снова, и уже другой, но опять-таки новый Папа вернул его на прежнее место. Вот тут я совсем ничего не понимаю. Как они тогда мирились с подобной суетней? Хотя, возможно, то была просто-напросто ранняя модель политической жизни Италии. Так или иначе, Палестрина снова попал в милость и тут же занялся тем, чем занимались все прочие. Тем, чем занимался Лассо♪. Чем занимался в Англии Бёрд; да все этим занимались, а именно — писали музыку для невероятно просторных, огромных кафедральных соборов. Да, я понимаю, это может показаться очевидным, но все-таки скажу. Кафедральные соборы по-своему меняли облик музыки того времени, поскольку вся она писалась так, чтобы давать хороший звук именно в них. А даже скудные познания в акустике позволят

1. К вящей славе Господней (*лат.*) — девиз ордена иезуитов.

♪. Орландо Лассо, помногу разъезжавший и многими любимый композитор. Работал повсюду — в Неаполе, на Сицилии, в Антверпене, Баварии, Мюнхене — и повсюду пользовался успехом. Создал более 1200 произведений, в том числе несколько лучших месс своего времени.

вам сообразить, что писать музыку для, скажем, концерта в вашей родной деревне и писать ее для огромной каверны римского собора Св. Петра — это два совершенно разных занятия.

Соборы возводились как огромные — не проглядишь — символы величия, сопряженного со званием христианина, и Церковь тратила немалые деньги, приваживая самых лучших людей, способных заполнить соборы самыми лучшими звуками. Палестрина несомненно чувствовал себя точно кошка, дорвавшаяся до сливок, причем сливками был собор Св. Петра. И это существенно, поскольку Палестрина (кстати сказать, никакой он был не Палестрина — Палестрина это итальянский городок, в котором он родился; звали же его, как всем нам хорошо известно, Джованни Пьерлуиджи) НЕ был новатором. Он НЕ был первопроходцем. Будьте благонадежны, мы еще воспоем в этой книге многих, кто *был* новатором и первопроходцем, однако Палестрина к их числу *не* принадлежит. Его заботило только одно — чистая, прекрасная музыка, которая позволяла создать в собственной церкви Папы фантастическое звучание. Сочинения, подобные его великолепной Missa Papae Marcelli — Мессе Папы Марчелло, — писались не для того, чтобы продвинуть музыку в следующее столетие или потрясти людей следующей эпохи, но лишь для создания звуков, обретающих невыразимую красоту, отражаясь от стен Ватикана — отражаясь так, что стихали они лишь через несколько минут. Божественно.

А теперь вперед, к Леннону и Маккартни XVI столетия. Кто это были такие? Как удалось им создать музыкальную монополию — крупнейшую с той поры, как научился свистеть последний додо? Ну что же, углубимся в Ренессанс — я пойду первым, а вы прикройте меня сзади.

Человек эпохи Возрождения

Вообразите, если вы не против, что сейчас **1572-й** — прошло чуть больше двадцати лет с тех пор, как Палестрина занял в Ватикане руководящий пост. На троне Inghilterra[1] вот уже тринадцать лет восседает Елизавета I. На самом деле — если позволите мне высказаться о двух важных персонах на одном более-менее дыхании — всего пару лет назад папа Пий V обнародовал занятную маленькую "булду", как их тогда называли, посвященную очередному отлучению и носившую симпатичное название "Regnans in Excelsis"[2]. Это довольно длинный документ, однако, если позволите резюмировать его содержание, весь он сводился к фразе: "Мы с вами больше не разговариваем". Папа, то есть, решил больше не разговаривать с Елизаветой. Прискорбная, вообще говоря, история. Представляю, до чего Елизавете не хватало их уютных бесед.

Зато для других разновидностей коммуникации тот год оказался вполне удачным. В литературе мы становимся свидетелями рождения Джона Донна и Бена Джонсона, в голубиной почте — а она в ту пору числилась по разряду высоких технологий — первого использования любимых птиц Нельсона для передачи сообщений. Сообщения передавались из голландского города Гарлема, осажденного в то время испанцами.

1. Англия (*итал.*).
2. "Предписано свыше" — булла папы Пия V, объявлявшая Елизавету I еретичкой и отлучавшая всех, кто считает себя ее подданным, от церкви.

Ну что, вы уже здесь? Это я насчет XVI века. Дело в том, что именно на этом историческом фоне и начала завариваться некая каша. В Италии, которую мы только что покинули, уже наделало немало шума семейство Габриели. Андреа Джованни, композитор, прослуживший последние шесть лет органистом в венецианском соборе Св. Марка, хлопотливо вводил в свою вокальную музыку партии разного рода медных духовых инструментов. Но, возможно, еще более важную роль сыграл его племянник Джованни, сменивший дядю в соборе Св. Марка и, можно сказать, опередивший Долби примерно на 400 лет.

Джованни Габриели был органистом и композитором (думаю, в наше время его назвали бы автором и исполнителем), поставившим первые эксперименты

в области, по сути дела,
сочиняя музыку, в которой
противостояли друг другу,
огромного собора Св. Марка
антифонные
которые
были
изумлять
того
Надо
это
не
на
сколько
теннисный

стереозвука.
хор и солисты
располагаясь по разные стороны
и создавая великолепные
эффекты,
должны
по-настоящему
публику
времени.
полагать,
походило
столько
концерт,
на
матч.

Не исключено, что у многих, кто заходил в собор Св. Марка, сводило судорогой шеи.

Однако возвратимся в добрую старую Англию, к Леннону и Маккартни тех дней. Именно в 1572 году Уильяма Бёрда определили в помощники к Томасу Таллису, который был старше его лет на сорок и уже давно и прочно сидел в Королевской капелле. Таллис провел в ней лет тридцать, прежде чем эти двое, объединив усилия, заставили музыку шагнуть так далеко, как она не шагала с того самого дня, когда папа Григорий впервые начал напевать себе что-то под нос, принимая ванну.

Джон, Пол, Джордж, Ринго, Уилл и Том

Бёрд родился в Линкольне, Таллис, скорее всего, в Уолтем-Абби. Каждый из них был известным в своей области музыкантом — Таллиса, в частности, весьма уважали как одного из великих старцев английской музыки. Однако имена их стали легендарными — и остаются такими поныне — благодаря королеве Елизавете. Это Елизавета через три, примерно, года после того, как они объединили усилия, дала им единоличное право печатать в Англии музыку. Вообразите. Каждая публикуемая в стране нота принадлежала этим двоим.

Разве тут прогоришь? Первым их изданием стал выпущенный в 1575 году "Cantiones Sacrae"[1], сборник мотетов, написанных самими этими композиторами. Я, разумеется, не пытаюсь внушить вам мысль, будто они использовали возможность монополизировать рынок печатной музыкальной продукции для того, чтобы выпускать только *собственные* сочинения. Нет-нет-нет! Строго говоря, именно этим они и занимались, просто мне не хочется, чтобы вы так о них думали. Впрочем, хорошо уж и то, что дело это попало в руки настоящих мастеров. Я к тому, что сборник "Cantiones Sacrae" был одним из самых изысканных музыкальных изданий 1575 года, хотя, если честно, и единственным из выпущенных в том году музыкальных изданий.

И что же должно было произойти после этого? Я хочу сказать, после того, как началась регулярная публикация музыкальных произведений? Ну, оставаясь пока что дорогостоящей редкостью, они, по крайности, *выходили в свет*. Люди со средствами *могли* почитать их, собраться, попеть, потому что, в конце концов, почти вся эта музыка была, как вы помните, вокальной. Вот тут-то и произошло восхитительное и счастливое лобовое столкновение определенных событий и новомодных течений.

Дело пошло

Печатные издания. Сейчас мы воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся. Мы воспринимаем возможность являться на работу с перепачканными черной типографской краской большими пальцами и с глазами, точно у бамбукового медведя из Лондонского зоопарка, как наше неотъемлемое право. Но вообразите, что эти издания сделали с музыкой. Музыка неожиданно стала... доступной.

Она "вышла в свет". Партитуры стали доступными. Доступными стали музыканты и певцы. И новые веянья моды, коим предстояло возникнуть в такой атмосфере, наверняка столкнулись бы с тем, что все теперь обстоит иначе. Все изменилось. Играй что хочешь.

Так что же стало следующей большой сенсацией?

СЛЕДУЮЩЕЙ БОЛЬШОЙ СЕНСАЦИЕЙ стало освоение греческого и римского стилей и культуры. И не просто стилей, но также форм и особенностей. Кое-кто, все больше интеллектуалы, снова всерьез увлеклись греческой драмой. Однако теперь, поскольку для аккомпанемента имелись под рукой не одни только трещотки и барабаны, музыка начала играть роль куда более важную. А сама музыка? Что ж, музыка опиралась, как это было всегда, на современную ей технику — на инструменты, бывшие, когда греки впервые взяли их в руки, довольно примитивными. В новых постановках греческих драм музыке уделялось гораздо больше внимания — dramma per musica, драма на музыку, так это теперь называлось, — и драмы эти стали большими хитами. Там, где поначалу перед вами была просто драма, теперь объявилось нечто совсем иное. По сути дела, требовался лишь человек, которому пришла бы в го-

1. "Священные песнопения" (*лат.*).

лову — в нужное время и в нужном месте — такая вот мысль: "Минутку, минутку... а могло бы получиться совсем недурно", и — ХЛОП!

У вас появилась бы ОПЕРА!

Кто же был первым? Кем был тот, кто написал самую первую оперу? Кому предстояло войти в анналы истории бок о бок с человеком в железной маске, с тем, кто впервые сорвал банк в Монте-Карло, и с ковбоем Мальборо? <...> Человеком этим оказался... Якопо Пери?

Самая первая из когда-либо написанных опер (не считая еще одной)

М-да. Я знаю, что вы думаете. А кто это? (Ред.) Вот то-то и оно. Понимаете, весь мир невесть почему решил, будто первая из когда-либо написанных опер это "Орфей" Монтеверди, что было бы, в общем, и верно, если бы... ну, если бы не было неверно. Дело в том, что "Орфей" Монтеверди, был *второй* из когда-либо написанных опер. А первой была "Дафна" Пери. Но по какой же причине у Пери все так не заладилось? Ведь это же все равно что... ну, вот представьте — Нил Армстронг ступает на поверхность Луны первым из всех людей, а весь мир решает, что будет чествовать как героя База Олдрина. Итак, по какой причине у Пери все так не заладилось?

Похоже, всему виной немыслимая непоследовательность, с которой крутит свое колесо ветреная Фортуна. Конечно, Монтеверди был, по всему судя, композитором более искусным, его сочинение богаче по части и мелодий, и гармонической изобретательности. Так ведь и Пери был более-менее его современником, родившимся в Риме и причислявшимся в свое время к великим композиторам, к тому же он еще и с семьей Медичи дружил. Пери входил также в обойму модных, что называется, сочинителей и при возвращении dramma per musica оказался одним из первых, кто ее, так сказать, встретил. Да, он и некоторые из его друзей-сочинителей немало сделали для ее расцвета. Однако фортуна отдала предпочтение Монтеверди — в том, что касается долговечности. Партитура его "Орфея" уцелела, а партитура "Дафны" Пери — нет. При этом к несправедливости добавилось еще и оскорбление: вторая опера Пери, "Эвридика", была написана за семь лет до первого представления монтевердиевского "Орфея" и является, строго говоря — поскольку ее-то партитура уцелела тоже и т. д., — первой из опер *существующих*. И все же, несмотря на все это, новаторский характер оперы Монтеверди попрежнему заставляет многих говорить о ней сегодня как о первой из когда-либо написанных "настоящих" опер. Ну что тут можно поделать? Это напоминает мне историю с Эдисоном и телефоном — разнообразные плутни, вследствие коих аппарат, предложенный его соперником, потерпел неудачу.

И все-таки. Что сделано, то сделано: Монтеверди помнят и спустя 450 лет после его рождения, а Пери стал не более чем проходным именем в посвященных классической музыке викторинах. Ну, и не сволочь ли после этого жизнь?

Значит, так: простите, что я вас то и дело дергаю, но не могли бы вы мне немного помочь? Закройте еще раз глаза и вообразите, что находитесь посреди огромной английской фабрики 1950-х.

Вообразили?

Черт. Если вы закрыли глаза, вы же дальше читать не сможете. Ладно, открывайте, а воображать буду я.

Передо мной фабрика пятидесятых — цех размером с самолетный ангар. Множество людей занимается здесь своим делом — правда, к каким-либо механизмам оно ни малейшего отношения не имеет. Люди пишут... гусиными перьями да еще и на пергаменте. Внезапно раздается громовый звук, смахивающий на сигнал воздушной тревоги, — многие тут же откладывают перья. Затем из громкоговорителя исходит бухающий голос: "Дамы и господа, наступил **1600-й**. Наступил **1600-й**. Ренессансная смена закончилась. Прошу композиторов собрать перед уходом свои принадлежности, чтобы барочная смена могла немедленно приступить к работе, в дальнейшем никакие претензии по поводу забытых вещей приниматься не будут. Повторяю, ренессансная смена закончилась. Всем, кто работает в две смены и потому остается в барочной, дается пять минут на то, чтобы размять ноги. Благодарю вас". БУМ, БУМ.

Ладно-ладно, знаю, все происходило иначе. Как вы думаете, почему я разыграл эту сценку? Потому что она показывает, на свой манер, насколько бесполезны какие бы то ни были ярлыки... Ренессанс, барокко и так далее. Люди просто... ну, сочиняли музыку. Разумеется, она претерпела развитие, но ведь не за один же год. Может быть, поэтому ученым и трудно прийти к согласию насчет того, когда именно завершился один период и начался другой. Большинство их проголосовало за то, что эпоха барокко началась где-то около 1600-го, однако это начинает казаться бессмысленным, когда обнаруживаешь, что такие композиторы, как Дауленд, Гиббонс и Монтеверди — а их вряд ли можно назвать претендентами на титул "Мистер барокко залива Моркам, 2004", — трудились себе и трудились и в XVII веке тоже. И все же: где — как любят выражаться политики — нам следует провести черту? Ну так вот, ее провели здесь, и, полагаю, нам придется с этим смириться.

Что ж, позвольте взять вас за руку и провести по улицам начала XVII века — вот увидите, без сменной пары штанов вам обойтись не удастся.

1607-й. Хороший год? Плохой? Ну, если вас зовут Гаем Фоксом, то пожалуй что и плохой. В том смысле, что вы уже умерли, а голову вашу выварили в арахисовом масле — всего год назад, после того, как вас застукали в Палате лордов с прохудившимся мешком пороха на спине. 1607-й отмечен также появлением новой пьесы всеми любимого барда Уильяма Шекспира, а именно "Антония и Клеопатры". Отмечен он и созданной Галилеем технической новинкой — компасом, благодаря которому вы можете теперь с большей легкостью отыскивать путь по вонючим и мглистым улицам южного Лондона, направляясь в театр, где дают пьесу мистера Шекспира. Что у нас есть помимо этого? Дайте подумать... Ах да, как я уже сказал, у нас есть опера. Опера. Чего ж вам еще?

Да вообще-то неплохо бы, я полагаю, обзавестись и оперными певцами. Собственно говоря, певцы у нас есть. Певцы есть, а певиц нету. Во всяком случае пока. Пока у нас все партии поют мужчины. Еще с того

времени, как сам святой Павел, ни больше ни меньше, объявил, что женщинам в церкви лучше помалкивать, певицы обратились примерно в такую же редкость, как ведьма за утренней чашкой кофе в доме епископа. Да, но если нет женщин, то кому же брать высокие ноты? Кто возьмет верхнее до? Да, похоже, без посторонней помощи в этом деле не обойтись. Если вы понимаете, к чему я клоню. Посторонняя помощь требуется, но выясняется, правда, что это помощь вашего личного хирурга — будьте любезны, снимите штаны! Именно так: вместе с оперой мы получили самых злющих мужчин Италии — и нельзя отрицать, что причин для озлобления у них хватало, — КАСТРАТОВ. Вообще говоря, какой-нибудь канал "Культура" мог бы снять о них неплохой познавательный сериал — на деньги Министерства здравоохранения.

Нет, честное слово, я бы с удовольствием послушал хорошего кастрата — просто чтобы понять, чем они отличаются от нынешних контратеноров. Идея, очень популярная в тогдашней Италии, состояла в том, чтобы оскоплять обладающего сопрано мальчика, тем самым сохраняя его голос, к которому прибавлялись грудная клетка, легкие и, следовательно, голосовой диапазон взрослого мужчины. Одним из самых прославленных среди когда-либо существовавших кастратов был Фаринелли (1705—1782), которого, сказывают, сам Филипп V Испанский подрядил на предмет ежевечернего исполнения одних и тех же четырех песен. О нем даже фильм сняли — посмотрите, очень хороший.

Прощай, любовь. Привет, жеманство!

Да, правильно, я все понимаю. Но я тут ни при чем. Меня винить не за что. Итак, у нас имеется опера. Этакий хит из хитов, почти для каждого, кто ее хоть раз видел. Да оно и понятно — уж больно отличается опера от всего, что существовало до нее. Она так же красива, как четырехголосная месса — даже та, что исполняется в богатых декорациях завораживающего взгляд собора; однако подумайте о том, насколько ЖИВОЙ выглядит опера в сравнении с мессой. Впечатление она должна была производить примерно такое же, как первые спецэффекты в кино. <...> Опера появилась и даже укоренилась, а вместе с нею появились и самовлюбленные примадонны. Правда, как уже было сказано, не женского пола. На деле они были, что вполне можно понять, еще и похуже нынешних: самовлюбленные примадонны с постоянным *поводом для недовольства.* Повод для недовольства у них был, а яиц не было. Жуткое сочетание.

Впрочем, самое поразительное в совершенной оперой революции состоит в том, что она, годами и даже столетиями оставаясь самой большой сенсацией в вокальной музыке, привела к решительным переменам в области, на первый взгляд, от нее совершенно отличной, а именно — в музыке инструментальной. Почему? Да потому, что сидевшему в своей яме оркестру приходилось играть музыку все более и более театральную. И очень часто эта театральность требовала новых приемов, новых созвучий, о которых никто и не думал в те времена, когда инструменты использовались всего лишь для аккомпанемента. Теперь же, когда появилась нужда в новых звуках, в новой музыкальной ткани, компо-

зиторам понадобились и новые исполнители, способные играть сочиняемую для опер технически более сложную музыку. А это в конечном итоге привело к тому, что оркестр и вовсе покинул яму, выбрался на сцену и обрел самостоятельность — к большому недовольству Церкви.

Тут, видите, какая штука: Церковь инструментальную музыку НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИЛА. А почему? А просто потому, что она — инструментальная и, стало быть, НЕ ВОКАЛЬНАЯ. Если нет голосов, значит, не будет и слов, а если не будет слов, то как же хвалить Господа? Ну да ладно, у нас теперь период постреформационный и влияние Церкви здорово ослабло. Даже ей не по силам помешать укорениться явлению столь фундаментальному, как инструментальная музыка. Так что музыка эта растет и развивается. Мы за ней еще последим, а пока — давайте-ка ко двору♪ Людовика XIV.

<...> Время обновления. Что мы имеем? Ну-с, вот уже тридцать шесть лет как Майлс Стендиш[1] и отцы-пилигримы высадились в Новом Плимуте — поразительное, если вдуматься, совпадение: обогнуть немалую часть земного шара в списанной в утиль, хоть и быстроходной посудине и высадиться на берег в месте, носящем почти такое же название, как то, из которого вы отплыли. А кроме того, в Англии началась и закончилась Гражданская (далеко не цивильная) война, и остриженные под Битлов мужички — Кромвель и компания, — прибегнув к довольно крутым мерам, навсегда избавили Карла I от головной боли.

Взмах жезла

С другой стороны, король Франции проводил это время в Париже с куда как большей приятностью. Собственно, если бы вам случилось заехать к нему в любой из дней 1656 года — или около того, — вы могли бы попасть на замечательное в своем роде представление. Замечательное не только тем, что правящий французский монарх переодевался "солнцем" и отплясывал как последний дурак, но также и тем, что, когда он наконец отплясал, оркестр шагнул в своем развитии словно на другую планету. И все благодаря небольшому балету, сочиненному придворным композитором по фамилии Люлли.

Жан Батист Люлли был подвизавшимся в Париже итальянцем, который появился на свет не только с музыкальным слухом, но и с пританцовывающими ногами. Он и король надумали станцевать дуэт — Луи Каторз переоделся для такого случая Солнцем, откуда и взялся приставший к нему титул Король-Солнце. На мой взгляд, Король-Солнце — далеко не худший из титулов, какой мог бы прилипнуть к отплясывающему на совершенно идиотский манер человеку. Наверное, объяснить приходскому священнику, что такое значит Король-Уран, было бы намного труднее.

Успех балета был таков, что Люлли продвинули из рядовых "виолонистов" в управляющие "королевской музыкой", а вслед за тем он создал

♪. Ну как, лихо я обошелся здесь без второго глагола? Весьма постреформационный прием, вам не кажется?

1. Военный руководитель первой "плимутской" колонии поселенцев в Новой Англии.

совершенно революционный оркестр, в который входили двадцать четыре скрипки, а с ними флейты, гобои, фаготы, трубы и литавры. Собственно, если вам выпадет случай послушать какое-то из сочинений Люлли в живом исполнении, постарайтесь не забыть, что половина инструментов, которые вы слышите, были в то время совершенно и чрезвычайно НОВЫМИ. Они были только что выдуманными техническими новинками, чудными штуковинами, свежеиспеченными игрушками. Люлли, видите ли, экспериментировал с музыкой и звучанием оркестра. И что еще важнее, делал это толково. И облик, и звучание оркестра он изменил навсегда. <...>

А Пёрселла-Мёрселла!

Англия. **1689-й**. (Вступает волнующая, определяющая все настроение следующего эпизода музыка из тех, что мы слышали воскресными вечерами в классических черно-белых фильмах. Музыка стихает.)

У нас тут произошли кое-какие, так сказать, перестановки.

Кромвель, дослужившийся до звания лорда-протектора, давно похоронен. Будем надеяться, что замертво. В общем-то, и слава богу, — я к тому, что стрижка у него была все-таки кошмарная.

Объявился и откланялся Карл II. Произошло что-то вроде нашего перехода из 1960-х в 1970-е — круглоголовые исчезли, а на смену им пришли люди с длинными, ниспадающими локонами. (Интересно, клёши тогда уже носили?) Столица обустроилась более-менее полностью, пережив и Великую чуму — погубившую около 70 000 человек (я привожу лишь порядок величины), — и Великий лондонский пожар. То же можно сказать и о музыке, в которой присутствует ныне целая компания великих композиторов, превосходно работающих в рамках нынешней большой сенсации, оперы, — и никто не справляется с этой работой лучше, чем первейший из композиторов Англии, Генри Пёрселл.

Примерно как Люлли во Франции, Пёрселл состоял в композиторах личного оркестра короля, а также в органистах Вестминстерского аббатства. С точки зрения исторической, Пёрселл был человеком отчасти загадочным. Уж очень мало о нем известно. <...> Пёрселл, ему сейчас тридцать один год, представляет на суд публики последнее свое творение — оперу "Дидона и Эней". Великолепное добавление к процветающему оперному жанру, показывающее непревзойденную способность Пёрселла перелагать слова на музыку. Есть там скорбная песнь, которая не только составляет одно из совершеннейших достижений оперы — и музыкальных и эмоциональных, — но и построена на одном и том же повторяющемся в нижних голосах чередовании нот. Это называется бассо остинато, его назначение — воспроизводиться снова и снова, образуя фон для меняющейся в верхних голосах мелодии, а иногда и гармонии. Пёрселл использовал его божественно. Звучит великолепная, мучительно печальная ария героини оперы, Дидоны. Дидона говорит что-то вроде: "Я хочу поблагодарить тебя, давшего мне лучшие годы моей жизни, — помни обо мне". Вот это я и называю примером повторяющейся дважды истории.

Если вам когда-нибудь попадется на глаза афиша, извещающая о постановке этой оперы, сходите, послушайте. Что я могу сказать? Она по-

просту баснословна. Может, ее и написали примерно 313 лет назад, но она и сейчас остается одним из самых трогательных сочинений во всей музыке. И, разумеется, из самых любимых, особенно школьниками, потому что Пёрселл расположил слова так, что образовалась пауза, во время которой как раз можно успеть вогнать учителя музыки в краску: "Когда я лежу... лежу в земле". Взрыв смешков и хихиканья в заднем ряду хора. "А ну-ка, прекратить, не то *всех* после уроков оставлю". <...> Однако, какой у нас нынче век?

КРМ

<...> Это еще и век человека по имени Иоганн Пахельбель. Несмотря на то, что фамилия его смахивает на название сыра, который кладут в коробки для завтрака, этот самый Пахельбель был нюрнбергским композитором. Ему случалось занимать несколько незначительных мест... ну, там, органиста в венском соборе Св. Стефана, придворного композитора герцогства Жиганского ☺, в этом, примерно, роде. Однако место в исторических трудах он получил по трем причинам. Во-первых, он нравился Баху. Ну, то есть, если совсем честно, мог нравиться, ведь так? Сейчас-то Баху всего четыре года и наверняка он, глядя на Пахельбеля, только и способен что улыбаться да слюни пускать. Однако дайте Баху время, и он испытает значительное влияние мистера Пахельбеля.

Во-вторых, Пахельбель первым начал использовать в музыке кое-какие штуки, которые мы теперь воспринимаем как данность. Символизм, к примеру, именно Пахельбель его и придумал. Ну, то есть, более-менее, — просто он раньше прочих учуял, куда ветер дует. И у него же минорная тональность начала означать нечто печальное. (Если вам нужен пример чего-нибудь, написанного в минорной тональности, вспомните хоть главную тему из "Списка Шиндлера".) И в таком случае получается, что музыка, написанная в мажорной тональности (попробуйте, скажем, тему Пети из "Пети и волка"), знаменует собой радость. Кажется более-менее очевидным, но ведь тут дела обстоят примерно как с Эверестом — кто-то же должен был забраться на него первым. Мало того, Пахельбель проложил путь для Винсента Прайса[1], постановив, что уменьшенный септаккорд (нет, вы только подумайте, Винсент Прайс, это ж надо!) изображает зло. Так что, когда станете в следующий раз смотреть классическую "Маску красной смерти", попробуйте прихлопнуть ступней по пульту, по кнопке отключения звука, и любовно прошептать вашей возлюбленной на ухо: "Ну, конечно, арпеджио в сокращенном септаккорде, впервые введенное в тевтонскую музыку XVII столетия великим Иоганном Пахельбелем. Передай мне кукурузные хлопья, милая, ладно?"

Однако я сказал, что в исторические труды он попал по трем причинам, и вот теперь дошел черед и до третьей. Бог весть почему, несмотря на несомненные сотни написанных им хоралов, фуг и мотетов, Пахельбель, как это ни грустно, оказался автором лишь одного безусловного хита. Нюрнбергским Джо Дольче с его "Да что с тобой, ЭЙ!" или занесенным в XVII век хором школы Св. Уинфрида. И хит этот принял обличие

1. Винсент Леонард Прайс (1911—1993) — американский актер, много снимавшийся в фильмах ужасов.

канона ре мажор. После многолетних исследований ученым удалось доказать также, что именно по этой причине Пахельбель и назвал его Каноном ре мажор. Любимый всеми и поныне, канон этот нередко обретает второе рождение в той или иной телевизионной рекламе, так что его создание вполне можно считать важнейшим событием, случившимся в Нюрнберге за многие годы, собственно, до 1938-го – года, когда в собравшейся на митинг толпе кто-то крикнул: “Валяй, высказывайся!” <...>

Б*и*Г

<...> Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель родились, оба, в 1685-м – в год, когда судья Джеффрис своими “кровавыми ассизами”[1] добивал от имени Якова II еще уцелевших участников восстания Монмута. Бах родился в городке под названием Эйзенах, расположенном километрах в двухстах на северо-восток от Франкфурта. Он происходил из семьи музыкантов и еще в раннем возрасте, дабы набраться знаний, переписывал как одержимый чужие партитуры. Проведя некоторое время в хоре мальчиков, Бах получил первое из многих, занимавшихся им впоследствии, место органиста в Арнштадте. Так началась его карьера, которую он завершил в возрасте шестидесяти пяти лет и в ходе которой успел поработать в Мюльхаузене, Веймаре и Лейпциге, исписав целые акры нотной бумаги великолепной музыкой. Большая часть ее была посвящена утверждению вящей славы Господней, однако в ней отразились и кое-какие маленькие слабости Баха. Одной из них был кофе. В те времена кофе считали едва ли не опасным наркотиком, однако страсть Баха к кофеину была настолько сильна, что он даже написал о нем целое музыкальное произведение[2].

Другой его страстью была наука о магических числах. Бах был уверен в том, что определенные числа имеют особый смысл. Если приписать каждой букве числовое значение в соответствии с местом, занимаемым ею в алфавите (то есть А=1, Б=2 и т. д.), то фамилия Баха даст в сумме 14 (т. е. B2 + A1 + C3 + H8 = 14). Поэтому число 14 стало для него очень значимым – он сочинял кантаты, основные мелодии коих состояли ровно из четырнадцати нот. А одна из его кантат, “Wenn wir in hochsten Nöten scin”, насчитывает 166 нот, что, если вы не поленитесь произвести подсчет, представляет собой числовое значение его полного имени. Вот посмотрите:

J + O + H + A + N + N = **62**
10 15 8 1 14 14

S + E + B + A + S + T + I + A + N = **90**
19 5 2 1 19 20 9 1 14

B + A + C + H = **14**
2 1 3 8

итого 166

1. В Англии еще с XII столетия название assisa, или assisia, давалось суду, в котором дела решались не поединком, как это допускалось со времени завоевания Англии норманнами, и в гражданских процессах, а на основании добросовестного исследования истины.
2. “Кофейная кантата” – “Schweiget stille, plaudert nicht”, 1732.

Гендель родился не так чтобы в миллионе миль от Баха — в 60 километрах от Лейпцига. Его семья занималась совершенно иными делами. Папа Генделя был цирюльником-хирургом — лично меня передергивает от одних только этих слов: судя по всему, цирюльник-хирург — это такой мастер на все руки, мини-доктор, который, едва успев вырвать у вас зуб, тут же приступает к ампутации вашей руки (даром что вы к нему всего-то поздороваться и зашли), — и Генделю пришлось воспротивиться воле отца, желавшего, чтобы сын перенял у него это жутковатое семейное ремесло. Забавно, но он даже поступил в университет, изучать право, однако при этом отыскал для себя левый заработок органиста — в Домкирхе города Галле, — а там и вовсе перебрался в Гамбург, получив в Гамбургской опере место скрипача и клавесиниста. Со временем театры начали ставить все больше его опер, и Гендель отправился в турне по Европе как исполнитель и композитор, ну и кроме того, эта поездка позволила ему познакомиться с музыкой лучших из живших в ту пору композиторов континента.

Думаю, правильно будет сказать, что эти двое, владычествуя в музыке своего века, то есть века барокко, делали это совершенно по-разному. При том что жили они точно в одно и то же время, сходства между ними не было никакого. Заядлый бродяга Гендель объехал всю Европу. Бах сидел дома. Может, он любил голову мыть почаще. Гендель был без ума от опер — собственно, он и Королевскую академию музыки основал для того, чтобы пропагандировать оперу, — и насочинял их столько, что хоть ложкой ешь. Бах не написал ни одной.

Генделю, когда речь заходила об очередном заказе, серии концертов или денежной работенке, пальца в рот лучше было не класть, он отлично понимал, с какой стороны на хлеб намазывают масло, — деляга был из тех, что на ходу подметки рвут. А Бах? Ну, Бах во всем, что касается денег, был почти безнадежен. Он никогда порядком не умел, что называется, "подать себя", и даже сел однажды в тюрьму — только из-за того, что не смог прикусить язык, когда некий государственный служащий принялся тыкать ему в нос своим положением. Да и семья размером с население Борнмута тоже особенно богатеть ему не позволяла. Мне всегда казалось, что семейная жизнь Баха была отчасти сродни той, какую мы видим в фильме "Смысл жизни" компании "Монти Пайтон" — помните, как там дети выскакивают из шкафов с воплями: "Наддай, Дейдри, сляпай нам еще одного!" — это они так радуются появлению на свет нового братика.

Кроме того, по-моему (правда, это всего лишь плод моего воображения), Гендель был в своем роде "ходок" — любил званые обеды, чувствовал себя как дома и в Англии, и в Германии и вообще не дурак был пожить в свое удовольствие. Бах же был человеком более благочестивым, набожным, строго лютеранским художником, который выражал переполнявшие его глубокие музыкальные идеи в стараниях прославить Господа. Говорят, что однажды он отшагал 426 миль и сносил при этом не одну пару сапог — и все лишь для того, чтобы послушать концерт коллеги-композитора Букстехуде. Если честно, в этом можно, разумеется, усмотреть преданность искусству, однако не исключено, что тут перед нами предстает просто-напросто очередной экземпляр "чокнутого органиста". Ну, органисты, что с них возьмешь! Верьте слову — психопаты, все до единого.

При всем беспорядке, царившем в жизни Баха, объем написанного им производит пугающее впечатление. Только на то, чтобы собрать и издать все его сочинения, ушло около сорока шести лет.

Если хотите получить некоторое представление относительно сходства Баха с Генделем и в то же самое время их поразительного различия, вам, пожалуй, лучше всего послушать "Музыку на воде", а сразу за ней "Бранденбургские концерты". "Бранденбургские концерты" Баха попросту БОЖЕСТВЕННЫ, совершенная фантастика – у меня не хватит слов, чтобы выразить восторг, который они во мне пробуждают. И при этом им присуща некая общая... серьезность, что ли. Генделевская "Музыка на воде" в сравнении с ними выглядит ошеломляюще радостной и, смею сказать, почти легкой. Даже происхождение этих двух сочинений типично для обоих композиторов. Баховское было порожденным безысходностью подарком маркграфу бранденбургскому, сделанным в надежде разжиться деньгами, в которых композитор отчаянно нуждался, – денег этих он, увы, так и не получил. С другой стороны, сочинение Генделя отличается легкостью и весельем – это двадцать коротких пьес, под которые Георгу I предстояло плавать в барке по Темзе. Собственно, первое их исполнение как раз и состоялось на барке, да еще и раскачивавшейся, как черт знает что, – у музыкантов чуть ли не все силы уходили на старания удержать ноты на пюпитрах♪. Вот как-то не представляю я себе Баха в подобной роли. При всем при том оба эти сочинения блестящи и великолепны – я ни без того, ни без другого и прожить бы не смог.

Тони и его сестрички

Если вы не против, я быстренько перечислю свежие новости. Сначала о технике. Техника развивается буквально скачками. К примеру, некий человек норовит заручиться навечным местом в истории музыки и изобретает фортепьяно. Зовут его Кристофори. Повторяю... Кристофори. Видите ли, мне все кажется, что он, вообще-то, дал промашку – об "истории" как следует и не подумав. Ему нужно было последовать примеру Биро или Гувера[1] и назвать свое изобретение кристофори. И мы бы сейчас, играя гаммы, колотили по клавишам кристофори или слушали кристофорные концерты. А Кристофори назвал свое изобретение пианино, и никто теперь его имени не помнит.

Что еще? Ну-с, Гендель и один из уже прославившихся молодых композиторов, Доменико Скарлатти, устроили фортепьянную дуэль. Такая дуэль расходится с обычной только в одном – от соперников ожидают, что один из них пришибет другого, метко метнув в него фортепиано. Неудивительно, что Генделю и Скарлатти была зачтена ничья, и оба они уцелели♪♪. А еще в одном месте состоялся первый крикетный матч – лондонцы против жителей графства Кент, – кроме того, в Англии были пущены в оборот бумажные деньги. Ну, этого, я полагаю, было никак не избежать,

♪. М-да, так и вижу тему школьного сочинения: "Гендель был не столько композитором, сколько королевской шарманкой". Обсудить. Не больше 1000 слов.

1. Поименованы изобретатели шариковой ручки и пылесоса, соответственно, чьи имена обратились в бытовые названия этих вещей.

♪♪. ☺ Ладно-ладно, я знаю, фортепьянная дуэль выглядит совсем иначе. Просто так смешнее. На той, настоящей, дуэли Гендель играл на органе, а Скарлатти – на клавикордах, и каждого признали лучшим исполнителем на избранных ими инструментах.

они ходили по рукам года, примерно, с 1558-го, а рано или поздно бумажка оказывается потребна каждому, верно? Вдобавок ко всему этому прусская армия ввела в качестве элемента форменной стрижки косички, тем самым обскакав корпоративную Британию 1980-х лет примерно на 270.

Ну-с, а теперь позвольте познакомить вас с Антонио Вивальди, человеком, написавшим 400 концертов. Или, как сказал Стравинский, один концерт, который он затем повторил 399 раз. (Налейте этому русскому рюмочку — его мнение разделяет немалое число людей; и то сказать, многие концерты Вивальди звучат несколько... ну... одинаково. По крайней мере, последние 200.)

Вивальди родился в Венеции всего тремя годами позже БиГ и имел, на его счастье, музыкально одаренного папочку — скрипача из собора Св. Марка. В пятнадцать лет он подался в священнослужители, а лет через десять был рукоположен в священники. Сочетание духовного сана с копной рыжих, как у Криса Эванса, волос заслужило ему прозвище "il prete rosso", "красный священник", хотя каким уж он, получивший особое разрешение не служить мессу, был священником, я себе представляю плохо. Это все равно что быть регбистом, но ни в каких матчах не участвовать. (С другой стороны, Джонни Уилкинсон именно так себя сейчас и ведет.) Большую часть своей профессиональной жизни Вивальди провел на посту музыкального директора венецианского приюта для девочек-сирот — "Conservatorio dell'Ospedale della Pietá", или, для краткости, просто "Пьета".

Духовный сан его снова вызвал сомнения, когда поползли слухи, будто Вивальди связывают — да еще не с одной, а сразу с двумя сопрано, сестрами Анной и Паолиной, — отношения далеко не дружеские. Подобно Генделю, Вивальди много разъезжал по Европе, однако о том, чем он там занимался, почти ничего не известно. Последнюю пару лет жизни он провел в Вене, где блестяще сыграл заглавную роль в скетче под названием "Композиторская кончина № 207", известном также как "Смерть в нищете". В ту пору ему было шестьдесят три года. По счастью, он оставил нам около пятидесяти опер и 400 с чем-то концертов (или только один, если вы согласны со Стравинским), из которых ныне наиболее известен — почти до умопомрачения — тот, что входит в состав "Il cimento dell'Armonia e dell'inventione" опус 8. Это "Времена года": не просто ряд превосходных концертов, но еще и дурные отели и довольно вкусная пицца.

Комплексный туризм

Нет, вы только подумайте, уже **1725-й**. Как все-таки летит время, особенно если слепить из него снежок и запустить им в кого-нибудь. 1725-й. Год "Времен года". Год, в который Петр Великий утратил часть своего величия — просто потому, что умер. Год, в который Бах в порыве занимающего дух пророческого вдохновения сочинил музыку для мобильных телефонов — для сигнала о поступлении входящего вызова, — назвав ее, впрочем, "Нотной тетрадью Анны-Магдалены".

В этом году родился итальянский авантюрист и писатель Казанова, очень скоро ставший следующей большой сенсацией. Но мы-то теперь ГДЕ? Какой у нас нынче век? <...>

В науке все еще стоит век одной из величайших ученых пар — Исаака (гравитация) Ньютона и Эдмунда (комета) Галлея. Пожалуй, можно

также сказать, что наступило время Конгрива, человека, который, мастерски владея диалогом и искусством построения интриги, ввел дискурс в "комедию Реставрации".

То был также век Большого турне по Европе. Что ж, от такого я, пожалуй, и сам бы не отказался. Еще с той поры, как носивший совершенно прелестное имя французский живописец Гиацинт Риго написал короткий, пригодный лишь для XVIII столетия вариант "Примерного путеводителя", все, кому было не лень, принялись совершать Большие турне. Композиторы, художники, даже цари: тот же Петр Великий попробовал выяснить, что это такое — прежде, чем помереть, — правда, инкогнито♪. Так или иначе, Большое турне оставляло, что только естественно, большие и скучные воспоминания. Выросла целая школа живописцев — они назывались vedutisti, или панорамисты, — удовлетворявших в Италии спрос на сувениры: живописцы эти селились на больших туристских курортах и писали огромные горизонтальные горизонты Венеции и иных городов. Каждое их полотно, тут и сомневаться нечего, снабжалось подписью: "Mia Mamma e andata a Venezia, e tutto questo que mia apportato e questa brutamaglietta!"♪♪ Сейчас, говоря о такого рода творениях, чаще всего поминают Каналетто, хотя в то время большей, возможно, популярностью пользовался Франческо Гварди.

Итак, то был век Большого турне; но какая же музыка помогала вам коротать время, если вы решались заехать в Италию? Ну, если вам удавалось получить приличный номер с приличным видом из окон, одним из тех, которых вы могли увидеть, глядя в окно, был некто Альбинони.

А *вот и старина адажио*

При множестве его более чем достойных творений венецианец Томазо Альбинони был обречен на то, чтобы оказаться не вполне даже автором одного-единственного чудо-хита. Подобно многим иным композиторам, он нередко работал над несколькими сочинениями сразу — операми на либретто Метастазио, Тима Райса тех дней, или симфониями, форму которых он, как считают, основательно продвинул вперед. Иногда Альбинони просто записывал идею, или часть идеи, или, быть может, какой-то фрагмент, на время откладывая его, чтобы вернуться к нему когда-нибудь позже. Один из таких "набросков", просто кусочек рукописи, был в 1945 году найден итальянским ученым Ремо Джацото в собственной мусорной корзине. Фрагмент содержал лишь пригоршню нот, написанных для партии скрипки, и партию басовую, далеко не полную. Немного поломав голову и прикинув, куда дует ветер, Джацото соорудил то, что известно ныне как Адажио Альбинони — даром что сам Альбинони ничего такого и не написал.

Будучи адажио — что по-итальянски значит "медленный темп", — оно представляет собой неспешную, простую мелодию, исполняемую струнными в пунктирном сопровождении негромких, порою щемящих

♪. То есть "прежде, чем помереть" **И** "правда, инкогнито". Не "прежде, чем помереть, правда, инкогнито" — понимаете? Я просто хотел уточнить. Вообще-то, насколько мне известно, царь Петр никогда "инкогнито" не помирал. Ну, и ладно. Рад, что все разъяснилось.

♪♪. Перевод: "Мама смоталась в Венецию и привезла мне оттуда только одно — вот эту вшивую картинку!"

звуков органа. А будучи сочинением гибридным, оно оказалось куда романтичнее большинства барочных произведений этого рода. Так что, когда станете снова слушать его, вспомните об Альбинони и его набросках, вспомните о Ремо Джацото, которого никто почти и не помнит; но прежде всего вспомните о Каналетто, пишущем венецианский закат, о тихом плеске заросших травой каналов, о глухих ударах покрытых облупившейся краской гондол о причалы. Прекрасно. Упоительно. <...>

Да, и не забудьте о Нафане пророке!

Хорошо. А куда же подевались Бах с Генделем? Ну, если честно, оба по-прежнему царствуют. Бах пишет такие вещи, как "Страсти по Иоанну" и "Страсти по Матфею" — о них я еще скажу; а Гендель... ну что Гендель? Гендель сочиняет оперу "Роделинда" (давшую нам роскошную арию "Dove sei"[1]), а также "Садока-священника" (не забудьте о Нафане пророке — про него я тоже еще скажу). Каждый из них — это подобие отдельной ноги... колосса композиции, стоящего, расставив... опять-таки ноги... над гаванью, которая... ну, в общем, над музыкой. Так сказать. Я понимаю, над этим предложением придется еще поработать. Да, но к чему, как говаривали в 70-х, клонится музыка? К чему клонится *все вообще*? К чему оно все *идет*? Собственно говоря, оно идет более-менее туда же, куда и все прочие, — совершает Большое пурне. Давайте я попробую все объяснить — пока вы не приставили ко мне санитаров.

Я вот что имел в виду. Представьте себе, что вы — музыка как таковая, хорошо? Так вот, за спиной у вас... дом — сиречь церковная музыка. Как и всякий дом, он неизменно стоит на одном месте, но только теперь... в общем, в нем теперь никто не живет. Все ушли в оперу, а опера миновала первый вершинный пик своего развития, и теперь она на спаде. Она еще возьмет свое, однако этого придется ждать не один год. Пока же наш царь — музыка инструментальная, а царство ее — Италия.

Первыми в инструментальной музыке появились увертюры — оркестр играл как один человек. Потом он разделился — две части одного и того же оркестра, примерно как две команды, играли друг против друга. Такое двухкомандное образование называлось концертом. Затем одна группа сократилась в размерах. И теперь небольшая группа солистов играла против всего остального оркестра — получился кончерто гроссо, или большой концерт.

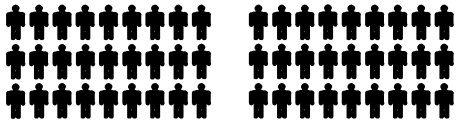
Попробуем взглянуть на это так. Представьте, что каждый — это музыкант в составе оркестра.

В случае увертюры, оркестр выглядит следующим образом:

Все играют вместе, понимаете?

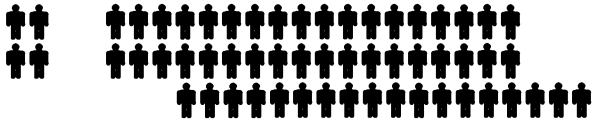
Потом оркестр разделяется:

1. "Вот вы где" (*итал.*).



...чтобы играть концерт.

А потом одна сторона становится меньше другой:



...и играет кончерто гроссо.

Большим энтузиастом этих кончерто гроссо был итальянец Корелли — как и композиторы менее известные, вроде Джеминиани и Торелли, да, собственно, как и сам Гендель. А отсюда уже и до "сольного концерта" рукой подать:

...один музыкант играет против всех прочих — это и поныне остается вариантом наиболее распространенным. Честно говоря, сейчас он — один из самых привычных. Вивальди выжал из этого "формата" практически все, что мог. <...>

А вместе с концертом появляется и — оно, разумеется, довольно очевидно, однако сказать об этом следует — Солист. А вместе с солистом — что? Ну, что... припадки жеманничанья и несусветные требования по части артистической уборной. Замечательно. Именно этого нам и не хватало. "Мне нужна ваза с "M&M", только уберите из нее все синие... ах да, и пюпитр для нот".

Что касается стороны технической, орган, штука, конечно, важная, однако то и дело появлялись и инструменты новые — не только фортепиано, о котором я уже упоминал, но и пикколо (забавная разновидность флейты для карлика-кастрата, так сказать), и кларнет, и, как это ни странно, камертон♪.

Токката и фига

Так о чем там шумят в **1729-м**? Кого клянут? Кого нахваливают? "Компания Южных Морей" благополучно лопнула, Екатерина Великая сменила на троне Петра Великого — приятно видеть, что она взяла его фамилию, — а "Молль Флендерс" по-прежнему остается любимой книгой читающей публики, и это через семь лет после первого ее издания. И, пожалуй, публику можно понять. Гендель по собственной воле отказался от права первым получать палубный шезлонг — принял британское

♪. Кстати сказать, камертон был изобретен трубачом. Да оно и понятно: если кто и ощущал потребность в приспособлении, позволяющем выдерживать общий строй, так именно трубач.

гражданство. Бах, разумеется, Германию так и не покинул, хоть и переехал, проделав довольно длинный для него путь, в Лейпциг.

У Иоганна Себастьяна происходила своего рода разборка с церковным начальством, и ее, разумеется, не облегчало то обстоятельство, что он был последним, кого включили в список кандидатов на в конечном итоге полученное им в Лейпциге место. Баха считали менее предпочтительным, чем на редкость скучный Телеман, менее предпочтительным даже, чем на редкость малоизвестный Групнер. А кто это? (Ред. А, собственно, сам-то этот Ред. кто таков?) Нелады с работодателями у Баха случались далеко не один раз, и, думаю, если взглянуть на них непредвзято, окажется, что и правые, и виноватые найдутся с обеих сторон. Работа у Баха была на редкость тяжелая — ему приходилось сочинять и аранжировать музыку для столь многих городов и событий. Однако и с ним, по некоторым сведениям, ужиться тоже бывало не просто. Был случай, когда он, претендуя на некую должность, призабыл сообщить своему новому нанимателю об одном существенном обстоятельстве — о том, что должность у него уже имелась и отказываться от нее он не собирался. Кончилось все тем, что Баха посадили под домашний арест, дабы он не улепетнул к новому антрепренеру.

Впрочем, хорошо уж и то, что свары Баха с властями предержащими никак, похоже, не сказывались на его творчестве. Великие произведения искусства попросту изливались из него, как изливается из пор простого смертного пот. Одно из них — это чудесные "Страсти по Матфею", в которых Бах использовал не только данное святым Матфеем описание страстей Господних, но и кое-какие дополнительные стихи, сочиненные человеком, который писал под псевдонимом Пикандер, а на деле был лейпцигским почтмейстером. Как нетрудно себе представить, Бах, человек, преданный Церкви, создавая драматическое изображение распятия и воскрешения Христа, сил не пожалел. "Ораториальные Страсти" были выдумкой, по преимуществу, немецкой, произросшей из литургических лютеранских музыкальных "Страстей", зачинателями коих стали первые музыкальные поселенцы, такие, как Шютц♪.

Бах, однако же, приспособил "Страсти" к собственным нуждам. Он увеличил объем небиблейских текстов, повысил требования к поэтам вроде Пикандера — друзья называли его "почтмейстер Пик", — поэтам, от которых он хотел получить оригинальные, но не менее уместные в такого рода сочинении слова. В "Страстях по Матфею", или, если прибегнуть к названию, которое дал им сам Бах, в "Passio Domini nostri J. C. secundum Evangelistam Mettaeum", великий человек использовал двадцать семь — вместо двенадцати — библейских фрагментов. То были последние из его великих "Страстей", исполненные в Великую же пятницу 1729 года в лейпцигской церкви Святого Фомы. Я говорю о первом исполнении. Увы, второго пришлось дожидаться целых сто лет, его осуществил в Берлине некто Феликс Мендельсон, но это уже совсем другая история. Если вам вдруг захочется послушать "Страсти", имейте в виду, что сочинение это очень длинное, однако более-менее каждый фрагмент его великолепен — так, во всяком случае, считают запойные слушатели Ба-

♪. Немецкий композитор, родившийся в Саксонии и работавший по преимуществу в Дрездене. С большим удовольствием писал и "Страсти", и оперы. В его "Семи словах Спасителя" — не путайте со схожим по названию сочинением Гайдна — прекрасно использованы тексты всех четырех Евангелий.

ха, — а великолепнее всех прочих хорал "О, священная глава, вся покрытая ранами".

Что касается Георга Фридриха, он сочинил за год до этого небольшую оперу, "Толомео", содержащую приятнейшее "Безмолвное поклонение", однако, по всей вероятности, все еще продолжал купаться в лучах славы, которую принесли ему четыре гимна, написанные за два года до того для коронации Георга II. Собственно говоря, купаться в лучах славы, которую принес ему один из них, первый, известный ныне всем под обратившимся едва ли не в поговорку названием "Священник Садок" (и не забудьте о Нафане пророке!♪). Все они стали популярными настолько, что исполняются с тех пор во время каждой, более или менее, коронации. Если, конечно, на нее удается зазвать нужное число членов королевской семьи♪♪.

Война и ~~мир~~ снова война

Итак, это был 1729-й. Более-менее, плюс-минус пара лет. Чтобы добраться до следующей важной вехи, вам придется миновать открытие оперного театра "Ковент-Гарден", рождение Гайдна и основание Академии старинной музыки. Это что касается собственно музыки. Что же до прочего, имеется также дом № 10 по Даунинг-стрит; рекомендация доктора Джона Арбатнота следить за тем, что мы едим; зарождение игры в кегли; основание Конрадом Бейсселем секты "субботников"; коронация Христиана VI Датского; вступление на трон дочери царя Иоанна V Анны, наверняка получившей недурственное содержание и корпоративную карету в личное пользование; основание виконтом Таунсендом по прозвищу Турнепс четырехпольной системы земледелия — нет, меня ни о чем больше не спрашивайте; смерть трех великих английских литераторов — Даниеля Дефо, Илии Фентона и Джона Гея; рождение Станислава II, последнего короля независимой Польши; и создание в Филадельфии — Бенджамином Франклином — первой в истории публичной библиотеки. Слава богу, с этим покончено.

А в добавление ко всему велась война. <...> Что и напоминает мне: БАХ!

Что именно напоминает? Ну, видите ли, в **1733-м** Бах и сам вел небольшую войну. Далеко не такую масштабную, что верно, то верно, однако это была война, никак не меньше. Войну ИСБ вел с церковным начальством — опять! — на сей раз с начальством лейпцигской церкви Св. Фомы, и, разумеется, из-за денег. Вернее, согласно Баху, из-за отсутствия таковых. Занимаемое им место кантора подразумевает, что он должен играть на органе, писать новую музыку — каждую неделю, заметьте! — для двух церквей и всех исполняемых в них служб. Он проводит репетиции, руководит хорами (и обучает их) *еще* в двух церквах, а также обязан в свое — обратите внимание! — *свободное время* преподавать латынь и музыку в местной школе. Добавьте к этому то обстоятельство,

♪. Первая строка "Садока священника" выглядит так: "Садок священник и Нафан пророк помазали в цари Соломона". Мне всегда было жалко достойного, основательного Нафана пророка. В оригинальном предании он неизменно упоминался наряду со священником, а запомнили почему-то только Садока.

♪♪. Я вовсе не шучу.

что жилье, полученное им от работодателей, довольно убого, а платят ему сущие гроши. Так что, сами понимаете, воевать ему приходится практически непрестанно. Но как это сказывается на его, что называется, "музе"? Не иссяк ли для Баха кастальский ключ? Не обратился ли он в сочинителя, не способного за множеством забот написать ни единой ноты? Да в общем-то нет. Как это ни странно, совсем наоборот. Годы, проведенные в Лейпциге, оказались для Баха наиболее плодоносными.

Это время отмечено созданием великих произведений. "Искусство фуги", пусть и не завершенное, представляло собой колоссальный замысел, при осуществлении которого использовались практически все мыслимые музыкальные средства той эпохи. На самом-то деле оно представляло собой КОЛОССАЛЬНЫЙ выпендреж. Бах сочинил для него одну-единственную мелодию. И затем решил показать, сколько раз и сколь различными средствами можно изменять, варьировать и по-новому представлять эту мелодию. Немного похоже на джазиста, которому дают короткую тему, и он, опираясь на нее, часами импровизирует — просто чтобы показать, какой он у нас умный. А кроме того, были еще "Гольдберг-вариации", "Музыкальные приношения" и, разумеется, начатый как раз в этом году, в 1733-м, простенький пустячок... *Месса си минор.*

Критическая месса

Месса си минор — или по-немецки Die Messe in H Moll — считается многими величайшим творением великого мастера. Она массивна. Полная латинская месса, состоящая из двадцати четырех эпизодов, содержащая монументальные версии "Глории", "Распятия" и "Кредо". И — это еще интереснее — месса католическая, что несколько странно для Баха, первейшего протестантского композитора своего времени. Не исключено, что Бах намеревался расширить свой бизнес: он вполне мог послать "Кирие" и "Глорию" католическому королю Саксонии — а ну как тот возьмет да и предложит ему место придворного композитора. И опять-таки, знаю, я уже говорил это прежде, и все же постарайтесь послушать ее в живом исполнении. Произведение КРУПНОЕ и даже лучшие записи на компакт-дисках не способны передать его во всей полноте. <...>

Если честно, затейливая, витиеватая музыка, именуемая барочной, хоть и переживает лучшее свое время, однако на стене уже появились зловещие письмена, предзнаменующие ее кончину. Впрочем, сроки ее еще не настали. Пока. Пока продолжают царствовать Бах и Гендель. Хотя стоит присмотреться и кое к кому еще.

Звезды барокко

К Жану Филиппу Рамо, например, человеку из Дижона. В свое время, а у нас, собственно, как раз об этом времени и речь, Рамо был популярен до невероятия. Он сварганил тридцать с чем-то опер и балетов, да и вообще много способствовал развитию своего ремесла, в частности той же оперы. Всего только в прошлом — 1735-м — году его "Галантные Индии", самый нашумевший из балетов сезона, пользовались огромным успехом. При этом он не просто старался ублажить публику. Рамо раз-

двигал границы того, что считалось вполне устоявшимся. Именно он приложил немалые усилия, привнося в музыку описательные элементы. До этого времени музыка была по преимуществу... ну, в общем, музыкой, сочиняемой либо ради нее самой, либо для прославления Господа. Рамо же решил, что ей не помешает и описание вещей вполне земных. И в сочинениях наподобие "Галантных Индий" появились музыкальные землетрясения, бури, извержения вулканов, стрельба по тарелочкам ☺ – все это Рамо изображал в музыке.

А был еще Перголези. И, прошу прощения еще раз, я немного задержусь на его имени. Оно всегда казалось мне прекрасным – Джованни Баттиста Перголези. Из Дезио, что в Италии. Мм. Прекрасно. В общем, как я уже сказал, Перголези родился в итальянском городе Дезио. Жизнь он прожил трагически краткую, скончался в двадцать шесть лет, однако успел написать за это время примерно пятнадцать опер и двенадцать кантат. <...> У Перголези нашлось время и на сочинение музыки духовной, одно из этих его произведений часто исполняется и поныне, причем по одной-единственной причине: оно прекрасно. Это музыкальное переложение "Stabat Mater" – латинского текста, сочиненного для Страстной недели и описывающего мать Иисуса, стоящую у подножия креста.

Ну-с, если я скажу вам, что 1736-й – это всего лишь воспоминание, смутное и далекое, вы мне поверите? Да, скорее всего, поверите, поскольку нас отделяют от этого времени сотни лет. Я, собственно, что хотел предложить – давайте переберемся на шесть лет вперед, в **1742-й**. Многое изменилось. Изменилась музыка. Изменился мир. Даже я успел поменять нижнее белье. <...>

"В *прекрасном городе* Дублине Гендель *встречается с комитетом...*"

<...> Гендель направляется в Дублин, где вскорости предложит вниманию публики свой вариант фразы "Такого вы еще не видали", на сей раз в обличии оратории. Герцог Девонширский пригласил его в ирландскую столицу – дать несколько бенефисных концертов, – и Гендель приглашение с охотой принял. Некоторое время назад он потерял около десяти тысяч – вложил их в итальянскую оперную труппу, а та возьми да и лопни – и потому был очень не прочь покрасоваться перед ирландцами в качестве "континентальной звезды".

Гендель приехал в Дублин, намереваясь дать несколько концертов, заработать хорошие деньги и благополучно откланяться. Однако принимали его так хорошо, что он остался на девять месяцев – снял дом на Эббистрит и вместо запланированных шести концертов дал двенадцать. Живя здесь, он проникался к местным музыкантам все большим уважением и в конечном итоге отказался от предвзятой идеи о том, что новой оратории, над которой он работал, им не потянуть. И потому 27 марта названного года Гендель поместил в "Даблин-джорнал" следующее объявление:

Дабы облегчить участь заключенных нескольких тюрем, а также имея в виду оказать вспоможение больнице Мерсера на Стефанстрит и Благотворительной лечебнице в Иннс-Ки, в понедельник, апреля 12, в Музыкальном зале на Фишэмбл-стрит будет исполнена

Большая оратория мистера Генделя, называемая МЕССИЯ, в каковом исполнении примут участие Джентльмены из Хоров обеих церквей, сопровождаемые органом, на коем будет играть сам мистер Гендель.

На премьеру в зал, предназначенный для шестисот человек, набилось семьсот. Газетные рецензенты рассыпались в похвалах. "По мнению наилучших знатоков, творение сие намного превосходит все ему подобные, исполнявшиеся когда-либо в этом или ином другом королевстве".

Так зародилась одна из великих легенд музыки. Некоторые говорят, будто Гендель написал свою ораторию за двадцать пять дней, другие дают еще меньше — восемнадцать. С определенностью можно сказать одно: в тот год, в Дублине, на руках у Генделя оказался потрясающий хит. В дальнейшем он не оставлял попыток повторить успех "Мессии", написав череду других ораторий: "Семела", "Иуда Маккавей", "Иисус", "Соломон", "Белоснежка и семь гномов" ☺ ... виноват, перепутал заметки. <...>

...Так не о чем больше и говорить

<...> И все-таки "официально" классицизм начался. То есть период, давший название всей классической музыке. А это почему? Почему именно этот период, продлившийся с 1750-го по 1820-й, дал название ВСЕЙ музыке такого рода, сочиняемой с названного года и по настоящий день? Барочная, романтическая, даже современная музыка... почему мы называем всю ее классической? Как ответить на этот вопрос?

Понятия не имею. <...>

Умелец со средствами

Так вот, если помнить о том, что многие считали оперу уже отжившей свой век, шаг, совершенный Кристофом Виллибальдом фон Глюком, представляется довольно рискованным. Правда, не самому Глюку. Глюк, если честно, имел перед другими одно преимущество: он много колесил по свету. Заезжал то туда, то сюда — увидит где-нибудь идею и прикарманит, услышит новый стиль, прикарманит и стиль. Кроме того, он женился на дочери одного из богатейших банкиров Вены — по любви, как вы понимаете, — и потому мог позволить себе побездельничать и посочинять на досуге то, что ему нравилось. А что ему нравилось? А нравился ему реализм. Он хотел, чтобы в музыке было побольше реализма — меньше "музыки для музыки" и больше "вот тут музыка должна звучать подобно тому-то и тому-то" или "эта часть произведения должна имитировать то-то и то-то". Глюк уже опробовал этот подход в основанном на мольеровском "Дон Жуане" балете, и ему, в общем, понравилось. Вот он и решил проделать то же самое снова, на сей раз в опере.

Либретто он заказал приятелю, ведавшему местной лотереей, и — в общем, как тогда выражались, рука руку моет, — Глюк выиграл. Публика ничего подобного прежде не видела. На сцене появились *настоящие* люди, *настоящая* правда. Да и звучало это сочинение намного драматичнее всего, что когда-либо слышала публика, — главным образом потому, что Глюк, используя оркестр, опробовал, если угодно, новые звуковые эффекты. Пуб-

лике казалось, будто она *и вправду* слышит в музыке гром, *ощущает* ярость фурий и едва ли не *видит* красоту Элизиума. Неужели опера снова сможет обрести популярность? Да, Глюк с его не лишенным забавности средним именем как раз так и думал. И что же представляло собой произведение, столь изменившее отношение к опере? Ну-с, поверите ли? Оно представляло собой переработку истории, которая еще в 1607 году легла в основу первого, более или менее оперного хита. Истории Орфея и Эвридики.

Орфей и Эврика

"Орфей и Эвридика" — Глюк. "La Favola d'Orfeo"[1] — Монтеверди. "Orphée aux Enfers"[2] — Оффенбах. И даже "Orpheus and Eurydyke" — Крженек. Поразительно, с каким постоянством перерабатывалась эта история. В оперные либретто она попадала гораздо чаще других, и по крайней мере в двух случаях оказывалась на переднем краю музыкальных новаций. Поэтому нисколько не удивляешься, узнав, что история эта рассказывает — о ком бы вы думали? — об "изобретателе музыки" Орфее, который выводит свою возлюбленную Эвридику из Аида, и лишь затем, чтобы вновь утратить ее в миг воссоединения. Интересно, что Глюк приделал к этой истории счастливый конец: появляется Амур, возвращающий Эвридику к жизни, — совсем не то, что у Монтеверди, там Орфей теряет Эвридику, зато Аполлон — в виде компенсации — помещает его среди звезд. Классическая история, давшая по крайней мере три классические оперы, каждая из которых хороша по-своему. <...>

Чудо-ребенок

Если говорить о музыке, самое крупное событие 1764-го представляет собой сущий, как говорится, пустяк. Первое сочинение восьмилетнего Моцарта. Вы только представьте, каково ему было терпеть покровительство людей, даже не понимавших, что перед ними гений. "Ооо... Моцарт... детууленька... что, музичку доброму дяде принес?.. ах, принес?.. принес?.. Мама родная, да никак тут целая симфония? В, э-э, в четырех частях? Ну, ладно. Для полного оркестра. Правильно. Отлично. Так. Давай послушаем. — И шепотом: — Разумничался, сучий потрох".

Не знаю, доводилось ли вам когда-либо слышать "Первую симфонию" Моцарта, написанную им в 1764-м, всего-навсего в восемь лет. По его меркам, вещица довольно простая, особенно в сравнении с величавостью "Юпитера", оригинальностью 40-й и коричневостью♪ моей любимой 29-й. Но при всей ее простоте и даже малости, формой она отличается совершенной. И ведь так легко разливаться в пустых словах насчет того, что она написана восьмилетним мальчишкой. ВОСЬМИ-

1. "Сказка об Орфее" (*итал.*).
2. "Орфей в аду" (*франц.*).

♪. Если вы не слышали 29-ю, попробуйте отыскать ее запись. У нее просто-напросто коричневая первая часть! Роскошно коричневая. Не знаю, почему, но это так. Тут мне, похоже, придется согласиться со Скрябиным и Блиссом — я считаю, что определенные звуки наводят на мысль об определенных цветах. Как они это делают, мне не понять, однако делают. И 29-я симфония Моцарта безусловно КОРИЧНЕВА. Вот. Мне просто хотелось снять с души этот груз.

ЛЕТНИМ! Мамочки с папочками, вдумайтесь — это ж всего только третий год обучения. Если ваше дитя как-нибудь вернется на третьем году обучения домой и притащит с собой картинку — небо, а на нем облака из наклеенной ваты, — или слепленную из папье-маше маску для Хэллоуина, а с ними еще и симфонию в четырех частях, прикиньте, какие вас обуяют чувства? Вот именно. Вы будете потрясены, не правда ли? И правильно — картинки из ваты клеят в детском саду, какого черта они отправили восьмилетку домой с такой дребеденью? Ну и, разумеется, вас посетит еще одна мысль: "Господи ты мой Боже, да оно еще и симфонию накатало!" Я потому так долго распространяюсь на эту тему, что нынешние представления о чудо-ребенке кажутся мне несколько размытыми. Всякие там Шарлотты Чёрч, Хейли Вестернра и даже до некоторой степени Рут Лоуренс[1] — все это чудо-дети не совсем в том смысле, в каком был чудо-ребенком Моцарт. Написать в восьмилетнем возрасте полную партитуру четырехчастной симфонии — это выглядело поразительным и тогда, в XVIII веке, подлинном веке вундеркиндов.

<...> Перед нами новое время, яркое и живое. Капитан Кук только что открыл Ботанический залив; <...> в том же году вышла первым изданием Британская энциклопедия; вообще многим эти времена казались волнующими — новые земли, новые учения, лучшее понимание учений старых. И, разумеется, старая гвардия умирала, а на смену ей приходила новая. Вот, скажем, не стало Каналетто, <...> а заодно уж и Гейнсборо. Игривый француз Фрагонар так и продолжает создавать то, что в XVIII столетии собирали вместо непристойных открыток — у французских аристократов они идут нарасхват. Всего несколько лет назад он написал соблазнительную картинку под названием "Качели" и обнаружил, что напал на золотую жилу. Собственно, и всю Францию в 1773-м малость покачивало. Еще один ходок, Шодерло де Лакло, только что опубликовал "Опасные связи" — тоже штучка весьма откровенная. Сам я не в состоянии произнести два этих слова, не вспомнив Джона Малковича, пишущего на голой спине Мишель Пфайфер. Нет, лучше не продолжать. В конечном счете, жизнь тогда во Франции была такая, что лучшей и желать не приходится, — ЕСЛИ вы обращались в правильных кругах. (А это очень немалое "если".) <...>

Гайдн — работа Эстергази?

Да и Гайдн тоже проводил это время неплохо. На самом деле, если честно, он зарабатывал очень приличные деньги! Голодающим художником его никто бы не назвал. Чердачная каморка, нищенская могилка — ну уж нет, большое спасибо. Ни-ни. Своей композиторской жизнью он распоряжался не столько как художник, сколько как страховая компания... или что-то в этом роде. Добыл себе неплохую должность придворного композитора князя Эстергази, поселился у него в Айзенштадте, невдалеке от столицы Австрии, а потом, ну... просто-напросто служил в этой

1. Шарлотта Чёрч (р. 1986) — поп-певица, впервые прославившаяся в 13 лет, исполняя популярную классическую музыку. Хейли Вестернра (р. 1984) — новозеландская певица, в 17 лет приобретшая мировую славу. Рут Лоуренс (р. 1971) — математик. В восемь лет сдала экзамен по математике по программе средней школы, в девять — экзамен по программе повышенного уровня, в десять поступила на математический факультет Оксфорда.

должности. *Всю жизнь*. Правда, он много работал, пек музыку, как блины, да еще и со скоростью, которую только узлами и измерять. Но что касается хождения по краю, то таки нет... изображать из себя укротителя львов Гайдн никогда не стремился.

Правда, как-то раз он написал симфонию с приложенной к ней инструкцией, согласно которой оркестранты, доиграв свои партии, один за другим покидали сцену. То есть сцена понемногу пустела прямо на глазах у публики, и под конец на ней оставался всего один музыкант — Гайдн сочинил для него особую "спотыкающуюся" тему, коей все и кончалось. А потом и этот последний тоже переставал играть и уходил со сцены. Задумано все было как шпилька в адрес хозяина, который вот уж лет сто не давал отпуска ни композитору, ни музыкантам. Гайдн назвал симфонию "Прощальной" — в смысле прощания с расходящимся оркестром, а не в том, что сам он никогда больше на ринг не выйдет. Н-да. Интересно задумано, правда? Не знаю, эти уж мне музыканты. Бока можно надорвать от смеха, не так ли? И ведь это была его 45-я симфония. 45-я! Вы можете в такое поверить? А к концу жизни он этот счет более чем удвоил. Ну, правда, Гайдн и написал ее в возрасте сорока одного года. Вольфгангу Амадею Теофилу Дорофею Моцарту ☺♪, подельнику Гайдна по преступлениям, совершенным криминальным сообществом "Сони-Классика"©, было в то время всего семнадцать лет.

Впрочем, удержу Моцарт не знал ни в каком возрасте, и в 1773-м он выдал совершенно бесподобное, райское трехчастное сочинение "Exsultate, Jubilate"[1]. Для сопрано и оркестра, хотя это не совсем верно: первоначально оно предназначалось для кастрата и оркестра. Незадолго до того Моцарт свел знакомство с неким Венанцио Рауццини, знаменитым chanteur sans balles, исполнившим главную партию в ранней опере Моцарта "Луций Сулла". Моцарт, на которого он явно произвел сильное впечатление, уселся за сочинение новой вещи — с латинским текстом. Она содержит один из самых роскошных образчиков выпендрежа, какие свет видел с тех пор, как Хильдегарда Бингенская научилась играть на губной гармошке, одновременно крутя педали велосипеда. Моцарт решил построить *всю* последнюю часть на одном-единственном слове "аллилуйя". Тот еще умник. Но, вообще говоря, это дает нам возможность подвести очередные итоги и посмотреть, далеко ли мы с вами зашли — в смысле музыки.

Дело в том, что, если вы задумаетесь над последней частью сочинения Моцарта, написанной всего на одно слово, а после вспомните кого-нибудь вроде, ну, скажем, Иоганна Себастьяна Баха, коего тоже порой посещало желание повыкаблучиваться, вы поймете, как далеко они отстоят друг от друга. Бах выпендривался, а делал он это нередко и с большим размахом: обращал свое имя в музыкальную тему произведения; сооружал двухголосные и четырехголосные фуги, которые, добравшись до конца, шли назад♪♪, — в общем, все это были упражнения по преимуществу "академические". Великолепно исполненные, точные до 78-го зна-

♪. Это шутка, но лишь отчасти. Полное имя Моцарта — то, что стоит в его метрике, — было таким: Иоганн Христофор Вольфганг Теофил Моцарт (Амадей — это позднейшая подстановка, латинская переделка греческого Теофил). Так что я тут не просто продемонстрировал мое никому не интересное знакомство с историей "Институций Юстиниана".

1. "Радуйтесь, ликуйте" (*лат.*).

♪♪. Что, насколько я знаю, именуется ракоходом.

ка после десятичной запятой и все же несколько... ну, не очень... эмоциональные, что ли. Я понимаю, что вступаю на тонкий, во всяком случае для некоторых, лед, поскольку бахофилы любят своего любимого композитора со страстью — я это без всяких каламбуров говорю. Я тоже от него без ума. И все-таки от Моцарта, делающего свое дело всего через двадцать с чем-то лет после смерти великого человека, вы получаете радостную, повышающую настроение музыку, которая звучит, как... звучит как свобода, если угодно. Звучит так, точно Моцарт просто-напросто импровизирует прямо на нотной бумаге. "О, сейчас можно было б пойти вон в ту сторону. Да знаю, знаю, вот покончу с этим и пойду" — примерно так по нашим представлениям работает мозг джазового музыканта, а ведь всего лет двадцать с чем-то назад от музыки прямо-таки пахло кропотливыми вычислениями. Я понятно изъясняюсь? Надеюсь, что да. А если так, сказанное мной всего лишь доказывает, что все когда-нибудь случается в первый раз.

Ну хорошо, в таком случае переходим к официальному заявлению. Теплые, округлые вмятины, оставленные на сдвоенном троне музыки Бахом и Генделем, заполняют теперь молодые и еще более молодые ягодицы Гайдна и Моцарта. Барокко давно скончалось, и *классической* музыкой является ныне новая классическая музыка. <...>

Моцарт, наделавший шума

Жизнь Моцарт прожил феерическую. Он родился в уже музыкальной семье, его отец, Леопольд, служил капельмейстером у архиепископа Зальцбургского. Леопольд, безусловно, был востер, он быстро учуял возможности, скрытые в его сыне. Сестра Моцарта, Анна — брат называл ее Наннерль, — тоже неплохо справлялась с клавесином, однако Вольфганг, как довольно рано сообразил Леопольд, был одарен всесторонне. Леопольд научил сына всему, что знал сам, вышколив его по части гармонии, контрапункта и всех тонкостей композиции. А вскоре он, должно быть, решил, что сына стоит показать миру — во всяком случае, ранние свои годы Вольфганг провел в пути, при этом он не столько смотрел мир, сколько сам выставлялся ему напоказ. Разъездная труппа семейства Моцартов стала почти всеевропейской сенсацией, дав концерты даже в Лондоне и Париже. Собственно, если вам случится попасть в Лондон и оказаться в очереди, которая тянется к джаз-клубу Ронни Скотта, приглядитесь к другой стороне улицы — там висит на стене дома табличка, напоминающая, что в нем останавливался Моцарт.

В девятнадцать лет Моцарт предпринял уже единоличное турне, взяв с собой для компании маму. Дорогой он заехал в Мюнхен и, остановившись в семье переписчика нот Вебера, влюбился. Да еще как. Ее звали Алоизией, и Моцарт втюрился в нее по самые уши. Увы, она не ответила на его чувства взаимностью. Никакой. Вдобавок во время поездки скончалась мать, так что Париж Моцарт покидал с сердцем, разбитым вдвойне. Очень скоро, уже возвратившись в Зальцбург, он расплевался со своим работодателем, архиепископом, — если судить по письмам Моцарта, он успел хлопнуть дверью еще до того, как ему на нее указали, — уложил вещи и переехал в Вену, которая очень скоро стала городом его мечты.

В Вене он не только сочиняет лучшие свои вещи, но и находит новую любовь — да там, где никто другой ее искать и не стал бы. Собственно, если у него и была какая-то общая с Гайдном черта, то такая, от которой оторопь берет: оба в конце концов женились на сестрах женщин, за которыми поначалу ухаживали. Для Гайдна это стало величайшей ошибкой его жизни. Жена его оказалась сущей стервой, и никакой решительно любви он к ней не питал. Да и она, со своей стороны, не любила его и раз за разом выстилала манускриптами любимейших его сочинений противни, на которых пекла печенье, или пускала эти бумаги на папильотки♪.

Моцарт же попал в самую точку. Когда Алоизия подалась, лишь бы не выходить за него, в монахини ☺, Моцарт женился на ее сестричке, Констанце, и они зажили душа в душу. Очень были счастливы, очень. Денег, правда, было то густо, то пусто, однако Моцарт сочинял как одержимый, создавая отличные вещи: симфонии, струнные квартеты, сонаты, серенады — множество отличных вещей.

На *следующий год приходится важная дата*

Мы снова встречаемся с Моцартом, когда ему уже стукнуло двадцать девять лет. Двадцать девять! Не забывайте, по меркам Моцарта это означает, что ему самое время заказывать билет в один конец. Автобус уже и двигатель прогревает. У Моцарта прекрасно получаются оперы — публика их любит, — хотя первая по-настоящему *ударная* его вещь, первая из тех, что навсегда останется на сцене, еще впереди. Он уже сочинил "Хафнер-серенаду" — музыкальное сопровождение, если честно, предназначенное для свадьбы, которую играли во влиятельном семействе Хафнеров, — сочинил и "Похищение из сераля", "Идоменея" и "Мессу до минор" — последнюю всего два года назад.

Впрочем, самое важное сейчас для Моцарта — это фортепьянные концерты. Они исполняют для него роль своего рода визитных карточек — он играет их, навещая во время разъездов всякого рода герцогов, императоров и прочих. Это сочинения, позволяющие ему порождать великий звук — да, полагаю, и *выглядеть* великим человеком, — поскольку они зачастую очень сложны технически и при этом включают в себя медленные части, за которые не жалко и умереть. Одни только эти медленные части содержат потрясающие, надрывающие сердце мелодии, слушая которые благовоспитанная публика 1780-х роняла слезы в табакерки. В одном смысле они были, если угодно, чем-то вроде синглов-сорокапяток своего времени♪♪, а в другом их можно назвать "становым хребтом" всего, что оставил нам Моцарт — двадцать семь фортепьянных концертов, и каждый из них образует главу в музыкальном дневнике его жизни. Каждый говорит вам чуть больше о том, что происходило

♪. Вот это самое "на папильотки" всегда ставило меня в тупик. Я к тому, что оно, конечно, чистая правда, однако попробуйте-ка сами наделать папильоток из партитуры симфонии "Часы". Может, эта дама не всю симфонию в дело пускала, а для начала составляла из нее попурри? ПОПУРРИ!!! Впрочем, как вам будет угодно.

♪♪. Мм, какая роскошная тема для школьного сочинения: "Медленные темы фортепьянных концертов Моцарта — популярные баллады своего времени. Обсудить". Добавочные очки начисляются тем, кто сможет сопоставить (и противопоставить) 21-й фортепьянный концерт с "Мощью любви" Дженнифер Раш.

с Моцартом, когда он сочинял этот концерт. Давайте сделаем один моментальный снимок.

Возьмем сам 1785-й, Фортепьянный концерт № 21. Превосходный ФК, содержащий лучшую, быть может, из баллад упомянутого типа. Или следует все же назвать ее медленной темой? Концерт написан всего через несколько недель после завершения предыдущего Фортепьянного концерта ре минор — Моцарт и вправду писал их со страшной скоростью — и недолгое время спустя после женитьбы на Констанце. Внешние его части белы, пушисты и словно бы воспевают радости весны, а вот внутренняя, медленная, приобрела, и совершенно заслуженно, известность не только в концертных залах, но также в кино и рекламе. Собственно, за этим концертом закрепилось прозвище "Эльвира Мадиган" — лишь потому, что в 1967-м кто-то использовал его в называвшемся так шведском кинофильме. Бедный Моцарт, вот что я вам скажу. Хотя, наверное, могло быть и хуже. Концерт "Оно явилось из болота!" представляется мне несколько менее привлекательным, особенно если это "твоя" музыка.

Гёте в раю

Спустя год Моцарт все еще оставался верховным главнокомандующим. В смысле общемировом, **1786-й** — время весьма любопытное. Лучшим парфюмом месяца мы обязаны литературе, и связан он с именем Робби Бёрнса и его "Стихотворениями, написанными преимущественно на шотландском диалекте". Да и вообще это год, в который все и каждый затевает что-нибудь, отзывающее Шотландией — задает шотландские балы, устраивает тематические шотландские вечера, готовится, безуспешно впрочем, к кое-каким крупным спортивным состязаниям, ну и так далее. А вдали от Шотландии Гёте, украшение Германии, пытается в это же самое время стать украшением еще и Италии. Гёте приехал в нее на пару лет, намереваясь освоиться со здешней культурой, завести полезные знакомства, ну и так далее. В остальном ничего такого уж значительного 1786-й будущему не преподнес — не считая того, что кто-то открыл уран.

Моцарт же продолжал в этом году набирать все новую силу. Для него то был год, в котором начал плодоносить весь его прежний оперный опыт — в смысле "анналов истории", "грядущих поколений" и прочей ерунды в этом роде. (Помните, мы говорили о том, что опера свое еще возьмет?) Разумеется, оперы он сочинял уже лет сто, но тут вдруг предъявил публике нечто такое, в чем, казалось, все сплавилось воедино. Все как-то сумело... ну, в общем, сойтись вместе. Прямо вот тут. Отчасти это объясняется тем, что его "текстовик", либреттист по имени Да Понте, с которым он до той поры не работал, сочинил для оперы Моцарта отличную "книжечку". (Либретто оперы, как и мюзикла, очень часто именуют просто книжечкой.) В результате опера оказалась итальянской — не первой для Моцарта в этом смысле, но некоторое время остававшейся первой во всех остальных, к тому же она понравилась венской публике, которая почему-то любила, чтобы на театре пели по-итальянски, ну и, разумеется, комедийный характер ей тоже не повредил. Да Понте воспользовался написанной всего за пару лет до того пьесой Бомарше. Тогда она называлась "Женитьба Фигаро" — как, впрочем, называется и теперь.

Первое представление оперы состоялось 1 мая 1786 года в Вене, и говорят, что премьера протянулась вдвое дольше обычного, потому что практически *каждую* арию приходилось, едва допев, исполнять на бис! В итоге популярность оперы привела к появлению императорского указа, запретившего оперным театрам слишком частые бисы: повторили арию-другую — и будет с вас.

Любимец богов — и моей жены тоже

Раз уж мы принялись за Моцарта, должен сказать следующее: я ничуть не считаю нужным извиняться за то, что мы задержимся на нем подольше. Фактически, несмотря на тот факт, что нам предстоит объять <...> еще почти двести двадцать лет, я намереваюсь, отбросив какие-либо сомнения, посвятить следующие девять страниц всего-навсего... *четырем годам*. Четырем годам, дамы, господа и лица еще в этом смысле не определившиеся. Без какой-либо подстраховки. Впрочем, в том, что касается музыки, это не просто четыре года. Это последние четыре года жизни Моцарта! Чтобы отдать им должное, требуется страниц куда больше, чем имеется в моем распоряжении, однако я по крайней мере смогу чуть ближе поднести к этим сорока восьми месяцам увеличительное стекло и рассмотреть их особо. Если бы мы снимали фильм, у нас сейчас возникло бы замедленное движение. Однако первым делом позвольте мне поместить последние четыре года жизни Моцарта в контекст мировых событий. Как тому и быть надлежало, это время принесло большие перемены не одному только Вольфгангу. Катаклизмы, если можно так выразиться, происходили повсеместно.

В **1787** году Америка уже вовсю пользуется независимостью, недавно здесь состоялся двойной дебют — доллара и конституции. Собственно говоря, такие штуки всегда, похоже, подваливают все сразу — как автобусы с новобрачными на бракосочетание, проводимое преподобным Муном. Франция, к примеру, явно начинает нервничать, ее parlement требует созыва трех сословий: дворянства, священнослужителей и простонародья. Людовик XVI упрямится, как может. Да и что ему еще остается, верно? Теперь о войне. Турция вытащила счастливый билет — в том смысле, что подошла ее очередь воевать, так что она решила объявить войну... России, господи боже. Разумеется, если вернуться на землю Англии, так весь этот шум, sturm und drang[1] целого мира, бледнеет перед тем, что свершилось здесь, а именно — перед созданием Марилебонского крикетного клуба. Все пожимают друг другу руки, подкручивают усы и незамедлительно отправляются на стадион "Лордз". Превосходный, я бы сказал, спектакль, обязательно посмотрите, ладно? Отлично сработано, Вольфганг.

Ах да, Вольфганг. Давайте-ка нагоним его, идет? Он, видите ли, сидит сейчас в тряской, неудобной карете, которая ползет из Вены в Прагу. И какие только мысли не приходят ему в голову. Уже октябрь, а в мае он потерял отца. Что ж, смерть отца это всегда большая потеря, однако не забывайте, то был отец, который более-менее сделал Амадея тем, кем

1. Буря и натиск (*нем.*).

он стал, — то есть если оставить в стороне гениальность. Потерял Вольфганг всего только год назад и своего третьего ребенка, Иоганна Фому. И оттого Моцарта по пути в Прагу одолевают самые разные мысли и чувства. Он собирается поприсутствовать вместе с женой, Констанцей, в Национальном театре на репетициях и премьере своей последней оперы. Для Моцарта это важно. Несмотря даже на то, что он при его-то уме должен был сознавать глобальное, так сказать — то есть в смысле места в истории, — значение этой своей работы — несмотря на это, она важна для него и в других отношениях, главным образом в денежном.

Нельзя, конечно, сказать, что Моцартам грозит нищета, однако деньги им все же не помешают. Успешная премьера не только означает, что он сможет прилично заработать в Праге, но также и то, что перед ним откроются многие двери и в других городах. Собственно, и этот заказ стал прямым результатом успеха "Женитьбы Фигаро". Вскоре ему предстоит занять в Вене важный пост Kammermusicus, что в переводе означает "большой кусок хлеба с маслом", однако по какой-то причине, только им и известной, власти предержащие♪ решили выплачивать ему меньше даже половины того жалованья, какое получал прежний обладатель этой должности, Глюк, — помните, тот, с не лишенным забавности средним именем? Вот и попробуйте хоть с минуту побыть в шкуре Моцарта.

Представьте себе толпу людей, рассевшихся в пражском Национальном театре за вашей спиной. *Они* еще не слышали оперу, которая вот уж несколько месяцев как не выходит у вас из головы. *Они* не сидели последние две недели на репетициях — среди криков, бесконечных повторений и даже руготни. *Они* не знают, что еще вчера у оперы не было увертюры, что это друзья напомнили о ней Моцарту, и тот написал ее буквально за ночь♪♪. *Они* не знают, сколько сил и времени вложено в этот труд, какие за ним стоят личные трагедии.

"Дон Жуан".

Или, если воспользоваться изначальным названием, "Il Dissoluto Punito", "Наказанный распутник", — правда, оно теперь не в ходу. "Дон Жуан" считается многими одним из самых, если не *самым*, великих достижений классической музыки, и несомненно компания "Фраймобил" таковую точку зрения разделяет. Действие оперы разворачивается в Севилье, это одна из десятка опер, в которых использована история Дон Жуана, волокиты и плута, разгуливающего среди серьезных и комических персонажей, высмеивая и тех, и других. Она наполнена великой музыкой, в которой не последнее место занимает написанная впопыхах увертюра, ария, посвященная перечислению соблазненных Дон Жуаном красавиц, "La ci darem la mano"[1], и ария с шампанским. Фантастическая вещь.

По счастью, у добрых граждан Праги она имела громовый успех. Со временем ее показали и публике венской, куда более важной. Премьера состоялась в тот самый вечер, когда в британском парламенте начались затянувшиеся до утра дебаты насчет предложения Уильяма Уилберфорса об отмене рабства, после чего опера давалась в Национальном при-

♪. А вот интересно, можно ли сказать о тех, кого изгоняют из компании властей предержащих, что они теперь — власти недержащие?

♪♪. Некоторые говорят, что писать ее Моцарт начал в полночь, а уже к трем утра закончил.

1. "Ручку мне дай свою ты" (*итал.*).

дворном театре еще раз пятнадцать. А ровно месяц спустя Моцарт потерял четвертого своего ребенка, дочь Терезию. Нечего и сомневаться, вся семья надеялась, что 1788-й обойдется без новых трагедий. По счастью для Моцарта, так оно и случилось.

1788-й. Если о каком-то из годов и можно сказать, что он представлял собой "затишье перед бурей", так, наверное, об этом. Людовик XVI сидит в глубокой попе – в du du, как выражаются на его родине. Французский parlement предъявил ему скучный список претензий, а поскольку улицы переполнены бесчинно требующими хлеба толпами, Людовик пообещал созвать совещание всех трех сословий в мае 89-го. Ой, успеет ли? В Англии Георг III впал в умопомешательство; впрочем, есть и хорошая новость: МКК составил кодекс правил игры в крикет. В общем и целом, год выдался занятный, беспокойный, для Моцарта же вопрос стоял так: сможет ли он выбросить из головы мысли о полосе невезения и сочинить еще немного великой музыки? Ну, разумеется, сможет. Бросьте, мы же говорим не о ком-нибудь, о Моцарте!

Сочинил, и немало. Создается впечатление, что, чем большую мрачность обретает жизнь Моцарта, тем богаче и разнообразнее становятся его произведения. Сороковая симфония, "Маленькая ночная серенада", симфония "Юпитер". Сороковая на миллион миль отстоит от того, что знает о ней ныне большинство людей. Я, может быть, и заблуждаюсь, однако, по моим представлениям, бóльшая, статистически говоря, часть людей знает Сороковую Моцарта по одной из самых популярных у владельцев мобильных телефонов мелодий. Однако визгливое электронное зудение мобильника отделяет от печального, почти мрачного шедевра 1788-го расстояние в несколько световых лет. А противостоит ему шутливое, почти раскованное настроение "Маленькой ночной серенады" – еще одного "музыкального сопровождения", сочиненного, строго говоря, не для того, чтобы его слушать. В сущности, это очередное подтверждение гениальности Моцарта – легкое и воздушное сочинение, переполненное, однако же, мелодическими изобретениями. А последняя его симфония, "Юпитер"! К сожалению, назвал ее так не сам Моцарт, но – лет сорок спустя – кто-то другой, потрясенный ее радостным настроением: Юпитер, не забывайте этого, есть податель радости. Многие считают ее *вершиной* классической симфонии – ее звездным часом. Не лишено при этом иронии то обстоятельство, что в последней ее части Моцарт играет со множеством приемов, сплетая не меньше шести самостоятельных тем. Он словно бы говорит: "Смотрите, что я умею. Бах переплетал множество тем, обращал их и "канонизировал", ну так вот, я это тоже могу!"

Таков 1788-й. Помимо трех уже названных произведений с их чистой воды недоперевеликолепием мы получили еще и Кларнетный квинтет ля мажор, написанный Моцартом для своего друга Антона Штадлера, первого кларнета Императорского придворного оркестра Вены. Несмотря на то что Штадлер был своего рода самонадеянным оборотом, нередко ввергавшим Моцарта, и без того небогатого, в денежные затруднения, Амадей преподнес ему одну из величайших медленных тем, какие когда-либо писались для кларнета. И конечно, этого достижения он – в том, что касается кларнета, – превзойти уже не сможет? Ну-ну, не спешите с выводами. В конечном итоге это неоспоримо прекрасное произведение окажется всего лишь пробным выстрелом.

Уж пробил час

1791. Где мы? Где мир? Где любовь? Попытаемся ответить хотя бы на два из трех поставленных нами вопросов. Думаю, правильно будет сказать, что ударяющий в голову дым революции все еще висит в воздухе, подобно ударяющему в голову дыму революции. Америка революцию учинила — там второй год президентствует Джордж Вашингтон. Франция революцию учинила — Людовику XVI причесывать, увы, больше нечего. Даже австрийские Нидерланды учинили ее — всего только год назад они взяли да и обзавелись независимостью, переименовав себя... переименовав себя в... минутку, у меня это было где-то записано. Вот. В Бельгию. Бельгию? А что, в общем правильно. Страны всякие нужны. Что еще? Главной книгой года оказалась написанная Босуэллом "Жизнь Джонсона", вставшая в ряд с прошлогодним бестселлером "Том о'Шантер", сочинение шотландского еврея Равви Бернса. В музыкальном же отношении мир все еще принадлежит Моцарту. В настоящий момент он и *есть* большая сенсация. Уж сколько лет ею пробыл — и ничего, пока держится. Миновали те дни, когда ему приходилось мотаться по всей Европе. <...>

Да, все это в прошлом. Ныне Моцарт — величайшее из всего, что случилось в музыке с того дня, как кто-то спалил первый проектный набросок банджо. Однако конец его близок. Пятый ребенок Моцарта, дочь Анна-Мария, родившаяся в этом году, прожила всего один час. Не понимаю, как люди существовали год за годом на таком трагедийном уровне? И ведь не только Моцарт, все. Просто не понимаю. У Моцарта была хотя бы возможность топить горе в музыке.

Он и топил. То, что я сейчас скажу, немного шаблонно, но все же верно: упадая в подлинные бездны отчаяния, композиторы по-настоящему великие создают лучшие свои вещи.

Для начала имеет место "Волшебная флейта", замечательная опера, с какой стороны ее ни разглядывай, и еще более замечательная, если взглянуть на нее в свете последнего года Моцарта. Он нездоров, пребывает далеко не в лучшем финансовом положении, дети его умирают один за другим, и что же он делает? Пишет пантомиму. (О нет, не может быть!) "Die Zauberflöte", если оставить ее при родном немецком названии, опера причудливая, в духе фарсов Брайана Рикса, смесь фривольной комедии, сказки и масонской символики — Моцарт давно уже состоял в местной масонской ложе и даже своего покойного ныне отца уговаривал в нее вступить. Впрочем, в опере присутствуют и прелестные музыкальные эпизоды: ария Птицелова, фантастическая теноровая ария "O zittre nicht", — и поразительный во всех отношениях драматический персонаж, Царица ночи, партию которой Моцарт написал для своей свояченицы, бравшей блистательное верхнее фа, от которого лопались стекла. Увы, сейчас эту арию нередко берутся петь люди куда как меньших способностей, недобирающие нескольких дополнительных линеек нотного стана.

"Волшебная флейта" завершает оперную "фантастическую четверку" Моцарта. В состав ее входят: "Женитьба Фигаро" (мистер Фантастик), комическая опера с одной из лучших из КОГДА-ЛИБО НАПИСАННЫХ увертюр и прекрасной арией "Dove sono"; "Дон Жуан" (Человек-факел) — смесь шутливости со зловещей трагедией, под конец

которой антигероя пожирает адское пламя — не раньше, впрочем, чем он успевает спеть довольно игривое "La ci darem la mano"; "Так поступают все женщины" (Женщина-невидимка), романтическая комедия, в которой, появись она на свет сегодня, играл бы Хью Грант; и, разумеется, "Волшебная флейта" (Существо).

"Истинный" инь "волшебного" ян 1791-го — это законченное Моцартом в июне возвышенное миниатюрное хоровое сочинение "Ave verum corpus". Оно длится всего несколько минут, однако каждая его секунда божественна. Без какой-либо непочтительности скажу, что эти произведения составляют два полюса последнего года Моцарта — полюс смешного и полюс возвышенного.

И, как будто этого мало, существует еще — нет слов, чтобы сказать, до чего он хорош, — Концерт для кларнета, написанный опять-таки для друга Антона. Две ошеломительных внешних части Концерта трудны для исполнения и на современном-то кларнете, что уж говорить о тогдашнем, у которого было всего-навсего шесть клапанов. Между этими двумя угнездилась божественная музыкальная экстраполяция фразы "чем меньше, тем больше" — часть медленная, словно сошедшая к нам с небес. Общее место насчет того, что "самые лучшие мелодии — простые", приходится слышать нередко, однако оно нигде не доказывается с таким умом, как в медленной части моцартовского кларнетного концерта. Эта тема захватывает тем сильнее, чем чаще ты ее слышишь.

Ну вот, год почти завершился, а с ним и век Моцарта. Такого композитора мир больше не увидит. Бетховену, которому исполнился двадцать один год, только еще предстоит сочинить свои первые большие вещи. Ну и Гайдн по-прежнему благоденствует. Он хоть и старше Моцарта на четверть века, однако переживет его на добрых восемнадцать лет. Не для него меланхолия, наполнившая в 1791 году музыку Моцарта, — главное его сочинение этого года, симфония "Сюрприз", это веселое маленькое сочинение, основная задача которого — не дать слушателям из замка Эстергази заснуть, для чего на них и обрушивается громовый аккорд, причем в таком месте симфонии, где его меньше всего ждут. "Со смехотворными, как выражаются в телевизионных программах новостей, последствиями". Господи, Гайдн, ну ты и хохмач — мы чуть не упи-сались!

А вот Моцарту, похоже, совсем не до смеха. Хорошо документированная история о черном незнакомце, явившемся к нему, чтобы заказать "Реквием", и перепугавшем Моцарта до смерти, совершенно правдива. Незнакомцем этим вполне могла быть, как многие и предполагали, сама старуха с косой, однако то была не она. Что довольно странно. Как выяснилось, им был всего-навсего слуга-метельщик графа Вальзегга. Важная шишка Вальзегг хотел заказать "Реквием" в память о своей жене. Моцарт послушно начал его сочинять. В разных других местах Людовик XVI пытается удрать от парижской толпы — неудачно; Гёте получает высокий пост в Веймарском придворном театре; а совсем новая газета "Обсёрвер" сообщает, что билль Уильяма Уилберфорса об отмене рабства прошел-таки через парламент.

Все эти значительные события 1791 года старине Вольфгангу решительно не интересны.

Последнее из его сохранившихся писем датировано октябрем и кажется вполне жизнерадостным. Он побывал на представлении "Волшебной флейты" в венском театре "Фрейхаус" и был весьма воодушевлен тем, что главный его конкурент, композитор Сальери, вопил "браво" почти после каждой арии. За неделю до этого он даже описывал, как подшутил над капельмейстером, переврав исполняемую за сценой партию Глокеншпиля. Однако всего месяц спустя он слег. А еще через две недели, утром 5 декабря, в пять минут первого Моцарта не стало.

Минуту молчания, пожалуйста. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60♪.

Ну вот...

Моцарта не стало.

Так.

И с чем остались мы?

Что ж, если оглянуться назад, то прежде всего с Концертом для кларнета. Его можно слушать просто как прекрасное произведение искусства — упоительная медленная часть в окружении двух проворных аллегро, способных по-настоящему расшевелить кларнетистов. Однако, если поместить его в контекст, перед вами окажется сочинение совершенно иное, и это в особенности относится к медленной части. То, что представлялось прежде простой, элегантной и красивой мелодией, обратится в печаль, в жалобу, почти в плач, но при этом прежняя элегантность полностью сохранит чувство собственного достоинства.

Это вещь, написанная всего за два месяца до смерти, и теперь, когда мне известны все обстоятельства, я никогда уже не смогу слушать ее так, как слушал прежде.

Романтическая легенда уверяет, будто умер он нищим. Я всегда выводил из нее, что денег на приличные похороны у него не нашлось, что ему нечего было оставить жене и семье, что его просто-напросто сунули глухой полночью в безымянную могилу. Что ж, последнее очень похоже на правду: где покоится Моцарт, никому, по правде сказать, не известно. Пространство поисков удалось сузить до размеров кладбища — Св. Макса в Вене, — однако какой из его участков содержит останки величайшего, быть может, из виденных миром композиторов, не ведает никто. Что же до остального, так, судя по всему, Констанце не составило большого труда уплатить 4 флорина и 36 крон приходского сбора, так же как 4 флорина 20 крон церковного сбора и даже 3 гульдена за то, чтобы тело композитора перевезли из кафедрального собора Св. Стефана на кладбище. Наверное, то были похороны, к которым в те време-

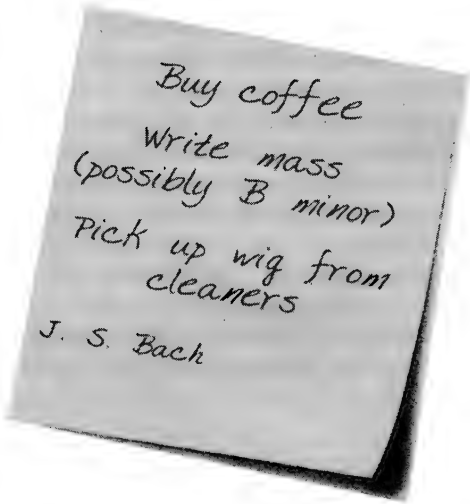
♪. Перед нами одно из всего лишь двух мест этой книги, в которых мы объявляем минуту молчания.

на относилось обозначение "по третьему классу", однако назвать их нищенскими значило бы ввести читателя в заблуждение, и не самое малое. И строго говоря, лучшее подтверждение сказанному дает список оставшегося после смерти Моцарта содержимого его платяного шкафа. На реестр оставленных скончавшимся нищим отрепьев он далеко не похож скорее уж на данное телерепортером описание гостей, собравшихся на один из приемов Элтона Джона:

1 один камзол выходной суконный черный с манчестерским жилетом
1 такой же синий
1 такой же красный
1 такой же желто-бежевый
1 такой же коричневого атласа, расшитого шелком, с панталонами
1 полный костюм черного сукна
1 пальто цвета мышиного
1 такое же из более легкого материала
1 камзол синий, отделанный мехом
1 такой же, с меховой оторочкой
4 жилета разных, 9 панталон разных, 2 шляпы простые, 3 пары сапог
3 пары туфель
9 чулок шелковых
9 сорочек
4 шейных платка, 1 ночной колпак, 18 платков носовых
8 панталон нижних, 2 ночные сорочки и еще 5 пар чулок

Н-да. Ничего себе нищий. Думаю, целые поколения людей с куда большим удовольствием верили стилизованной романтической версии происшедшего, чем подлинной, правдивой картине.

Да как бы там ни было, оно и не важно. Все кончено. Мы услышали последнюю симфонию Моцарта, его последнюю оперу и, конечно, его последний вздох. Великого человека не стало. Амадея – то есть, буквально, "любимца богов". И больше мир такого никогда не увидит. <...>



Издательские планы

Взгляд из России: Мериме, Гофман и Петрарка

С заведующим Научно-библиографическим центром ВГБИЛ Ю. Г. Фридштейном беседует Светлана Силакова

"Иностранная литература". Московская интеллигенция отлично знает, сколь велика роль ВГБИЛ – единственной в городе специализированной библиотеки иноязычной литературы – в культурной жизни столицы. В новое время в ее здании разместились также культурные центры ряда зарубежных стран. Популярность ВГБИЛ среди читателей, как нам представляется, объясняется не только прагматическими причинами. Юрий Германович, в чем особая аура вашей библиотеки?

Юрий Фридштейн. В библиотеке (и в нашем отделе) я работаю с 1970 года. Пришел сюда сразу после окончания университета. И лишь совсем недавно осознал, что за все эти годы ни разу не ощутил себя служащим государственного учреждения. Хотя то, что положено, всегда выполнялось и выполняется, и график работы строгий, и проверки бывали. Но это на поверхности, а внутри течет нормальная, естественная жизнь. В нашем отделе так было всегда – даже в пору, когда такого, казалось, и быть не могло. Тому "виной" – наша заведующая, всех нас, тогдашнюю молодежь, принимавшая на работу, Галина Мстиславна Цапенко. Она давно ушла из жизни, но ее портрет всегда висит у нас на стене. Аура отдела создана ею, и, надеюсь, нам удается – совместными усилиями – ее сохранять.

"ИЛ". Каковы функции Научно-библиографического центра?

Ю. Ф. Прежде всего "роспись" зарубежной прессы и ведение картотек, которые по-прежнему доступны читателям в справочном зале библиотеки. С 1999 года, впрочем, у нас появился и "собственный" читальный зал – Зал литературоведения.

Мы также ежегодно готовим календарь памятных дат, связанных с зарубежной литературой – своеобразный сборник статей о писателях-юбилярах, до 1998 года выходивший в печатном виде; с 1999-го – в электронной версии, в конце года представляемой на сайте ВГБИЛ. Однако наше главное, всеми любимое занятие – подготовка и издание книг. В прежние времена то были разного рода библиографии: как указатели, посвященные писателям XX века, так и монументальные труды о восприятии того или иного автора в России. Классикой жанра "русской рецепции" стали книги о "русском Шекспире" (автор И. М. Левидова), "русском Гёте" (З. В. Житомирская), "русской полонистике" (И. Л. Курант)... Всех этих замечательных дам я застал, хорошо знал, любил. Их давно нет, но мы про них помним и по ним себя "сверяем".

"ИЛ". В чем азарт профессии библиографа?

Ю. Ф. Тут все решают личные особенности. Для одного наш труд — дело очень увлекательное, для другого — нечеловечески занудная повинность. Азарт в том, чтобы найти искомое, а подчас — и неведомое! Ищешь либо то, что есть, но непонятно где находится, либо то, что могло бы существовать, но неизвестно, существует ли на самом деле. Бывает, ссылка неточна — возвращаешься в исходную точку и начинаешь вычислять, где ошибка. Любая находка — радость, а уж интересная — вдвойне.

Как все исследователи, мы движемся по цепочке следов. Читаешь одно, увидишь ссылочку на другое, оттуда переходишь на третье, встречаешь имя, которое выводит на более широкую тему. Разветвления совершенно непредсказуемы, из разрозненных кусочков складываются сюжеты и имена, о которых ты поначалу и не думал. Потом происходит отбор. Для нашего сборника "Россия и Болгария", например, материала было собрано раза в три больше, чем вошло в книгу, причем о 90% текстов исследователи, которые занимаются этой темой, даже не слышали.

"ИЛ". Итак, десять лет тому назад ваш отдел, занимаясь традиционными библиографическими штудиями, открыл для себя новое направление деятельности...

Ю. Ф. Идея зародилась, как нередко бывает, случайно. Однажды во внутреннем дворике библиотеки решили установить бюст Чарльза Диккенса (с тех пор там, кстати, появилась целая галерея бюстов писателей и общественных деятелей). И директор библиотеки Екатерина Юрьевна Гениева предложила мне срочно сделать книжку, так сказать, "к бюсту". А надо сказать, что Екатерина Юрьевна многие годы была сотрудницей нашего отдела, и у нее самой в ту пору вышла, в числе прочих, замечательная литературно-библиографическая книга о Диккенсе, тираж которой давным-давно разошелся. В общем, я сделал тоненькую — времени было в обрез: всего две недели и формат нащупывался вслепую — книжечку "Русские писатели о Диккенсе". И так, невзначай, был открыт жанр, в котором мы работаем все эти годы. В чем он, собственно, состоит? По большей части наши издания — сборники художественных и критических текстов, иногда дополненные библиографией. Чисто библиографические указатели — скорее исключение. Среди наших героев Бальзак, Пруст, Андерсен, Метерлинк, Гёте, Гейне, Мицкевич, Сервантес, Камоэнс... Наверняка кого-то забыл.

Деньги на издания Научно-библиографический центр добывает, как правило, сам. Обычно наши книжки печатает издательство "Рудомино", существующее при ВГБИЛ. Ирина Сергеевна Карпова, директор издательства, — наш многолетний соратник, подчас даже "сообщник".

"ИЛ". Какова общая концепция ваших книг?

Ю. Ф. Попробую сформулировать так: все наши книги — это, как ни парадоксально, всегда взгляд из России на Россию. Мы стараемся увидеть Россию через то, как она в разные годы, десятилетия и столетия видела и воспринимала окружающий мир. В каждой книге своя переменная: некий зарубежный писатель, или национальная литература, или город, или даже страна в целом — и константа: Россия.

"ИЛ". И каковы результаты ваших наблюдений? Часто ли они вас удивляют?

Ю. Ф. Скорее восхищают! Колоссальный интерес к зарубежной культуре, умение переработать, переплавить, переосмыслить, преобразовать, переложить... – не знаю другой литературы, которая была бы на такое способна. "Всемирная отзывчивость", как сказал Достоевский о Пушкине.

"ИЛ". Как вы выбираете темы?

Ю. Ф. Тут есть три варианта. Первый – личные пристрастия. Важно, чтобы человек занимался темой, которая ему действительно близка и интересна. Мы ведь никого не приглашаем со стороны, разве что авторов предисловий, да и то изредка. Обычно все книги делаются силами нашего отдела. У нас пятнадцать сотрудников. Занимаются они литературами Европы, Америки, Австралии.

Второй вариант – издания "к датам". Поскольку средства мы просим у посольств и культурных центров, получить грант всегда легче, когда грядет некий важный юбилей. Скажем, к столетию со дня смерти Ибсена, которое отмечается в этом году, мы сделали книгу "Судья и Строитель: Писатели России и Запада о Генрике Ибсене". Составитель – Борис Ерхов. В 2004 году у нас вышла книга – в нечеловечески сжатые сроки "сложенная" Людмилой Бурмистровой – "Россия и Бразилия: 200 лет знакомства" в честь первого захода в Бразилию русских кораблей (экспедицией командовал Крузенштерн). Выпустили мы и чудесную антологию "Гёте в русской поэзии" – к двухсотпятидесятилетию, совпавшему, как известно, с двухсотлетием Пушкина. Ее составитель, Наталья Лопатина, тоже много разного "накопала": чего стоит одна история Иллариона Илларионовича Шафрановского, профессора кристаллографии, в блокадном Ленинграде переводившего "Фауста"! Но если дата нам не интересна, то делать к ней книгу, мы, конечно, не станем.

Иногда бывает, что сюжет возникает сам собой, по наитию. Так "придумался" когда-то Марсель Пруст или Камоэнс (составили Мария Линдстрем; Татьяна Балашова).

"ИЛ". Расскажите, пожалуйста, о ближайших планах отдела.

Ю. Ф. Сейчас, по состоянию на февраль, у нас пять работ, находящихся в разной степени готовности: "Кальдерон в русских переводах и критике", "Петрарка в русской литературе", "Мериме в русской литературе", история "русского Дон Кихота" (книга называется "Он въезжает из другого века...", составитель Л. Бурмистрова), и, наконец, "Гофман в русской культуре".

"Кальдерон..." – преимущественно библиографический указатель, часть колоссального проекта "Испанская литература в русской печати", который задуман нашим библиографом-испанистом Валентиной Гинько. История Кальдерона в России началась еще в XVIII веке – с вольного перевода, сделанного Екатериной II. Есть в книге и тексты – материалы о Кальдероне на русской сцене Серебряного века: постановки Мейерхольда, "Башенный театр" Вячеслава Иванова, "Старинный театр"...

Двухтомный "Петрарка в русской литературе" – своеобразное продолжение библиографического указателя "Петрарка в русской печати", выпущенного в 1985 году нашим итальянистом Валентиной Данченко. Она же составитель и сегодняшней антологии.Но библиографии здесь не будет. Только тексты – о Петрарке и из Петрарки, переводы его сонетов и даже прозы (в частности, латинского сочинения "Письмо к потомкам" в переводе Гершензона, который мы перепечатываем по изданию 1915 года). История "русского Петрарки" начинается со второй полови-

ны XVIII века, когда всякий поэт, а то и графоман непременно сочинял что-нибудь "о Лауре". Серьезное же осмысление Петрарки начинается с Батюшкова, который не только вдохновлялся образами Италии как поэт, но и занимался ею как исследователь; дальше – Пушкин... Все перечислять нет смысла, отмечу лишь, что заканчивается книга переводами Е. Солоновича, О. Седаковой, В. Микушевича, А. Якобсона, А. Ревича; исследованиями Л. М. Баткина, М. Л. Абрамсон, Р. И. Хлодовского.

Отдельного внимания заслуживает текст доклада Вячеслава Иванова "Лавр в поэзии Петрарки" (тут игра слов: "лавр" и "Лаура" по-итальянски звучат одинаково), который он сделал в 1931 году на конференции петраркистов. В итальянских архивах его специально для нашего издания нашел Игорь Пильщиков, интересный исследователь и необычайно разносторонний человек. Мы публикуем как оригинал, написанный Ивановым по-итальянски, так и выполненный Пильщиковым перевод, где потрясающе воссоздан весьма непростой стиль автора. Он же автор предисловия к нашей книге.

"ИЛ". А что самое интересное в книге о Мериме?

Ю. Ф. Судите сами. Основной сюжет XIX века связан с "Песнями западных славян". Наиболее известен отклик Пушкина на эту мистификацию, но было множество и других переложений. Завершает этот сюжет блистательная глава из вышедшей в конце XX века книги Эткинда "Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во Франции".

Мериме очень интересовался Россией, переводил Пушкина и Тургенева, написал статью о Гоголе, которая вызвала бурную полемику в русских литературных кругах. Был знаком и дружен с Тургеневым. И потому мы включили в наше издание обширную подборку писем Тургенева к самым разным лицам, где, в частности, содержатся подробности о переводческой работе Мериме над текстами Тургенева.

Особняком стоит русская история "Кармен" – как новеллы, оперы и бродячего сюжета. Тут и Блок, и Цветаева, и Ходасевич, и София Парнок. И спектакль театра "Ромэн" 1934 года, интересный тем, что пьесу написал Вадим Шершеневич, включив в нее свои стихи, и сегодня практически никому не известные.

Луначарский написал статью о Мериме "Гений безвременья", а также пьесу "Медвежья свадьба" по мотивам его новеллы "Локис" – мы публикуем отрывки из нее и фрагменты воспоминаний Натальи Розенель, жены Луначарского, игравшей в "Медвежьей свадьбе" не только в театре, но и в кино. Будут там и пьеса "Кармен, Хосе и Смерть" Людмилы Улицкой, стихи Юнны Мориц, песни Леонида Филатова к телеспектаклю "Театр Клары Газуль", глава из книги Майи Плисецкой о ее легендарной "Кармен-сюите", эссе Петра Вайля из его книги "Гений места" и другое. А "на закуску", абсолютно в духе Мериме, – литературная мистификация... Составитель книги – М. Линдстрем.

"ИЛ". И наконец, "Гофман в русской культуре". Судя по названию, охват воистину энциклопедический.

Ю. Ф. Да, акцент именно на слове "культура", поскольку Гофман как художник с большой буквы повлиял не только на литературу, но и на театр, музыку, изобразительное искусство, даже на кино.

Эту книгу, которая, надеюсь, выйдет до конца года, подготовила наш германист Наталья Лопатина. Когда все уже было готово, мы осознали одно обстоятельство: планы, связанные с Гофманом – замыслы филь-

мов, спектаклей, изданий, – очень часто остаются нереализованными. В общем, мистика! В мистику я вообще-то не верю, но как иначе все это объяснить? На финальном этапе работы я узнал из газет, что Михаил Шемякин готовит глобальный проект "Мир Гофмана", и сказал коллегам: "А хорошо бы Шемякин и для нас что-нибудь сделал". Коллеги восприняли мои слова скептически, но Шемякина я все-таки нашел. Он оказался чудесным человеком, открытым, благородным, бескорыстным: предоставил нам свои неопубликованные гофманские рисунки, нарисовал оригинальную обложку... И все – безвозмездно! К тому же он "наговорил" для нашей книги свой текст о том, как мальчишками они с друзьями увлекались "гофманианством", наряжались в старинные костюмы... Вот вам и мистика! Завершает эту тему статья давнего друга Шемякина, знаменитого ученого-теолога о. Владимира Иванова. Петербургская гофманиана – это и "Поэма без героя" Ахматовой, и "Серапионовы братья", и художники "Мира искусства", Мейерхольд, академик Чаянов, поэт Михаил Кузмин, философ Владимир Соловьев... Отдельные сюжеты – Гофман в творчестве Эйзенштейна, Гофман и МХАТ-2, Гофман и Михаил Чехов... Будет много архивных публикаций – беспрецедентный случай для наших изданий.

"ИЛ". А каковы ваши долгосрочные планы? Как далеко вперед вы заглядываете?

Ю. Ф. Готовим продолжение книги "Россия и Болгария" (первый том вышел в 2003 году, его составитель, как и второго, готовящегося сейчас, – Ирина Мельникова). Это издание узкотематическое и потому особенно трудное. В первый том вошли отклики русских людей на события Русско-турецкой войны 1877–1878 годов; во втором томе будут представлены отклики болгар, живших в России, – таких было довольно много. Наш богемист Наталия Глазкова завершает работу над антологией "Витезслав Незвал в русской литературе". Книгу о связях России и Австралии (вновь к двухсотлетию "знакомства") готовит Ирина Васильевна Южина. Сборник к столетию Астрид Линдгрен – Б. Ерхов. В 2010 году грядет столетие со дня смерти Марка Твена – Юлия Рознатовская уже собрала и прокомментировала большую часть текстов для книги о Твене в России!

"ИЛ". Вы подробно рассказали о деятельности ваших мэтров, сотрудников со стажем. А идут ли к вам работать молодые?

Ю. Ф. Идут! Наташа Митрофанова, выпускница классического отделения филфака МГУ, занимается у нас новогреческой литературой в русских переводах и критике. Вот вам еще один издательский проект. Другое юное дарование – и впрямь юное, третьекурсник того же филфака, германист, – Саша Филиппов. Умудряется совмещать учебу на дневном отделении с работой (по субботам и воскресеньям), а также с нормальной жизнью девятнадцатилетнего парня. Пока он "ассистирует" Н. Лопатиной, но надеюсь, что в недалеком будущем перейдет к самостоятельной работе...

Молодые у нас хорошие. Умные, смешные, настойчивые, безалаберные... Мы стараемся не слишком давить на них, не занудствовать и потихоньку чему-то учить. И сами тоже чему-то потихоньку у них учимся. Вот на этом, пожалуй, и закончим...

Кадзуо Исигуро
Kazuo Ishiguro
[р. 1954]. Английский писатель. Лауреат многих литературных премий, в том числе Букеровской [1989], кавалер ордена Британской империи и французского ордена *За заслуги в области искусства и литературы*.

Автор романов *Холмы в дымке* [*A Pale View of Hills*, 1982], *Художник зыбкого мира* [*An Artist of the Floating World*, 1986], *Безутешные* [*The Unconsoled*, 1995; рус. перев. 2001], *Когда мы были сиротами* [*When We Were Orphans*, 2000; рус перев. 2002]. В *ИЛ* публиковался его роман *Остаток дня* [*The Remains of the Day*, 1992, № 7].
Публикуемый роман печатается по изданию *Never Let Me Go* [London: Faber and Faber, 2005].

Марко Аугусто Кироа
Marco Augusto Quiroa
[1937–2004]. Гватемальский писатель и художник. Лауреат премий Карлоса Новельи и *Золотой кетцаль*.

Автор книг *Старый кот* [*Gato viejo*, 1990], *Плаца Майор* [*Plaza Mayor*, 1990], *Мокрый и сухая* [*El mojado y la seca*, 1994], *О том, как написать рассказ, и другие рассказы* [*Receta para escribir un cuento y otros cuentos*, 1996], *Донья Анаконда и другие животные* [*Doña Mazacuata y otros animales*, 1998].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Малая седмица* [*Semana menor*. Guatemala: Editorial Rial Academia, 1984].

Болеслав Лесьмян
Bolesław Leśmian
[1877–1937]. Польский поэт.

Автор книг стихов *Сад на распутье* [*Sad na rozstaju*, 1912], *Луг* [*Łąka*, 1920], *Студеное питье* [*Napój cienisty*, 1936] и др. В молодости, будучи студентом Киевского университета, писал стихи по-русски и публиковал их в журналах *Золотое руно* и *Весы* [1906–1907]. В *ИЛ* публиковались его стихи [1999, № 8].
Публикуемые стихи взяты из книги *Воспоминания о Болеславе Лесьмяне* [*Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie* [Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1966].

Екатерина Львовна Иванова
Преподаватель немецкого языка и литературы, переводчик.

В ее переводе публиковались письма Б. Л. Пастернака американскому издателю Курту Вольфу [*Знамя*, 2005, № 3]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Стивен Фрай
Stephen Fry
[р. 1957]. Английский актер, журналист, писатель. Известен по роли Дживса в сериале *Дживс и Вустер*.

Автор романов *Лжец* [*The Liar*, 1992; рус. перев. 2004], *Гиппопотам* [*Hippopotamus*, 1994; рус. перев. 2004], *Как творить историю* [*Making History*, 1997; рус. перев. 2005] и др.
Фрагменты книги печатаются по изданию *Incomplete & Utter History of Classical Music* [London: Macmillan Publishers, 2004].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также перевод романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4] и Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11–12] и др.

Переводчики

Леонид Юльевич Мотылев
[р. 1955]. Переводчик с английского, лауреат премии *Инолит* [1999], почетного диплома критики зоИЛ [2003—2004].

В его переводе издавались произведения А. Рой, С. Рушди, У. Фолкнера, Дж. Конрада, Ф. О'Коннор, Т. О'Брайена, П. Акройда, И. Б. Зингера, А. Грея и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Юрий Николаевич Гирин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик с испанского. Кандидат филологических наук.

Автор монографии *Поэзия Хосе Марти* [2002] и статей по истории латиноамериканской литературы и теории культуры. В его переводе вышла книга Л. Сеа *Философия американской истории* [1984]. В *ИЛ* в его переводе напечатаны стихи в книге Пабло Неруды *Дом на песке* [2004, № 10] и *Инвенции* Х. Х. Арреолы [2005, № 12].

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993], *Инолиттл* [1995], *ИЛлюминатор* [2001].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Сергей Борисович Ильин
[р. 1948]. Переводчик с английского, лауреат премии *ИЛлюминатор* [1999].

В его переводе издавались произведения В. Набокова, Дж. П. Донливи, Т. Уайлдера, Н. Марш, Ф. Рота, Дж. Хеллера, М. Кутзее, С. Миллхаузера и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины бельгийского художника Уильяма Дегува де Ненка [1867—1935] *Ангелы ночи* [1894].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

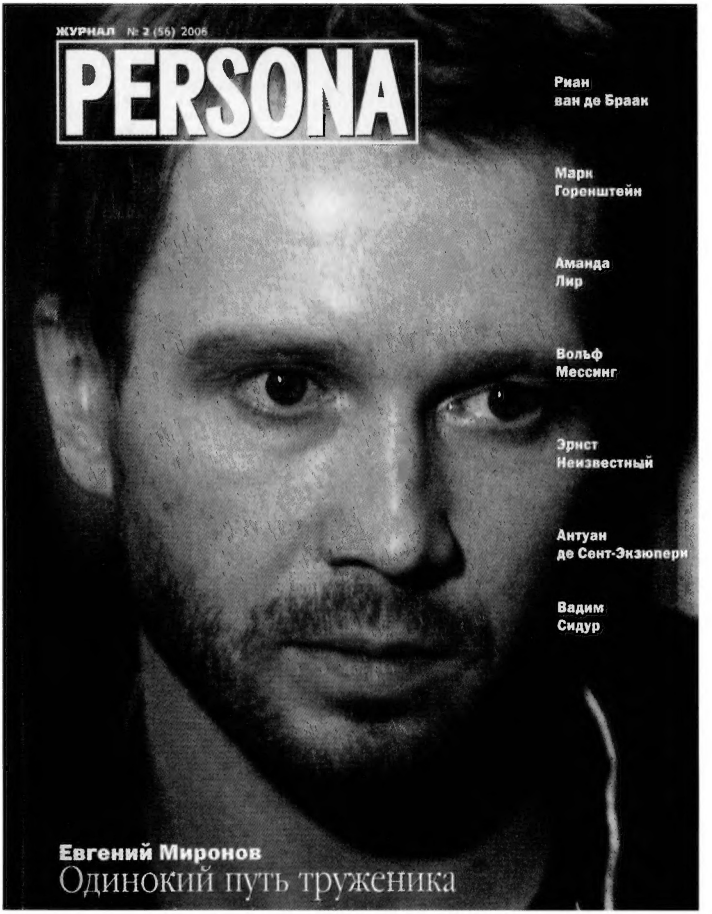
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.2.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1293.
Тираж 7000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

журнал «Персона»/«Persona»



Адрес редакции 119019 Москва, ул.Новый Арбат, д.21
Тел. (495) 291-20-05, 291-50-27, факс 290-17-33
E-mail: persona-magazine@mail.ru
Адрес в Интернете: www.persona-magazine.ru

ПОДПИСКА – 2006

38678 Объединенный каталог «Подписка-2006» - «Пресса России»
80905 Каталог агентства «Роспечать» – «Газеты. Журналы»
Во всех отделениях Сбербанка России – подписной купон ООО «С-инфо»
Во всех почтовых отделениях Москвы, России и стран СНГ до 15 числа каждого месяца.
Льготная подписка и продажа в редакции с доставкой
Продажа в книжных магазинах Москвы и РФ

[8] 2006

ИСТОРИИ ИЗ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО. ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕГОДНЯ: РОМАН ОЛЬГИ ТОКАРЧУК “ПОСЛЕДНИЕ ИСТОРИИ” / РАССКАЗЫ И СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ / ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ В РУБРИКЕ “НИЧЕГО СМЕШНОГО” / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА ЯНУША ГЛОВАЦКОГО И ЯНУША АНДЕРМАНА / СТАНИСЛАВ ЛЕМ В РУБРИКЕ “PL + 50. ИСТОРИИ БУДУЩЕГО”

Антанта Капитал
инвестиционная группа

согласие,
умножающее капиталы

+7 (495) 775-5100, +7 (495) 783-9626 www.antanta-capital.ru

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России:

ООО «Антанта Капитал»: 1. Брокерская/дилерская деятельность: лиц. № 000-02609-110000, от 25.03.2003; 2. Депозитарная деятельность: лиц. № 177-06504-000100, от 31.03.2003; 3. Деятельность по управлению ценными бумагами: лиц. № 177-06494-001000, от 25.03.2003.

ООО «НЭТТРЭЙДЕР»: 1. Брокерская деятельность: лиц. № 077-06604-100000, от 14.05.2003; 2. Дилерская деятельность: лиц. № 077-06611-010000, от 14.05.2003; 3. Депозитарная деятельность: лиц. № 077-06619-000100, от 14.05.2003; 4. Деятельность по управлению ценными бумагами: лиц. № 177-08664-001000, от 11.10.2005.

ОАО «Московский Фондовый центр»: 1. Брокерская деятельность: лиц. № 077-06554-100000, от 17.10.2003; 2. Дилерская деятельность: лиц. № 077-06564-010000, от 17.10.2003.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №7, 1-256